

Оскар УАЙЛЬД ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ



Полный русский перевод
Свыше тридцати иллюстраций
Жана Эмиля Лабурёра

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Оскар Уайльд

Оскар
УАЙЛЬД
ПОРТРЕТ
ДОРИАНА ГРЕЯ
СТАТЬИ и ПИСЬМА



Перевод Сергея Бердяева
Иллюстрации Жана Эмиля Лабурёра



творческое объединение
Алькор

*Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплётной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»*



Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84.4
УДК 821.111
У12

Первые 100 пронумерованных экземпляров
от общего тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.

Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 бинтов на корешке ручной обработки

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmergo
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока
с трех сторон методом механического торшонирувания
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом

Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

У12 Уайльд Оскар. Портрет Дориана Грея. — Санкт-Петербург.: СЗКЭО, 2021, — 208 с.: ил.

Текст наиболее известного романа Оскара Уайльда — «Портрета Дориана Грея» дается в этом издании полностью, без купюр, в редком переводе брата известного философа — полиглота Сергея Александровича Бердяева, которому удалось удивительно точно передать декадентскую атмосферу этого мистического произведения, ставшего своеобразным манифестом эстетизма. Он же является и переводчиком писем Уайльда в защиту «Дориана Грея».

ISBN 978-5-9603-0656-0 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0657-7 (Кожаный переплет)

© СЗКЭО, 2021

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ

Роман







ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник — творец прекрасного.

Раскрыть красоту и скрыть художника — такова цель искусства. Критик тот, кто в новой форме или иным способом может передать свое впечатление от прекрасного. Высшая, как и самая низшая, форма критики — автобиография.

Те, кто в прекрасном видят дурной смысл, испорчены и не изящны. Это их вина.

Те же, кто находят прекрасный смысл в прекрасном произведении, культурны. Для них есть надежда.

Они — избранные, для которых прекрасное произведение означает исключительно красоту.

Нравственной или безнравственной книги не существует. Книги бывают хорошо или дурно написаны. Вот и все.

Ненависть XIX века к реализму — это бешенство Калибана¹, увидавшего в зеркале свое собственное лицо.

Ненависть XIX века к романтизму — это бешенство Калибана, не находящего в зеркале своего собственного лица. Нравственная жизнь художника — его личное дело; нравственность же в искусстве заключается в совершенном применении несовершенных средств.

¹ Калибан — уродец, сын ведьмы из комедии В. Шекспира «Буря».

Ни один художник не желает что-либо доказать. Доказывать можно даже истины.

Истинный художник не имеет этических симпатий. Этические симпатии в художнике — непростительная манерность стиля.

Художник вообще не может быть болезненным. Он может выражать все.

Мысли и язык для художника — орудия искусства. Порок и добродетель для художника — материалы искусства.

С точки зрения формы, первообразом всех искусств является музыка. С точки зрения чувства — ремесло актера.

Всякое искусство есть в одно и то же время и поверхность и символ.

Кто опускается ниже поверхности — делает это на свой страх и риск. Кто разгадывает символ — делает это также на свой страх и риск.

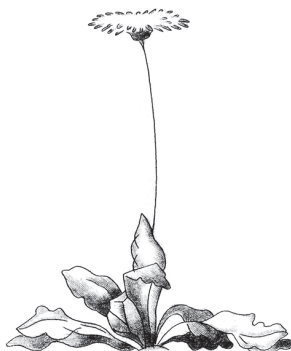
Зрителя, а не жизнь отражает в действительности искусство. Различие мнений о каком-нибудь произведении искусства показывает, что это произведение ново, сложно и жизненно.

Когда критики расходятся во мнениях, художник все же остается в мире с самим собою.

Мы можем простить человеку, что он занимается полезным делом, пока он сам им не восхищается. Единственное же извинение для бесполезной деятельности человека, если он сам в высшей степени ею восторгается.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд.





ГЛАВА I

Роскошный аромат роз наполнял студию, и когда легкий летний ветерок проносился среди деревьев сада, через открытую дверь врвался тяжелый запах сирени и нежное благоухание шиповника.

Лежа в углу дивана, покрытого персидскими коврами, и, по своему обыкновению, куря бесчисленные папиросы, лорд Генри Эштон мог как раз любоваться медово-сладким широкоцветным раkitником, трепетные ветви которого, казалось, едва выдерживали тяжесть своей сверкающей красоты. Там и сям, по длинным шелковым занавесям громадного окна, напоминая моментальные эффекты японской живописи, мелькали фантастические тени пролетающих мимо птиц и заставляли его думать о бледных узколицых художниках, стремящихся выразить движение и быстроту в искусстве, которое по существу неподвижно. Назойливое жужжание пчел, то сердито раздававшееся в высокой нескошенной траве, то с монотонной настойчивостью звучавшее над темными чашечками ранних июньских мальв, казалось, делало тишину еще более тягостной. Глухой шум Лондона доносился, как басовые ноты отдаленного органа.

Посреди комнаты, на мольберте, стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты во весь рост, а перед ним, поодаль, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, внезапное исчезновение которого несколько лет тому назад наделало так много шума в обществе и возбудило странные толки.

Когда он взглядывал на красивую изящную фигуру, которую он так искусно воспроизвел, улыбка удовольствия появлялась время от времени на его лице и словно медлила исчезнуть.

Но вот он вдруг вскочил и закрыл глаза и пальцами прижал веки, словно стараясь удержать в своем мозгу какой-то странный сон, от которого он боялся проснуться.

— Это ваше лучшее произведение, Бэзил, лучшая из всех когда-либо вами написанных картин, — медленно проговорил лорд Генри. — Вы непременно должны послать ее в будущем году в Гросвенор¹. Академия слишком гостеприимна и рутинна. Гросвенор — более достойное тебя место.

— Я вовсе не собираюсь ее где бы то ни было выставить, — отвечал артист, закидывая назад голову по своей старинной привычке, над которой всегда подсмеивались его друзья в Оксфорде. — Нет, я не хочу нигде ее выставлять.

Лорд Генри поднял брови и с изумлением поглядел на него сквозь синие кольца дыма, причудливыми клубами подымавшиеся из его тяжелой, пропитанной опиумом, сигаретки.

— Вы не хотите его выставить? Но, почему же, мой милый друг? У вас есть какая-нибудь причина? Все вы художники, право, чудаки! Вы все на свете делаете, чтобы добиться славы, а раз ее добились, вы желаете от нее отвяжаться. Это глупо с вашей стороны, потому что на свете есть только одна вещь хуже обладания громкой известностью — это неимение какой бы то ни было известности. Но такой портрет, как этот, вознес бы вас над всей молодежью Англии, а старых художников преисполнил бы зависти, если только старики вообще способны к каким-нибудь душевным эмоциям.

— Я знаю, что кажусь вам смешным, — возразил Бэзил, — но я, право, не могу выставить этой работы. Я вложил в нее слишком много самого себя.

Лорд Генри растянулся на диване и засмеялся.

— Да, я знал, что вы будете смеяться, но, тем не менее, это так.

— Слишком много самого себя! Честное слово, Бэзил, я не знал, что вы так тщеславны; и я, право, уж не вижу ни малейшего сходства между тобой — с твоим суровым, резким лицом и черными, как уголь, смолами, и этим юным Адонисом, который словно выточен из слоновой кости и лепестков розы. Право же, дорогой мой Бэзил, он — Нарцисс, а вы... Конечно, у вас лицо очень одухотворенное и все такое. Но красота, настоящая красота, кончается там,

¹ *Галерея Гросвенор* — художественная галерея в Лондоне, существовавшая с 1877 по 1890 годы. Предоставляла возможность выставляться тем художникам, чье новаторство не приветствовала более классическая и консервативная Королевская академия художеств.

где начинается выражение высшего разума. Разум сам по себе уже есть уродство, он нарушает гармонию лица. Как только человек начинает думать, так у него появляется громадный нос, или вырастает лоб, или еще что-то отвратительное. Посмотри на выдающихся людей какой угодно ученой профессии: как все они безобразны! Исключая, конечно, духовенства. Но ведь в церкви не много думают. Епископ в восемьдесят лет обыкновенно болтает то же, чему он научился говорить восемнадцатилетним мальчиком, а потому у него наружность всегда приятная. Ваш таинственный юный приятель, имя которого вы никогда не называли, но чей портрет меня решительно очаровывает, наверное никогда не думает. В этом я глубоко уверен. Он — безмозглое, прекрасное создание, которое следует всегда иметь перед собою — зимою, когда нет цветов, на которые можно было бы смотреть, а также и летом, когда нам необходимо что-нибудь для прохлаждения нашего ума. Пожалуйста, не льстите самому себе, Бэзил: вы нисколько на него не похожи.

— Вы не понимаете меня, Гарри: конечно, я не похож на него. Я знаю это отлично. И, право, я бы даже жалел, если бы был на него похож. Вы пожмаете плечами? Я говорю правду. Над всяким физическим или умственным превосходством тяготеет какой-то рок, тот самый, что преследует через всю историю неверные шаги королей. Гораздо лучше ничем не отличаться от безобразных своих собратий. В этом мире дуракам всегда везет. Они могут спокойно сидеть и смотреть на представление. Если они не знают победы, зато они избавлены и от печали — получить весть поражения. Они живут так, как все мы должны были жить — невозмутимо, равнодушно, без тревог. Они никому не причиняют гибели и сами не гибнут от чужих рук. Ваше положение и богатство, Гарри, мой ум, каков бы он ни был, моя слава, чего бы она ни стоила, красота Дориана Грея — за все эти дары богов нам придется когда-нибудь страдать, страшно страдать.

— Дориан Грей? Это его имя? — спросил лорд Генри, медленно переходя мастерскую и приближаясь к Бэзилу Холлуорду.

— Да, это его имя. Я не хотел называть его вам.

— Но почему же?

— О, я не могу этого объяснить. Когда я безмерно люблю кого-нибудь, я никогда не произношу его имени ни перед кем. Мне кажется, что этим уступаешь часть его другим. Я люблю тайны, так как только они и могут сделать для нас современную жизнь чудесной и загадочной. Самая обыкновенная вещь приобретает интерес, как только начинаешь ее скрывать. Когда я уезжаю из города, я никогда не сообщаю знакомым, куда я еду. Если бы я это сделал, я лишил бы себя всякого удовольствия. Это глупая привычка, разумеется, но, как бы там ни было, а она вносит в нашу жизнь значительную долю романтизма. Полагаю, что вы не считаете это большой глупостью с моей стороны. Не правда ли?

— Нисколько, — ответил лорд Генри, — вовсе нет, дорогой Бэзил. Вы, кажется, забываете, что я женат, и что единственная прелесть брака состоит в том, что он делает необходимой для обеих сторон жизнь, полную обманов. Я никогда не знаю, где моя жена, а жена моя не знает, что я делаю. При встрече, —

а встречи наши бывают чисто случайные, — когда мы вместе обедаем где-нибудь вне дома или бываем у Герцога, мы рассказываем друг другу самые невероятные истории с самыми серьезными лицами. Моя жена хорошо это умеет; гораздо лучше, чем я. Она никогда не сбивается в числах, а я — всегда. Но, если она что-нибудь узнает про меня, она никогда не поднимает ссоры. Иногда мне даже хотелось бы, чтобы она рассердилась, но она только смеется надо мной.

— Ненавижу вашу манеру говорить о вашей супружеской жизни, Гарри, — проговорил Бэзил, направляясь к двери, ведущей в сад. — Я уверен, что вы на самом деле очень хороший муж, но что вы стыдитесь собственной добродетели. Вы странный человек. Вы никогда не говорите ничего нравственного, но никогда не поступаете безнравственно. Ваш цинизм — лишь одна поза.

— Быть естественным — это поза, и притом самая для вас ненавистная! — смеясь, воскликнул лорд Генри. Они оба вышли в сад. В течение нескольких минут длилось молчание.

После долгой паузы лорд Генри взглянул на часы.

— Боюсь, что мне сейчас придется вас покинуть, Бэзил, — тихо проговорил он, — но прежде, чем уйти, я настаиваю на том, чтобы вы ответили мне на вопрос, который я задал вам недавно.

— В чем дело? — спросил Бэзил Холлуорд, пристально глядя в землю.

— Вы очень хорошо знаете это...

— Нет, я не знаю, Гарри.

— Ну, хорошо: тогда я скажу вам сам.

— Нет, пожалуйста, не надо!

— Я должен это сделать. Я хочу, чтобы вы мне объяснили, почему вы не хотите выставить портрета Дориана Грея? Я хочу знать настоящую причину.

— Я сказал вам настоящую причину.

— Да нет же. Вы мне сказали — это потому, что вы вложили в этот портрет слишком много самого себя. Это чересчур по-детски...

— Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в глаза, — всякий портрет, написанный понятно, есть портрет самого художника, вовсе не модели. Модель — обстоятельство чисто случайное: не ее, а себя самого раскрывает художник, посредством раскрашенного полотна. Причиной, почему я неставляю этого портрета, является мой страх, что я в нем слишком выразил тайну моей души.

Лорд Генри рассмеялся.

— Что же это такое?

— Я вам отвечу, — сказал Холлуорд, омрачившись.

— Я весь превратился в слух, — заявил его собеседник.

— О, но это, в сущности, пустяки, — сказал художник, — и я уверен, что вы этого вовсе не поймете. Да и, пожалуй, не поверите...

Лорд Генри улыбнулся. Нагнувшись, он сорвал с лужайки маргаритку с розовыми лепестками и принялся ее рассматривать...

— Я вполне уверен, что пойму, — сказал он, внимательно рассматривая золотистый кружочек с белыми листиками, — что же до того, чтобы поверить — то я всему верю, лишь бы это было достаточно невероятно.

Ветерок свял с деревьев опадающие лепестки и лениво закачал тяжелыми кистями сирени. У стены стрекотал кузнечик и тонкая, и длинная, словно голубая нить, пронеслась мимо стрекозы, трепеща коричневыми газовыми крыльями.

— Вот в чем дело, — начал живописец, помолчав, — два месяца тому назад я был на вечере у леди Брэндон. Вы знаете, что мы, бедные артисты, должны время от времени показываться в свете для того, чтобы показать, что мы не какие-нибудь дикари. Во фраке и белом галстуке, ведь решительно всякий, даже биржевой маклер, по вашим же словам, может иметь вид культурного существа. Итак, я пробыл несколько минут в салоне, беседуя с тяжеловесно разукрашенными старухами-вдовами и скучными академиками, как вдруг почувствовал, что меня кто-то наблюдает. Я обернулся и впервые увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Странный ужас охватил меня. Я понял, что стою лицом к лицу с тем, кто просто уже, как личность, до того бесконечно притягателен, что стоит мне только поддаться — и он поглотит меня целиком, с моей душой и талантом. Я не хочу никакого постороннего влияния на мою жизнь. Вы знаете, Гарри, как я по природе независим. Я всегда сам себе был хозяином — во всяком случае, был им до встречи с Дорианом Греем. И вот... право я не знаю — как это вам объяснить... Мне словно что-то сказала, что в жизни моей свершается странный переворот. У меня явилось неопределенное сознание, что судьба готовит мне утонченные радости, но и утонченные страдания. Я испугался и хотел уйти из залы. Поступить так порывался я вовсе не из-за совести, меня побуждала к этому какая-то трусость. Я не видел для себя другого исхода — спастись.

— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. Совесть — это только одно из двух названий, вот и все.

— Я не верю этому, Гарри, и надеюсь, что и вы не верите тоже. Словом, какова бы ни была причина — может быть даже гордость, я ведь очень горд — я поспешил к выходу. Там, разумеется, я наткнулся на леди Брэндон. — «Вы не собираетесь же удалиться так скоро, мистер Холлуорд» — закричала она... Вы знаете ее пронзительный голос...

— Да, она всегда напоминала мне павлина — конечно, не красотой, — сказал лорд Генри, ошипывая маргаритку длинными, нервными пальцами.

— Я не мог отделаться от нее. Она меня представила высочествам и персонам, носящим звезды и подвязки¹, зрелым дамам в гигантских тиарах и с

¹ *Звезды и подвязки* — знаки орденов Британской империи, большинство имело звезды, а Орден Подвязки — высший рыцарский орден, кроме того и ленту из темно-синего бархата с вытканной золотом каймой и золотой надписью: «Noni soit qui mal u pense» — «Да стыдится тот, кто подумает об этом дурно»; ее носят ниже левого колена и прикрепляют золотой пряжкой (женщины носят ее на левой руке).

крючковатыми носами... Она говорила обо мне, как о лучшем друге, а я ее видел раньше только раз. Но она забрала себе в голову — выдвинуть меня. Мне помнится, что одна из моих картин имела тогда большой успех, о чем и оповещали громовые газеты, которые, как вам известно, выдают в XIX веке свидетельства на бессмертие. Вдруг я снова очутился лицом к лицу с молодым человеком, чья личность меня так странно взволновала. Мы почти столкнулись друг с другом. Наши взгляды опять встретились. Почти независимо от собственной воли я попросил леди Брэндон познакомить нас. В конце концов, это, пожалуй, было уже вовсе не безрассудством, а простой неизбежностью. Я уверен, что мы заговорили бы, даже не будучи предварительно представлены друг другу. По крайней мере, относительно себя я в этом уверен, а позже Дориан мне говорил то же самое. Он тоже чувствовал, как и я, что мы должны были друг друга узнать.

— Что же сказала вам леди Брэндон об этом удивительном молодом человеке? — спросил приятель. — Я знаю ее манеру производить точнейшую оценку каждому своему гостю. Я помню, как она меня представила однажды апоплексическому сердитому на вид господину, увешанному орденами и лентами, делая мне на ухо трагическим шепотом самые чудовищные замечания на его счет, которые могли быть услышаны всеми находящимися в зале. Я прямо сбежал. Я люблю узнавать людей сам. Леди Брэндон относится к своим приглашенным совершенно как аукционный оценщик — к продаваемым им вещам. Она поясняет мании и привычки каждого, но совершенно натурально забывает обо всем, что может вас в человеке заинтересовать.

— Бедная леди Брэндон! Вы строги к ней, — рассеянно сказал Холлуорд.

— Милый друг, она пыталась создать салон, а устроила только ресторан. Почему бы я стал восхищаться ею? Но скажите же мне, что доверила она вам о Дориане Грее?

— О, нечто неопределенное вроде того, что это «очаровательный юноша. Его мать и я были неразлучны. Совершенно забыла чем он занимается, или, вернее сказать, боюсь, что он ничем не занимается... Ах, да — он играет на рояле... Но возможно, что скорее на скрипке, милый мистер Грей».

Мы не могли не расхохотаться и сразу стали друзьями.

— Веселость — вовсе не плохое начало для дружбы да и не плохой конец, — сказал лорд Генри, срывая другую маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Вы не можете понять, Гарри, — пробормотал он, — в какую близость или в какую ненависть это может перейти. Вы ведь любите всех, а это значит не любить никого.

— Как вы несправедливы! — вскричал лорд Генри, сдвинув шляпу на затылок и смотря на маленькие облачка, подобные прядям белого шелка, скользящие по бирюзовой глубине летнего неба.

— Да, ужасно несправедливы! Я устанавливаю огромное различие между людьми. Я выбираю друзей за их внешность, простых знакомых —

за характер, врагов — за ум. Люди не придают надлежащего значения выбору своих врагов. У меня нет ни одного, который был бы дураком. Все они — люди известной интеллектуальной значительности, следовательно умеют меня ценить. Разве поступать таким образом с моей стороны очень тщеславно? Пожалуй — да!

— И я так думаю, Гарри. Но сообразуясь с вашей манерой выбора — я должен быть для вас не более, чем простой знакомый.

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто знакомый».

— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

— Брата!.. Вот еще!.. Мой старший брат все не собирается умирать, а мои младшие следуют его примеру.

— Гарри! — воскликнул Холлуорд огорченным тоном.

— Мой милый, я уже не вполне серьезен. Но я не могу заставить себя не ненавидеть моих родных. Может быть это проистекает из того, что мы не можем переносить людей, имеющих те же недостатки, что и мы. Я вполне сочувствую бешенству английской демократии против того, что она называет пороками большого света. Масса чувствует, что пьянство, глупость и безнравственность — составляют ее принадлежность и что если кто-нибудь из нас усваивает себе эти недостатки — он охотится в ее владениях. Когда бедный Соутварк появился в суде со своим разводом, негодование этой массы было прямо великолепно, а я не думаю, чтобы десятая часть из них жила пристойно.

— Я не одобряю и одного слова из того, что вы говорите, Гарри, и чувствую, что вы и сами не одобряете.

Лорд Генри погладил свою длинную, остроконечную, темную бородку и похлопывая палкой из черного дерева, украшенной кистями, по своему ботинку из тонкой кожи, сказал:

— Какой вы истый англичанин, Бэзил. Вот уже второй раз вы делаете мне это замечание. Если что-нибудь говорят настоящему англичанину — это далеко не всегда вещь безнаказанная — он никогда не поинтересуется самой мыслью, правильна она или нет. Единственное, чему он способен еще придать известное значение — это как относится к ней сам говорящий. Нужно же понимать, что ценность мысли вовсе не зависит от искренности говорящего. На деле — тем больше шансов, что мысль интересна, чем менее искренен субъект, по крайней мере, на ней не будет отпечатка его личных надобностей, желаний и предрассудков. Однако, я не собираюсь углубляться с вами в политические, социологические, или метафизические вопросы. Я больше люблю личности, чем принципы, а больше всего я люблю личностей без принципов. Но поговорим еще о Дориане Грее. Часто ли вы его видите?

— Постоянно. Если бы я его не видел каждый день, я был бы несчастен. Он мне абсолютно необходим.

— Это любопытно. А я думал, что кроме искусства — вам ни до чего дела нет.

— Он отныне — все мое искусство, — серьезно сказал художник. — Я думаю иной раз, Гарри, что в истории мира есть только две эры, имеющие известное значение. Первая — появление нового технического приема, вторая — появление новой художественной индивидуальности. Чем было изобретение масляной живописи для венецианцев, чем было лицо Антиноя для классического греческого искусства, тем когда-нибудь станет для меня Дориан Грей. Я не только пишу его, рисую с него или делаю эскизы, хотя, конечно, я это делаю. Но он для меня более, чем модель. Я вовсе не хочу сказать, что недоволен собою и тем, что сделал с него, или что красота его не в состоянии быть воспроизведена искусством. Нет того, чего искусство не могло бы воспроизвести, и я знаю, что работа, начатая мною со встречи с Дорианом Греем — хороша, это лучшее произведение в моей жизни. Но совершенно неуловимым и непонятным способом вся его личность внушила мне совершенно новую манеру искусства — я удивился бы, если бы вы меня поняли — совершенно новый способ выражения. Я иначе вижу вещи, я иначе думаю. Я живу теперь жизнью, которая до сих пор была от меня скрыта. «Форма, о которой грезишь в дни раздумья»¹ — кто это сказал? Не помню уже. Но это как раз то, что для меня Дориан Грей. Простой факт присутствия этого полурепбенка, так как он мне кажется именно полурепбенком, несмотря на то, что ему уже более двадцати лет — один факт его присутствия — о, вы не можете представить себе, что это может составлять. Бессознательно он намечает для меня черты новой школы, школы, которая объединит страсть романтического духа с законченностью духа греческого! Гармония духа и тела — что за мечта! Нет, мы лишь в нашем разделили эти две их и изобрели реализм, который есть вульгарность и идеализм, который есть пустота! Гарри, если бы вы только могли знать — что для меня Дориан Грей! Вы помните пейзаж, за который Эгнью предлагал мне такую значительную сумму и с которым я все-таки не пожелал расстаться? Это одна из моих лучших вещей. И знаете почему? Потому что когда я его писал — возле меня сидел Дориан Грей. Какое-то неуловимое воздействие исходило от него на меня, и в первый раз в моей жизни я подметил в пейзаже то, что я всегда искал и чего не мог найти.

— Бэзил, это изумительно! Я должен увидеть этого Дориана Грея!

Холлуорд встал и несколько раз прошелся взад и вперед по садику... Затем он вернулся...

— Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня — просто мотив искусства. Вы ничего в нем не найдете. Я нахожу в нем все. Он никогда так не присутствует в моей мысли, как в то время, когда ничто внешне даже мне не напоминает о нем. Он, как я уже вам сказал, — подсказ нового рода искусства. Я это нахожу в известных изгибах линий, в прелести и тонкости некоторых оттенков. И это все.

— Тогда почему же вы ни за что не хотите выставить его портрет? — снова предложил вопрос лорд Генри.

¹ Строчка из стихотворения „К гречанке“ Остин Добсон (1840–1921).

— Потому что помимо собственного желания я в нем отразил это странное артистическое боготворение, о котором никогда с ним не заговаривал! Он ничего не знает. Он никогда ничего не будет знать! Но свет может это разгадать. А я не хочу открывать свою душу для глаз низких соглядатаев! Мое сердце никогда не будет под их микроскопом! В этой вещи слишком много меня самого, Гарри, слишком много!..

— Поэты не так щепетильны, как вы! Они прекрасно понимают, что страсть может быть обнародована с пользой, чтобы послужить лучшему сбыту книги. Разбитое сердце теперь выдерживает несколько изданий.

— Я ненавижу их за это, — вскричал Холлуорд, — артист должен творить прекрасное, но не должен вкладывать туда что-либо от себя самого. В наше время артисты смотрят на искусство с автобиографической точки зрения. Мы потеряли чувство отвлеченной красоты. Когда-нибудь я покажу миру, что это значит — по этой-то причине никто никогда не увидит портрета Дориана Грея.

— Я считаю, что вы сделаете ошибку, Бэзил, но я не стану с вами спорить. Меня интересует это только как интеллектуальная потеря. Скажите мне — любит ли вас Дориан Грей?

Живописец, казалось, размышлял несколько мгновений.

— Он меня любит, — сказал он после некоторого молчания, — я знаю, что он меня любит. Я ему много льщу, конечно. Я нахожу странное удовольствие говорить ему вещи, о которых знаю, что пожалею потом. Обыкновенно он очень мил со мною, и мы проводим в мастерской целые дни, беседуя о тысячах вещей. Но иной раз он становится совсем жалкий и как будто испытывает истинное наслаждение, причиняя мне боль. Я знаю, Гарри, что отдал всю свою душу существу, которое смотрит на нее как на цветок или ленточку в петличке, как на утеху его тщеславию в продолжение летнего дня.

— Летние дни очень длинны, — произнес лорд Генри, — и, быть может, он утомит вас раньше, чем вы его. Об этом грустно думать, но ум сохраняется дольше красоты. Этим и объясняется, почему мы так сильно стараемся образовать себя. Нам необходимо в ужасной жизненной борьбе обладать чем-нибудь устойчивым, и мы переполняем свой ум хламом всяческих фактов в жалкой надежде удержаться на своем месте. Человек хорошо осведомленный — вот современный идеал. И мозги этого хорошо осведомленного человека — удивительная вещь. Это словно лавочка старьевщика, полная чудовищного и пыльного мусора, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости. Я думаю, что утомитесь вы первый. В один прекрасный день вы взглянете на своего друга и подумаете: «это больше не то». И вам уже перестанет нравиться его цвет лица и все другое. В глубине души вы его же упрекнете в этом и подумаете, что он с вами дурно поступил. На следующий день вы будете вполне холодны и равнодушны. И это жаль, так как это вас изменит. То, что вы мне рассказали — настоящий роман, роман искусства, как я бы это назвал, а всякий роман, в каком роде бы он ни был — когда он оканчивается, человек остается таким неромантическим!

— Гарри, не говорите так! Сколько бы я ни прожил — личность Дориана Грея будет иметь власть надо мной! Вы не можете так чувствовать, как я. Вы слишком часто меняетесь.

— И, милый мой Бэзил, именно оттого, что чувствую. Кто верен — знает только тривиальную сторону любви. Только измена знает трагическое.

И лорд Генри, потеряв спичку о хорошенькую серебряную коробочку, закурил сигару со всей безмятежностью спокойной совести и с таким удовлетворенным видом, как будто одной фразой ему удалось охарактеризовать весь мир.

Шумная стая воробьев рассыпалась по глубокой зелени плюща. Словно стая ласточек, по лужайке скользили голубые тени облаков. Какой прелестью дышал сад! Как прекрасны волнения людей, — думал лорд Генри, — гораздо более, чем их мысли. Своя собственная душа и страсти друзей — самые прекрасные вещи на свете. И он думал, посмеиваясь о скучном завтраке, которого он избегнул, засидевшись у Холлуорда. Если бы он отправился к своей тетке, он непременно бы встретил у нее лорда Гудбоди и весь разговор вертелся бы около помощи бедным и необходимости образцовых квартир. Он слушал бы разговоры разного рода людей о преимуществах тех добродетелей, в которых не предстоит необходимости упражняться им самим. Богатый говорил бы о необходимости сбережений, а бездельник весьма красноречиво распространялся бы о достоинстве труда. Какое неоценимое счастье, что он туда не попал! Однако, когда он вспомнил о своей тетке, в голову ему пришла одна мысль. Он повернулся к Холлуорду.

— Мой милый, я припоминаю!..

— Что именно, Гарри!

— Где я слышал имя Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, слегка нахмурившись.

— Не смотрите на меня так свирепо, Бэзил. Это было у моей тетки, леди Агаты. Она мне говорила, что познакомилась с чудесным молодым человеком, который предложил ей провожать ее по Ист-Энду и что его зовут Дориан Грей. Могу вас, однако, уверить, что она никогда не говорила мне о нем, как о красавце. Женщины, в сущности, ничего не понимают в красоте, особенно хорошие женщины. Она мне говорила, что он серьезный человек и прекрасного характера. И я мгновенно представил себе субъекта в очках с плоскими волосами, веснушками и огромными ногами. Я предпочел бы знать, что он вам друг.

— Очень рад, что вы этого не знали!

— Почему?

— Я не желал бы, чтобы вы познакомились.

— Вы не желали, чтобы я с ним познакомился?..

— Именно!

— Мистер Дориан Грей в мастерской, сэр, — доложил дворецкий, входя в сад.

— Теперь-то уж вы должны будете так или иначе представить нас друг другу, — воскликнул, смеясь, лорд Генри. Живописец повернулся к слуге, который стоял, прищурившись от солнца.

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я сию минуту приду.

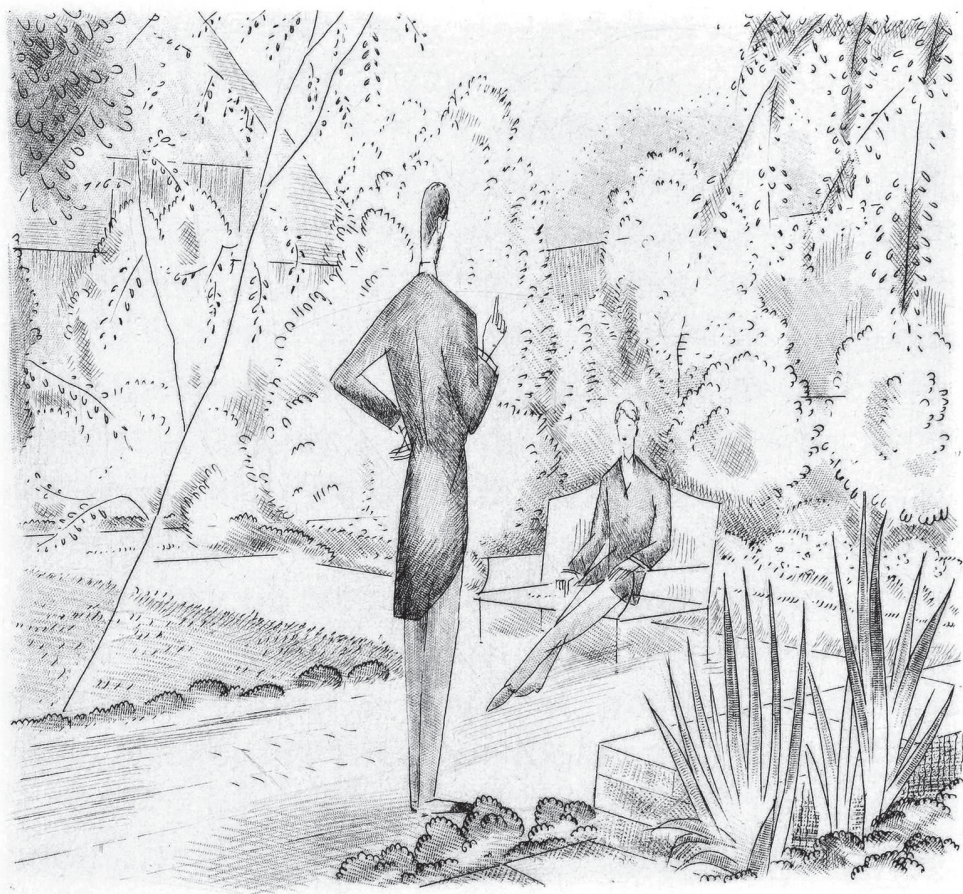
Человек поклонился и ушел.

Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

— Дориан Грей — самый дорогой мой друг, — сказал он. — Это простая и прекрасная натура. Ваша тетка была совершенно права, отозвавшись о нем так, как вы мне передали. Не губите его хоть для меня. Не старайтесь влиять на него. Ваше влияние будет губительно. Мир велик, и в нем достаточно интересных людей. Не лишайте меня единственного существа, которое придает моему искусству все то очарование, которым оно только может обладать. Вся моя жизнь артиста зависит от него. Заклинаю вас, Гарри, имейте это в виду!

Он говорил тихо, и слова, казалось, помимо воли срывались с его губ.

— Какие глупости вы мне рассказываете, — сказал лорд Генри, засмеявшись, затем взял Холлуорда под руку и почти насильно потащил его в дом.



ГЛАВА II

Войдя, они увидели Дориана Грея. Он сидел у рояля спиной к ним, и перелистывал страницы тетради «Лесных сцен» Шумана.

— Вы мне должны дать это, Бэзил, — вскричал он, — я хочу их разучить. Это прелестно.

— Это будет зависеть от того, как вы станете сегодня позировать, Дориан.

— Ах, мне надоело позировать, и я вовсе не нуждаюсь в портрете в натуральную величину, — ответил юноша, поворачивая свой табурет с упрямым и своенравным видом.

Легкая краска выступила на его щеках, когда он заметил лорда Генри, и он оборвался.

— Простите, Бэзил, я не знал, что с вами кто-то есть...

— Это лорд Генри Эштон, один из моих старых товарищей по Оксфорду. Я как раз распространялся ему, что вы за превосходная модель, а вы все и испортили...

— Но вы не испортили моего удовольствия встретить вас, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к нему и протягивая руку. — Моя тетка часто говорит мне о вас. Вы — один из ее любимцев и, я опасаюсь, одна из ее жертв.

— Теперь я на плохом замечании у нее, — сказал Дориан с забавной мимикой раскаяния, — я обещал проводить ее, в прошлый вторник, в один из клубов Уайтчепеля¹ и совершенно забыл свое обещание. Мы должны были сыграть с ней в четыре руки и не раз, а даже три раза, кажется! И теперь я не знаю, что она мне скажет. Я в отчаянии, как я теперь явлюсь к ней.

— О, я вас помирю. Она так к вам хорошо относится! Да и вряд ли, в самом деле, есть за что сердиться. Публика должна была услышать игру в четыре руки, но когда тетюшка Агата садится за рояль, то производит грому за двоих.

— Это очень зло по отношению к вашей тетке и не слишком мило по отношению ко мне, — сказал Дориан, рассмеявшись.

Лорд Генри смотрел на него. Да, в самом деле, он поразительно прекрасен со своими тонко обрисованными пурпурными губами, ясными голубыми глазами и золотистыми кудрями. Все в нем внушало доверие — и юношеская искренность, и целомудренная страстность в его лице. Чувствовалось, что свет еще не запятнал его. Как же было удивляться тому, что Бэзил так его ценит.

— Вы, право же, слишком очаровательны, чтобы заниматься филантропией, мистер Грей, слишком очаровательны!..

И лорд Генри, растянувшись на диване, открыл свою папиросницу.

Живописец с лихорадочной поспешностью приготовлял палитру и краски. У него был раздосадованный вид. Когда он услышал последнюю фразу лорда Генри, он пристально посмотрел на него и после недолгого колебания сказал:

— Гарри, я непременно хочу сегодня закончить этот портрет. Рассердитесь ли вы на меня, если я попрошу вас уйти?

Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана Грея.

— Должен я уйти, мистер Грей? — спросил он.

— О, нет, прошу вас, лорд Генри. Я вижу, что Бэзил сегодня в дурном настроении, а я этого не выношу просто! Прежде всего — я хочу спросить у вас, почему я не должен заниматься филантропией.

— Я не знаю, как вам на это ответить, мистер Грей. Это такой снотворный сюжет, что о нем следует говорить только серьезно. Но я, разумеется, не уйду, потому что вы меня просите остаться. Вы не настаиваете, Бэзил, чтобы я непременно ушел? Вы мне частенько говаривали, что желали бы иметь кого-нибудь, кто болтал бы с вашими натурщиками...

Бэзил прикусил губы.

¹ *Уайтчепел* — В конце XIX века бедный район Лондона с многочисленными клубами и барами; именно здесь происходили убийства, приписанные серийному убийце Джеку Потрошителю.

— Раз этого желает Дориан, вы можете остаться. Его капризы — закон для каждого, кроме него самого.

Лорд Генри взял свою шляпу и перчатки.

— Вы слишком добры, Бэзил, но я лучше уйду. У меня свидание кой с кем у «Орлеанов»¹. Прощайте, мистер Грей. Заходите ко мне как-нибудь, после полудня на Керзон-стрит². Около пяти часов я почти всегда у себя. Черкните мне, когда вы придете: я был бы в отчаянии, если бы вы меня не застали.

— Бэзил, — вскричал Дориан Грей, — если лорд уйдет, я тоже уйду. Когда вы пишете, вы никогда не раскрываете рта, и это нестерпимо скучно, торчать на подмостках и иметь приятный вид. Попросите его остаться. Я настаиваю на этом.

— Оставайтесь же, Гарри, — это обрадует Дориана и меня, — сказал Холлуорд, пристально смотря на свою картину. — Это правда, я никогда не разговариваю, когда пишу, да и не слушаю также. Я вполне понимаю, что это должно удручать мои несчастные модели. Оставайтесь, прошу вас.

— А как же быть с личностью, которая меня ждет у «Орлеанов»?

Живописец рассмеялся.

— Это как-нибудь устроится само собой. Садитесь-ка Гарри. А теперь, Дориан, взойдите на подмостки, не слишком двигайтесь и попробуйте не обращать никакого внимания на то, что вам говорит лорд Генри. Он зловредно влияет на всех, кроме одного меня.

Дориан взойшел на подмостки с видом молодого греческого мученика и сделал недовольную гримаску, глянув на лорда Генри, к которому почувствовал симпатию. Он был так непохож на Бэзила, представляя с ним такой восхитительный контраст... И у лорда Генри такой чудный голос. Через несколько мгновений он спросил у него:

— Неужели ваше влияние так зловредно, как утверждает это Бэзил?

— Хороших влияний и не существует, мистер Грей: всякое влияние безнравственно — безнравственно с научной точки зрения.

— Почему?

— Потому что влиять на кого-нибудь, значит отдавать ему немного своей души. Он не думает больше только своими мыслями, не пылает только своими собственными страстями. Его добродетели — больше не его добродетели. Его грехи — если только вообще есть грехи — заимствованы. Он делается отзвуком чуждой музыки, актером в пьесе, написанной не для него. Цель жизни — развитие индивидуальности. Осуществить целиком ее природу — вот что каждый из нас пытается делать. Теперь люди боятся самих себя. Они забыли высочайшую

¹ „Орлеан“, *Орлеанский дом* — вилла, построенная архитектором Джоном Джеймсом в 1710 году для политика и дипломата Джеймса Джонстона. Впоследствии названа так в честь герцога Орлеанского, который останавливался здесь в начале XIX в. С середины XIX века картинная галерея, бальный зал и клуб.

² *Керзон-стрит* — улица в районе Мейфэр, там располагалось большинство Лондонских резиденций английской аристократии.

из своих обязанностей — обязанность по отношению к самому себе. Конечно, они сострадательны. Они кормят голодных и одевают оборванцев. Но собственные души их голодны и голы. Мужество покинуло нас. Да, быть может, у нас его никогда и не было. Страх перед обществом, основа всякой морали и страх перед Богом, тайна всякой религии — вот то, что нами правит. И тем не менее...

— Поверните вашу голову несколько более вправо, Дориан, будьте добрым мальчиком, — сказал художник, погруженный в свою работу и подметивший в выражении лица юноши то, чего он еще не подмечал до сих пор никогда.

— И тем не менее, — продолжал лорд Генри своим музыкальным голосом с тем изящным движением руки, которое у него так характерно и сохранилось еще с Итонских дней, — и тем не менее я полагаю, что если бы человек пожелал изжить свою жизнь полно и всецело, давая надлежащую форму всякому чувству, надлежащее выражение всякой мысли — я полагаю, по всему миру пронеслось такое веяние живой радости, что были бы позабыты все средневековые болезни, и мы вновь пришли бы к греческому идеалу, а может быть даже к чему-нибудь более прекрасному, более богатому, чем этот идеал! Но самый смелый из нас отчаивается в самом себе. Наше самоотречение трагически похоже на самоистязание дикарей. Мы сами наказываем себя нашими отречениями. Каждый заглушенный нами порыв остается в нас и управляет нас. Тело же — согрешит и успокаивается, потому что сделать — значит отделаться. Нам же ведь ничто больше и не остается, как воспоминание о наслаждении и сладострастие угрызений. Единственный способ избавиться от соблазна — это уступить ему. Попробуйте лишь устоять — и ваша душа болезненно устремится к тому, в чем сама себе отказала. И желание того, что чудовищные законы сделали чудовищным запретным, станет только больше.

Сказано, что великие события мира происходят в мозгу. В мозгу и только там совершаются и все грехи. Вы сами, мистер Грей, с вашей розово-пурпурной молодостью, с вашим бело-розовым детством — разве вы не знали страстей, которые пугали вас, мыслей, которые наполняли вас ужасом, снов наяву и снов ночных, одно воспоминание о которых нагоняет румянец на ваши щеки...

— Пойдите, — сказал Дориан Грей в нерешимости, — пойдите! Вы смутили меня, я не знаю что вам ответить! Я мог бы что-то ответить вам, но сейчас не могу сообразить... Не говорите больше! Дайте мне подумать! Или лучше пусть я попробую не думать...

Около десяти минут он просидел не шевелясь с полуоткрытыми губами и странно блистающими глазами. Казалось, он смутно сознает, что в нем шевельнулось что-то новое, но это новое он считал принадлежащим ему же самому. Несколько слов, сказанных ему другом Бэзила, — слов, сказанных, без сомнения, случайно и пересыпанных умышленными парадоксами, задел в нем какую-то тайную струну, которой ничто еще не касалось — и вот он чувствует в себе ее дрожь и трепет.

До сих пор его волновала так лишь музыка. Она уже много раз волновала его... Но она творит в нас не новые миры, а скорее новый хаос!

Слова! Простые слова! И как они могут быть ужасны. Как прозрачны, ослепительны или жестоки могут они быть! Хотелось бы избежать их. Что за странное, утонченное волшебство заключено в них. Они словно дают пластическую форму бесформенным вещам и что они обладают собственной музыкой, слаще лютни и скрипки. Простые слова! Есть ли что-нибудь на свете реальнее слов?

Да, в его детстве случались вещи, которых он не понимал. Теперь он понимает их. Жизнь в его глазах получила вдруг словно огненную окраску. Он подумал, что до сих пор он шел словно сквозь огонь. И как он даже не подозревал этого!

Лорд Генри сторожил его, улыбаясь своей загадочной улыбкой. Он понимал психологическое значение молчания. Он был живо заинтересован. Он удивлялся — до чего быстрое действие оказали его слова. Ему вспомнилась книга¹, прочитанная им, когда ему было шестнадцать лет, и открывшая ему то, что оставалось ему неизвестным. И он восхищался, глядя на Дориана Грея, который проходит теперь через то же самое. Он только пустил стрелу в воздух. Неужели она попала в цель?.. — Как интересен, в самом деле, этот мальчик!

Холлуорд, со свойственной ему замечательной твердостью руки, владел тем изяществом, той нежной утонченностью, которая, в искусстве, дается только истинной силой. Он не обратил внимания на долгое молчание, наступившее в мастерской.

— Бэзил, я устал позировать, — вскричал вдруг Дориан Грей. — Я хочу пойти в сад. Здесь душливый воздух...

— Мой дорогой, я страшно огорчен. Но когда я пишу, я забываю обо всем другом. Вы никогда лучше не позировали. Вы были совершенно неподвижны, и я уловил эффект, которого искал. Губы полуоткрыты и молния в глазах... Я не знаю, что мог сказать вам Гарри, но, несомненно, поэтому-то и сделалось у вас такое выражение. Я предполагаю, что он наговорил вам комплиментов. Не верьте ни одному слову.

— Он именно не говорил мне никаких комплиментов. Вот, может быть, потому-то я и не склонен верить тому, что он мне рассказывал.

— Ну!.. Вы прекрасно знаете, что поверили всему, — сказал лорд Генри, глядя на него ленивыми, мечтательными глазами. — Я вас провожу в сад, в мастерской нестерпимая жара. Бэзил, велите, пожалуйста, дать нам что-нибудь похолоднее выпить, чего-нибудь такого с земляникой.

— Все, что хотите, Гарри... Позовите Паркера. Когда он явится — я скажу ему, чего вы желаете. Я же хочу еще поработать немножко над фоном портрета, но скоро к вам присоединюсь. Но не отнимайте у меня Дориана надо-

¹ Имеется в виду роман „Наоборот“ (*À rebours*) — роман французского писателя Жориса Карла Гюисманса. Он вышел в 1884 г. и прославился как „библия декадента“.

лого. Я никогда еще не был в таком настроении писать... Это положительно будет моим шедевром... Это уже шедевр!

Лорд Генри, выйдя в сад, нашел Дориана Грея зарывшегося лицом в свежие кисти сирени, жадно впивая в себя ее запах словно драгоценное вино. Он подошел к нему и коснулся его плеча рукою.

— Прекрасно, — сказал он, — ничто не может лучше исцелить душу, чем чувства, и ничто лучше, чем чувства, не излечивает души.

Юноша вздрогнул и обернулся. Он был с открытой головой, и листья растрепали его золотые кудри, перепутав их нити. В глазах его был испуг, тот самый, что бывает у внезапно разбуженных людей. Его тонко очерченные ноздри трепетали, и скрытое волнение ярче окрасило подергивающиеся губы.

— Да, — продолжал лорд Генри, — это одна из великих тайн жизни — излечивать душу посредством чувства, а чувства — посредством души. Вы удивительное существо. Вы знаете больше, чем сами подозреваете, но все же знаете меньше, чем вам надо знать.

Дориан Грей отвернулся с опечаленным видом. Конечно, он не может запретить себе любить этого красивого и изящного молодого человека, который стоит возле него. Его смугловатое, романтическое лицо, с выражением утомления, интересовало его. Было что-то безусловно очаровывающее в звуках его медлительного, низкого голоса. Даже его руки, белые и прохладные, словно цветы, обладали стройной прелестью. Как и его голос, они казались музыкальными, имеющими свой собственный язык. Он его боялся и стыдился, что боится. Так должно быть надо было, чтобы пришел этот чужой человек и объяснил ему его самого. Бэзила Холлуорда он знает уже целые месяцы, но эта дружба не изменила в нем ничего. И вот некто вошел в его существование и открыл ему тайну жизни. Чего же он так испугался? Он ведь не маленькая девочка и не школьник. Глупо бояться...

— Сядемте в тени, — сказал лорд Генри. — Паркер нам приготовил напиток, а если вы останетесь дольше на солнце — вы испортите свой цвет лица и Бэзил не захочет больше вас писать. Не подвергайте себя опасности солнечного удара, это было бы несвоевременно.

— Что же из этого? — рассмеялся Дориан Грей и уселся на скамью в конце сада.

— Для вас это необычайно важно, мистер Грей.

— Почему же?

— Потому что вы обладаете удивительно прекрасной молодостью, а молодость — единственная вещь, которой стоит обладать.

— Я об этом не забочусь!

— Не заботитесь... теперь! Придет день, когда вы постареете, сморщитесь, станете безобразны, когда мысли проведут своими когтями глубокие черты по вашему лбу, а страсти иссушат ваши уста своим тлетворным дыханием — в тот день, говорю я вам, вы горько позаботитесь об этом. Теперь — куда вы ни являетесь, вы очаровываете. Будет ли так всегда?.. У вас необычайно

прекрасное лицо, мистер Грей... Не сердитесь же, ведь это так. Красота есть одна из форм Гения, даже самая высокая, потому что она не нуждается в объяснениях. Это такой же несомненный мировой факт, как солнце, весна или отражение в темной воде той серебряной раковинки, которую мы называем луною. Он неоспорим. Это — царственность милостью Божией; тех, кто ею обладает, она сделает властелинами. Вы улыбаетесь?.. Вы не улыбнетесь больше, когда потеряете ее. Часто говорят, что Красота поверхностна. Возможно, что и так. Но все же она менее поверхностна, чем мысль. Для меня красота — чудо из чудес. Только ограниченные люди не судят по внешности. Истинная тайна мира — видимое, а вовсе не невидимое. Да, мистер Грей, боги были к вам милостивы. Но то, что боги дают, они скоро и отнимают. У вас только немного лет впереди для полной, настоящей, совершенной жизни. Ваша красота исчезнет вместе с молодостью, и вы внезапно сделаете открытие, что вы уже не можете больше побеждать, и что вам остается впредь жить воспоминаниями о прошлых победах, а это будет для вас горче всякого поражения. Каждый прожитый вами месяц приближает вас к чему-нибудь ужасному. Время ревниво к вам и пойдет войной на ваши лилии и розы.

Вы поблекнете, ваши щеки провалятся и взоры померкнут. Вы будете страдать невыразимо. Ах, изживайте вашу молодость, пока она у вас есть!

Не расточайте золота ваших дней, слушаясь глупцов, пытающихся остановить неизбежное наступление разрушения, сторонитесь невежества, пошлости, вульгарности. В этом — большие стремления и ложные идеалы нашего времени. Живите! Живите чудесной жизнью, которая в вас есть. Старайтесь ничего не потерять! Ищите всегда новых ощущений! Ничто пусть не пугает вас! Век требует нового Гедонизма. Вы можете быть его воплощенным символом. Нет ничего, что было бы для вас невозможно с вашим лицом. На некоторое время — вам принадлежит мир!

Встретив вас, я понял, что вы совершенно не сознаете, что вы такое и чем вы можете стать.

В вас есть нечто до такой степени притягательное, что я почувствовал необходимость раскрыть вам вас самого из трагического страха, что вы попусту растратите себя. Так как ведь молодость ваша проживет так недолго... так недолго! Цветы вянут, но они расцветают вновь. Этот ракитник и в будущем июне расцветет так же, как и сейчас. Через месяц эти клематисы покроются красноватыми цветами, и из года в год все такие же красноватые огни их лепестков будут пламенеть между зеленью его листьев. Но мы — нам не переживать уже больше нашей молодости. Пульс радости, бьющийся в наши двадцать лет, станет все слабеть, члены утомятся и чувства наши износятся. Все мы сделаемся отвратительными манекенами, одержимыми воспоминанием о том, что нас так пугало, воспоминанием об искушениях, поддаться которым у нас не хватило смелости. О, юность, юность! В мире есть только одна юность!

Дориан Грей слушал, широко открыв глаза, и восхищался... Ветка сирени упала из его рук на землю. Прилетела пчела и зажужжала вокруг нее, причем

заколебались маленькие пурпурные звездочки-цветки. Он смотрел на это с тем странным интересом, какой вдруг проявляется у нас к мелочам в то время, когда мы поглощены пугающей нас проблемой, когда мы переживаем нечто новое, чему не можем подыскать выражения, или приведены в ужас преследующей нас мыслью, вынуждающей нас подчиниться ей. Потом пчела улетела. Он заметил, как она заползала в чашечку тирийского вьюнка. Цветок склонился и тихо закачался...

Вдруг в дверях мастерской показался художник, делая настойчивые знаки. Они переглянулись, улыбнувшись.

— Я жду вас. Войдите же. Освещение сейчас превосходное, и вы можете захватить ваше питье с собой.

Они поднялись и лениво зашагали вдоль стены. Две зеленые с белым бабочки порхали перед ними, а на груше, в углу у стены, запел дрозд.

— Довольны ли вы, мистер Грей, что встретили меня? — спросил лорд Генри, глядя на него.

— Да, сейчас я доволен... И думаю, что всегда буду доволен!

— «Всегда»!.. Ужасное слово. Мне делается холодно, когда я его слышу. Женщины так злоупотребляют им! Они губят все романы, пытаясь их сделать вечными. Это слово отныне не имеет никакого значения. Единственное различие, которое существует между капризом и вечной любовью, — в том, что каприз тянется несколько дольше.

Когда они входили в мастерскую, Дориан Грей взял лорда Генри под руку.

— В таком случае пусть наша дружба лучше будет капризом, — пролепетал он, покраснев от собственной смелости.

Он взобрался на подмостки и принял свою позу.

Лорд Генри раскинулся в большом ивовом кресле и принялся смотреть на него. Удары кисти о полотно и движения Холлуорда, отходящего от картины, чтобы судить об эффекте, были единственными звуками, нарушавшими тишину. В косых лучах, врывающихся в полуоткрытую дверь, танцевали золотые пылинки. Тяжелый запах роз, казалось, навис над всем.

Через четверть часа Холлуорд бросил работать и стал смотреть поочередно то на Дориана Грея, то на портрет, покусывая кончик толстой кисти и насупив брови.

— Конечно! — вскричал он и, наклонившись, написал свое имя большими красными буквами в левом углу полотна.

Лорд Генри подошел взглянуть на картину. Это было удивительное произведение искусства, поражавшее необычайным сходством.

— Мой милый друг, позвольте мне горячо поздравить вас, — сказал он. — Это лучший портрет нашего времени. Мистер Грей, взгляните же на себя.

Юноша встrepенулcя, точно пробужденный ото сна.

— В самом деле — конечно? — спросил он, спускаясь с подмостков.

— Вполне конечно, — сказал художник. — И вы сегодня позировали как ангел. Я вам не знаю, до чего обязан.

— Обязаны вы только мне, — сказал лорд Генри, — не правда ли, мистер Грей?

Дориан не ответил. Он беспечно подошел к портрету и взглянул на него. Когда он его увидел, то отшатнулся, и щеки его вспыхнули от удовольствия. Молния радости вспыхнула в его глазах, потому что он впервые узнал себя. Любуясь на портрет, он некоторое время стоял неподвижно, не обращая внимания на то, что говорит ему Холлуорд, не понимая смысла его слов. Сознание собственной красоты пришло к нему, как откровение, он никогда до сих пор в это не вникал. Compliments Бэзила Холлуорда просто казались ему милыми дружескими преувеличениями. Он выслушивал их, смеясь, и скоро забывал. На его характер это не оказывало никакого влияния. И вот появился лорд Генри Эштон со своим странным славословием молодости и с пугающим предупреждением о ее быстротечности... Это метко попало в цель, и теперь, перед отражением собственной красоты, он ощутил ее полную реальность.

Да, придет день, когда его лицо сморщится и соберется в складки, глаза впадут и потеряют блеск, изящество его фигуры будет сломлено и обезображено. Пурпур его губ поблекнет, как потускнеет и золото кудрей. Жизнь, развивая его душу, разрушит его тело. Оно станет ужасным, омерзительным, смешным.

Когда он подумал обо всем этом, острое ощущение боли пронзило его, словно ножом, и заставило затрепетать в нем тончайшие фибры его существа. Аметист его глаз потемнел. Туман слез помутил их... Сердце его точно сжала ледяная рука.

— Нравится вам это? — воскликнул, наконец, Холлуорд, несколько удивленный непонятным ему молчанием юноши.

— Конечно, нравится, — сказал лорд Генри. — Почему бы он не нравился ему? Это одно из благороднейших произведений современного искусства. Я вам дам за него все, что вы захотите. Я должен его иметь!

— Это не моя собственность, Гарри!

— Тогда чья же?

— Но Дориана же, конечно! — ответил живописец.

— Счастливец!

— Как печально! — бормотал Дориан, устремив глаза на портрет. — Да, как глубоко печально! Я стану стар, отвратителен, ужасен! А эта картина всегда останется молодой. Она никогда не станет старше, чем в этот июньский день! Ах, если бы это можно было переменить! Если бы это я мог оставаться вечно юным, а этот портрет мог стареть. За это, за это я отдал бы все! Да, нет ничего в целом мире, чего я не отдал бы за это!..

— Вам нелегко может удаться совершить подобную сделку, — вскричал, расхохотавшись, лорд Генри.

— О, о, прежде всего этому воспротивился бы я, — сказал живописец.

Дориан Грей обернулся к нему.

— Верю, Бэзил. Вы больше любите ваше искусство, чем ваших друзей. Я для вас не значу больше, чем одна из ваших фигур из зеленой бронзы. А может быть и поменьше.

Живописец посмотрел на него с удивлением. Он не привык слышать от Дориана такие речи. Что случилось? Он в самом деле казался страшно огорченным. Он весь раскраснелся, щеки горели.

— Да, — сказал он, — я для вас меньше, чем Гермес из слоновой кости, чем серебряный Фавн. Вы их будете всегда любить. А сколько времени вы будете любить меня? До моей первой морщины, конечно? Теперь я знаю, что когда теряют свою привлекательность, какова бы она ни была, теряют все. Ваше произведение разъяснило мне это. Да, лорд Генри Эштон вполне прав. Только одна молодость чего-нибудь стоит. Когда я замечу, что начинаю стареть, я убью себя!

Холлуорд побледнел и взял его за руку.

— Дориан! Дориан! — воскликнул он. — Не говорите так! У меня никогда не было такого друга, как вы, и никогда не будет. Не можете же вы ревновать к неодушевленным вещам, не правда ли? Разве вы не прекраснее их всех?

— Я ревную ко всякой вещи, красота которой не умрет. Я ревную к моему портрету!.. Почему он сохранит то, что я должен потерять! Всякая уходящая минута отнимает у меня что-нибудь и украшает этого... О, если бы это было возможно переменить. Если бы я мог остаться таким, как сейчас. Зачем вы это написали! Какою иронией станет это когда-нибудь. Какою ужасающей иронией!

Жгучие слезы наполняли его глаза... Он ломал себе руки. Затем он подбежал к дивану и зарылся лицом в подушки, став на колени, словно для молитвы.

— Это — ваше дело, Гарри, — с горечью сказал художник.

Лорд Генри поднял плечи.

— Вот истинный Дориан Грей, хотите вы сказать!

— О, нет...

— А если нет, то почему это может касаться меня?

— Вы должны были уйти, когда я вас просил, — шепнул художник.

— Но я и остался же потому, что вы меня попросили, — ответил лорд Генри.

— Гарри, я не хочу ссориться с двумя моими лучшими друзьями, но по милости вас обоих я стану ненавидеть самое прекрасное, что я когда-либо сделал и хочу это уничтожить. В конце концов, что такое кусок холста и краски. Я вовсе не желаю допустить, чтобы это могло изуродовать три жизни.

Дориан Грей поднял с кучи подушек бледное, залитое слезами лицо и посмотрел на художника, который направился к большому столу у занавешенного окна. Что он хочет делать? Его пальцы ищут что-то между жестяных трубочек и сухих кистей. Вот оно, узкое лезвие из гибкой стали. Он его нашел. Он уничтожит картину. Задышавшись от рыданий, молодой человек вскочил на ноги, бросился к Холлуорду, вырвал у него из рук нож и швырнул его на другой конец мастерской.

— Бэзил, не делайте этого! — закричал он, — это будет убийство!

— Я в восторге, что вы, наконец, оценили мое произведение, — сказал холодно художник, делаясь снова спокойным. — Я этого от вас совсем не ожидал.

— Оценил!.. Да я боготворю его! Он — часть меня самого.

— Ну и прекрасно! Значит, когда «вы» высохнете, когда «вы» будете покрыты лаком и вставлены в раму — «вы» будете отосланы к вам. И тогда вы можете сделать с «собой» все, что хотите.

Он перешел через комнату и позвонил.

— Хотите чаю, Дориан? И вы, Гарри? Или, может быть, вы сделаете какое-нибудь возражение против столь простого удовольствия?

— Я обожаю простые удовольствия, — сказал лорд Генри. — Это последнее прибежище сложных людей. Но я не люблю... сцен, кроме как на подмостках. Какие вы оба были забавные! Удивляюсь, что человека определяют как животное разумное. Довольно преждевременное определение. Человек — все что угодно, но не разумен. И, в конце концов, я в восторге от этого... Но я очень бы желал, чтобы вы не ссорились из-за этой картины. Знаете, Бэзил, вы сделали бы лучше всего, отдавши ее мне. Этот злой мальчик вовсе не так в ней нуждается, как я.

— Если бы вы ее уступили кому-нибудь другому, не мне, Бэзил, я бы не простил вам этого всю мою жизнь, — вскричал Дориан Грей. — И я никому не позволяю называть себя злым мальчиком.

— Вы же знаете, что картина принадлежит вам, Дориан. Я вам подарил ее раньше, чем она была написана.

— Вы также знаете, что вы были немножко злы, мистер Грей, и что вы не можете возмущаться, когда вам напоминают о вашей крайней молодости.

— Я искренно возмущился бы еще сегодня утром, лорд Генри!

— А! Этим утром!.. С тех пор вы кое-что пережили.

Постучали в дверь. Вошел дворецкий с чайным прибором и расставил его на японском столике. Послышался звон чашек и блюдец и запел песенку чайник в стиле Георга III¹. Лакей принес два китайских блюда шарообразной формы. Дориан Грей встал и занялся чаем, а остальные двое лениво побрели к столу исследовать, что заключается под стеклянными колпаками блюд.

— Пойдем вечером в театр, — сказал лорд Генри. — Вероятно, где-нибудь что-нибудь есть новенькое.

— Я обещал обедать у Уайта, но так как это старый приятель, то я могу послать ему телеграмму, что я не здоров, или что мне помешало прийти более позднее приглашение. Я думаю, что это будет наилучшим извинением, оно будет иметь всю прелесть искренности.

— Надевать фрак — убийственная вещь, — заметил Холлуорд, — а когда его наденешь, окончательно делаешься ужасным.

— Да, — задумчиво согласился лорд Генри, — костюм XIX века отвратителен... Он такой мрачный, стеснительный. В современной жизни только один грех — еще сколько-нибудь красочек.

¹ В оригинале «Georgian urn»; так называли серебряный чайник в виде урны в стиле Георга III, сходный по виду и устройству с русским самоваром. Кипяток разливался через носик в нижней части этого сосуда.

— Вы не должны говорить таких вещей при Дориане, Гарри.
— Перед каким Дорианом? Тем, что разливает нам чай, или тем, что на портрете?

— Перед обоими.

— Я очень хотел бы пойти с вами в театр, лорд Генри, — сказал молодой человек.

— Пойдемте... И вы также, Бэзил, да?

— Право, не могу... Я предпочитаю не идти... Мне еще нужно сделать массу всякой всячины...

— Хорошо, тогда мы с мистером Греем выйдем вместе...

— Я очень этого хочу...

Художник закусил губу и с чашкой в руке отошел к портрету.

— Я останусь с настоящим Дорианом Греем, — сказал он печально.

— Разве этот — настоящий Дориан Грей!? — вскричал оригинал портрета, подходя к нему. — Да неужели же я в самом деле таков?

— В самом деле таковы.

— Да ведь это же дивно, Бэзил!

— По крайней мере с виду вы таковы... Но он не изменится никогда, — прибавил Холлуорд, — он останется верен.

— Сколько хлопот из-за верности! — воскликнул лорд Генри. — Даже в любви — это просто вопрос темперамента и не имеет ничего общего с нашей волей. Молодые люди хотят быть верными, и не могут, старики хотят быть неверными — и не могут. Вот и все, что об этом известно.

— Не ходите сегодня в театр, Дориан, — сказал Бэзил. — Оставайтесь со мной обедать.

— Не могу, Бэзил.

— Почему?

— Потому, что я обещал лорду Эштону пойти вместе с ним.

— Он не слишком рассердится, если вы нарушите обещание. Он так часто нарушает свои. Я вас прошу не идти.

Дориан Грей принялся смеяться, отрицательно качая головой.

— Умоляю вас!

Молодой человек в нерешимости взглянул на лорда Генри, с веселой улыбкой наблюдавшего их из-за чайного стола, и сказал:

— Я пойду, Бэзил.

— Прекрасно, — ответил Холлуорд и отошел поставить свою чашку на поднос, — и так как уже поздно, я советую вам не терять здесь больше времени. До свидания, Гарри. До свидания, Дориан. Приходите проведать меня. Завтра, если возможно.

— Непременно.

— Не забудете?

— Конечно, нет.

— А... Гарри?

- Я тоже, Бэзил.
- Помните, пожалуйста, о чем я вас просил сегодня утром, в саду...
- Я уже забыл.
- ...Что я полагаюсь на вас...
- Хотел бы я мочь сам на себя полагаться, — засмеялся лорд Генри. —

Идемте, мистер Грей, мой кабриолет меня ждет, я вас довезу до вашего дома. Прощайте, Бэзил. Я вам благодарен за чудесный сегодняшний день.

Едва за ними закрылась дверь, как художник упал на диван, и на лице его появилось выражение сильной боли.



ГЛАВА III

На следующий день в половине первого лорд Генри Эштон направлялся с Керзон-Стрит на Олбани¹, к своему дяде, лорду Фермору, старому холостяку-бонвивану, несколько крутому нравом и получившему название эгоиста от тех, кому не удалось что-нибудь из него извлечь, но у «общества», которое он вкусно кормит за то, что оно его хорошо развлекает, пользующемуся репутацией весьма радушного человека. Его отец был английским посланником в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молодой, а Прима² никто и не знал. Но он бросил политику из-за каприза, в момент неудовольствия

¹ *Олбани* — жилой комплекс в Пикадилли, Лондон. Трехэтажный особняк был построен в 1770-х годах и разделен на 69 холостяцких квартир в 1802 году. Среди жителей были поэт лорд Байрон и будущий премьер-министр Уильям Юарт Гладстон, а также многочисленные представители аристократии.

² *Жоан Прим* (1814–1870) — испанский генерал, сторонник объединения Испании и Португалии.

на то, что ему не предлагают места посланника в Париже, на каковой пост он считал себя исключительно предназначенным, как по своему рождению, так и по беспечности, прекрасному английскому языку депеш и по своей незаурядной страсти к наслаждениям. Сын, который был секретарем своего отца, подал в отставку одновременно с отцом — несколько легкомысленно, как подумали об этом тогда. Сделавшись несколько месяцев спустя главою дома, он с особым рвением принялся изучать аристократическую науку ничегонеделания. У него было два дома в городе, но он предпочитал жить в гостинице, чтобы избавить себя от летнего беспокойства, и обедал в клубе. Он занимался добыванием угля в одном из средних графств, но он оправдывался в этом обстоятельстве тем, что обладание угольными копиями дает возможность истинному джентльмену жечь в собственном камине дрова. В политике он был тори, кроме тех случаев, когда тори были у власти. В таких случаях он не переставал обзывать их «сбродом радикалов». Он был жертвой своего слуги, который его тиранил, и ужасом своих друзей, которых тиранил сам. Только одна Англия способна произвести подобный тип, и он всегда твердил, что эта страна «отправляется к собакам»... Его принципы были старомодны, но в пользу его предрассудков можно было бы сказать многое.

Когда лорд Генри явился к нему, он застал своего дядю одетым уже в толстый охотничий пиджак, покуривающим сигару и ворчащим над номером «Таймса».

— Ого, Гарри! — сказал старый джентльмен. — Что подняло вас так рано? Я полагал, что вы, денди, никогда не просыпаетесь раньше двух и не выходите раньше пяти.

— Это я из чисто родственного почтения, дядя Джордж, уверяю вас. Мне нужно у вас кое-чего попросить...

— Денег, конечно, — сказал дядя Джордж с гримасой. — Сядьте же и скажите мне, в чем дело. Молодые люди теперь предполагают, что в деньгах — все.

— Да, — пробормотал лорд Генри, застегивая накидку, — это так. А когда они делаются стары, они уже не предполагают этого, а знают наверное. Но мне денег не нужно. В них нуждаются только те, кто платит свои долги, дядя Джордж, я же никогда не плачу своих. Кредит — вот капитал молодого человека, и на него можно превосходно прожить. Да и, наконец, я всегда имею дело с поставщиками Дартмура, и меня они никогда не беспокоят. Я пришел к вам за сведением и, понятное дело, вовсе не за полезным сведением, а за сведением совершенно бесполезным.

— Ладно! Я могу сообщить вам решительно все, что может заключаться в английской Синей Книге¹, Гарри, хотя теперь весь этот народ пишет только глупости. Когда я был дипломатом, все шло как будто лучше. Но я слышал, что теперь их назначают только после того, как они выдержат экзамен. К чему это? Экзамены — одно шарлатанство от начала до конца. Если

¹ Сборник дипломатических документов, издаваемых правительством.

человек — настоящий джентльмен, он знает все, что нужно; если он не джентльмен — все, чему бы он ни научился, будет ему только во вред.

— Мистер Дориан Грей не занесен в Синюю Книгу, дядя Джордж, — лениво сказал лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? Это кто такой? — спросил лорд Фермор, нахмурив свои седые, косматые брови.

— Вот за этим-то я и пришел к вам, дядя Джордж. То есть я-то знаю, кто он. Он — последний внук лорда Келсо. Его мать была Девере, леди Маргарет Девере. Я хотел бы, чтобы вы мне сообщили что-нибудь о его матери. Какова она была, за кого вышла замуж. В ваше время вы знали решительно всех. Вы могли знать и ее. Меня очень заинтересовал сейчас мистер Грей, я только что с ним познакомился.

— Внук Келсо! — повторил старый джентльмен, — внук Келсо!.. Разумеется, я близко знал его мать!.. Я присутствовал на ее крестинах. Необыкновенно красивой девушкой была Маргарет Девере! Она сводила с ума всех мужчин и убежала с мальчишкой без единого гроша в кармане, с каким-то прапорщиком в пехотном полку, или чем-то в этом роде. Конечно, я помню это так, как будто это было вчера. Бедняга был убит на дуэли несколько месяцев спустя после свадьбы. Об этом рассказывали какую-то гнусную историю. Утверждали, что лорд Келсо подбил какого-то низкого авантюриста, бельгийца, грубое животное, чтобы тот оскорбил его зятя публично. Он заплатил ему, сэр, он заплатил ему за это — и негодяй проткнул его шпагой, точно вертелом. Дело затушили, но это верно, что довольно долго после этого лорд Келсо ел свою котлетку в клубе один. Он взял свою дочь к себе обратно, но мне рассказывали, что она никогда не сказала с ним больше ни слова. Да! Это была гнусная история! Дочь умерла после этого меньше чем через год. Значит, она оставила сына? Я забыл об этом. В каком роде этот мальчик? Если он похож на мать, то он должен быть достаточно красив!

— Да, он чрезвычайно красив, — подтвердил лорд Генри.

— Надеюсь, что он попадет в хорошие руки, — продолжал старый джентльмен. — Его ждет кругленькая сумма, если Келсо поступил с ним как следует. И у его матери было свое состояние. Ей достались все земли Селби от ее дедушки — тот ненавидел Келсо и считал его Гарпагоном¹. И он действительно им был!.. Однажды он явился в Мадрид, в мои времена... Мне, право, было стыдно за него! Королева раз спросила у меня, кто этот английский вельможа, что постоянно ссорится с извозчиками из-за платы. Вышел целый скандал. Целый месяц я не смел показаться при дворе. Я надеюсь, что по отношению к своему внуку он был щедрее.

— Не знаю, — ответил лорд Генри, — предполагаю однако, что положение его хорошее. Он, впрочем, еще несовершеннолетний. Но Селби принадлежит ему, он мне это говорил. Да... мать его, поистине, была прекрасна!

¹ *Гарпагон* (т. е. жадный, скряга) — главное действующее лицо пьесы Мольера „Скупой“.

— Маргарет Девере была самым чудным созданием, какое я в жизни видел, Гарри. Я никогда не мог понять, как могла она поступить так, как поступила! Она могла выйти за кого бы ни вздумала. Карлингтон с ума сходил по ней. Она была романтична, наверное. Все женщины из этой семьи были романтичны. Мужчины были все ничтожествами, но женщины — просто изумительны!

— Карлингтон валялся у ее ног, он мне сам в этом признался. Она смеялась ему в лицо, тогда как во всем Лондоне не было девушки, которая не бегала бы за ним. Кстати, Гарри, раз уж мы заговорили о нелепых браках, что это за штуку рассказывал мне ваш отец про Дартмура, который хочет жениться на американке? Значит, он не может найти для себя достаточно хорошей англичанки?

— Сейчас это очень модно — жениться на американках, дядя Джордж.

— Я постою за англичанок перед целым светом, Гарри, — сказал лорд Фермор, стукнув по столу кулаком.

— Пари теперь держат только за американок.

— Они совершенно не выносливы, — проворчал дядя.

— Да, долгая скачка их истощает, но они великолепны в стипль-чезе¹. Они хватают на лету. Не думаю, чтобы Дартмур преуспел...

— Кто она? — спросил старый джентльмен, — и много ли у нее денег?

Лорд Генри кивнул головой.

— Американки так же ловко прячут своих родителей, как англичанки — свое прошлое, — сказал он, подымаясь, чтобы уйти.

— Я предполагаю, что это торговцы свиньями.

— Для счастья Дартмура, надеюсь, что да, дядя. Я слышал, что продавать свиней — в Америке самая прибыльная вещь после политики.

— Хорошенькая она?

— Она так себя ведет, как будто она хорошенькая. Много американок поступают точно так же. В этом — тайна их привлекательности.

— Почему бы американкам не оставаться у себя? Нам ведь все поют о том, что там чистый рай для женщин.

— Это верно. Потому-то дочери Евы и спешат его покинуть, — сказал лорд Генри. — До свиданья, дядя Джордж, я опоздаю к завтраку, если засижусь у вас дольше. Очень вам признателен за сведения. Я всегда страшно люблю все знать о моих новых друзьях, но ничего не хочу знать о старых.

— Где вы завтракаете, Гарри?

— У тетушки Агаты. Я пригласил себя к ней вместе с мистером Греем. Это ее последний протез.

— Ну, скажите вашей тетушке Агате, Гарри, чтобы она не удручала меня больше своими благотворительными делами. Она меня замучила. Эта милая дама, кажется, считает, что я не способен делать ничего лучшего, чем подписывание чеков в пользу ее бедняков!

¹ *Стипль-чез* — первоначально скачка на короткую дистанцию по пересеченной местности до заранее условленного пункта, например, видной издалика колокольни.

— Очень хорошо, дядя Джордж, я передам ей это, но это останется безрезультатным. Филантропы теряют всякое чувство человечности, это их отличительное свойство.

Старый джентльмен пробормотал неясное одобрение его словам и позволил слуге. Лорд Генри прошел низкую аркаду Берлингтон Стрит¹ и направился к Берклей-скверу.

Да, такова была история родителей Дориана Грея. Рассказанная без прикрас, она однако совершенно потрясла лорда Генри, словно странный, хотя и современный роман. Чрезвычайно красивая женщина, всем пожертвовавшая во имя безумной любви. Несколько недель уединенного счастья, вдруг оборванного низким и вероломным злодейством. Месяцы немой агонии и ребенка, рожденный среди слез.

Мать, унесенная смертью, и ребенок, покинутый одиноким на попечение бессердечного старика. Да, это интересный фон картины. На нем молодой человек выступит таким интересным, каким он в действительности, пожалуй, и не был. Все действительно исключительное всегда имеет в себе нечто трагическое. Земля трудится и для того, чтобы взращивать самые скромные травы...

Как он был восхитителен вчера во время обеда со своими чудными глазами, со своими губами, трепещущими от смущения и удовольствия, сидя против него в клубе, когда свечи озарили розовым сиянием его прекрасное, дышащее радостью лицо! Говорить ему что-нибудь — все равно, что играть на редкой скрипке. Он откликается на все, все в нем ответно вибрирует. Такая возможность влиять имеет в себе нечто ужасающе увлекательное — ничто другое не может сравниться с этим. Переливать свою душу в эту прелестную форму, оставлять ее на некоторое время там и затем слышать свои же собственные мысли, повторенные как бы эхом, но со всей певучестью и страстью юности, передавать другому свой темперамент, словно тонкий флюид, — как передается своеобразный аромат. Это — настоящее наслаждение, быть может, самое совершенное из всех наслаждений нашего времени — такого ограниченного, такого пошлого, погрязшего в таких низменно плотских удовольствиях, в таких мелочных, обыденных стремлениях... Какой дивный образец человека — этот юноша, которого он, по странной ему случайности, встретил в мастерской Бэзила Холлуорда. Он может стать типом абсолютной красоты! Он — воплощение изящества, снежной отроческой чистоты и всего великолепия, сохраненного для нас в греческих мраморах. Нет ничего, чем он не мог бы быть. Из него можно было сделать и Титана, и игрушку. Какое несчастье, что подобная красота должна все-таки увянуть!

А как интересен Бэзил с психологической точки зрения! Новое искусство, новое восприятие жизни, внушенное одним простым присутствием существа, несколько не сознающего своей силы. Это искусство, словно молчаливый дух, прячущийся в чаще леса или мчащийся через равнину, что делается на мгновение

¹ *Берлингтон-стрит* — улица в центре Лондона. *Беркли-сквер* — парк в центре Лондона.

видимым, как не знающая страха Дриада, так как в стремящейся к нему душе оно порождает дивные видения, источник всех прекрасных вещей. Простая внешность становится символом, как будто она — только тень другой, более совершенной формы, которая через нее делается видимой и осязаемой.

Как все это странно! Он припомнил кое-что аналогичное в истории. Не Платон ли, этот художник мысли, первый проанализировал это? Разве не Буонарроти иссек из многоцветного мрамора ряд сонетов? Но для нашего времени это необычно.

Да, он попытается стать для Дориана Грея тем, чем, сам того не зная, юноша сделался для художника, написавшего этот великолепный портрет. Он попробует получить над ним власть, он даже, пожалуй, достиг уже этого. Он сделает своим это дивное создание. В этом сыне Любви и Смерти есть что-то безмерно обаятельное.

Вдруг он остановился и посмотрел на фасады домов. Оказалось, что он давно миновал дом своей тетушки. Улыбаясь про себя, он повернул назад. Войдя в темноватую прихожую, он услышал от дворецкого, что уже сели за стол. Он отдал палку и шляпу лакею и пошел в столовую.

— По обыкновению опоздали, Гарри, — вскричала его тетушка, кивнув головой.

Он придумал какое-то извинение и, усевшись возле нее на пустом стуле, окинул взглядом обедающих. С противоположного конца стола ему робко поклонился Дориан с краской удовольствия на щеках. Напротив него сидела герцогиня Харли, женщина удивительной естественности и прекрасного характера, любимая всеми, кто ее знает, и обладающая той обширностью архитектурных размеров, которая современными историками именуется ожирением, когда речь идет не о герцогине. Направо от нее был сэр Томас Берден, радикальный член парламента, который искал своих путей в политической жизни, а в частной — заботившийся более всего о хорошей кухне, обедавший с тори и споривший с либералами, что и соответствует очень мудрому и очень распространенному правилу. Левое место было занято мистером Эрскином из Тредли, истым вельможей, чрезвычайно привлекательным и культурным человеком, усвоившим себе, однако, досадную привычку молчать, объяснив это леди Агате тем, что он сказал уже все, что имел сказать уже тридцать лет тому назад.

Соседкой лорда Генри была миссис Ванделер, старая подруга его тетки, святая женщина, но до того скверно одетая, что заставляла думать о плохо переплетенном молитвеннике. К счастью для него, с другой стороны около нее сидел лорд Фодель, неглупая посредственность сомнительного возраста, с черепом голым, как министерский отчет в Палате Общин. Она с ним и вступила в беседу с той усиленной серьезностью, которая, как он заметил, составляет ошибку всех превосходных людей, из которых ни один ее не умеет избежать.

— Мы говорим об этом бедном Дартмуре, лорд Генри, — закричала герцогиня, делая ему веселые знаки через стол. — Думаете ли вы, что он в самом деле женится на этой увлекательной особе?

— Я полагаю, что она очень склонна предложить ему это, герцогиня.

— Это ужасно! — воскликнула леди Агата, — но кто-нибудь вмешается в это.

— Я знаю из верных источников, что ее отец держит модный магазин в Америке, — презрительно сказал сэр Томас Берден.

— А мой дядя считал его торговцем свиньями, сэр Томас.

— Модный магазин?.. Что же это такое — американские моды? — спросила герцогиня, сделав удивленный жест своей толстой рукой.

— Американские романы, — сказал лорд Генри, беря кусочек перепелки. Герцогиня пришла в смущение.

— Милая моя, не обращайтесь на него внимания, — шепнула ей леди Агата, — он сам не знает, что говорит.

— Когда Америка была открыта... — сказал радикал, и началась скучнейшая диссертация. Как все те, кто хочет истощить сюжет, он только истощил внимание слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своим правом прервать его.

— Лучше было бы, если бы ее никогда не открывали, — воскликнула она. — Поистине нашим дочерям не везет от этого. Это несправедливо!

— Да, может быть, в конце концов, она вовсе и не открыта, — сказал мистер Эрскин. — Со своей стороны я могу только сказать, что о ней едва знают.

— О, мы, однако, видим образчики ее населения, — сказала герцогиня с неопределенным выражением, — я должна сознаться, что большинство из них очень красиво. И их туалеты тоже. Все они одеваются в Париже. Хотела бы я иметь возможность сделать, как они.

— Говорят, когда добрый американец умирает — он отправляется... в Париж, — прошептал сэр Томас, который имел обширный запас слов, не входящих в обычное употребление.

— Серьезно? А куда же отправляются дурные американцы? — спросила герцогиня.

— В Америку, разумеется, — сказал лорд Генри.

Сэр Томас нахмурился.

— Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой страны, — сказал он леди Агате. — Я ее всю объехал в поездах, предоставленных правительством, которое в подобных случаях чрезвычайно обходительно, и могу вас уверить, что оно очень поучительно, подобное путешествие...

— Так для нашего поучения нам необходимо посетить Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин. — Я мало ожидаю от этого путешествия.

— Мистер Эрскин мало интересуется светом. Вот мы, практические люди, так любим посмотреть на вещи нашими собственными глазами, вместо того, чтобы читать, что о них пишут. Американцы — чрезвычайно любопытный народ. Они очень рассудительны. Я думаю, что это их главное свойство. Да, мистер Эрскин: замечательно рассудительный народ. Уверю вас, что они не занимаются пустяками!

— Это ужасно! — воскликнул лорд Генри. — Я могу еще допустить грубую силу, но не грубый рассудок. В его власти есть что-то несправедливое. Он сбивает с толку и запутывает умы.

— Я не понимаю вас, — сказал сэр Томас, побагровев.

— Зато я понимаю, — пробормотал мистер Эрскин с улыбкой.

— Да здравствуют парадоксы!.. — заметил баронет.

— Но парадоксы ли это? — спросил мистер Эрскин. — Не думаю. Наконец — возможно, но парадокс идет по тому же пути, что и истина. Чтобы испытать действительность, надо ее видеть на туго натянутой веревке. Когда истины становятся акробатами, мы можем начать судить о них.

— Бог мой! — сказала леди Агата. — Как, вы, мужчины, разговариваете! Я убеждена, что не смогла бы вас никогда понять. Гарри! Я совсем на вас сердита. Почему вы пробуете убедить нашего милого мистера Грея — оставить Ист-Энд¹. Уверяю вас, что его там очень оценят. Его талант наверное всем понравится.

— Я хочу, чтобы он играл только для меня одного, — вскричал, улыбаясь, лорд Генри и, посмотрев на противоположный конец стола, встретил ответный взгляд сверкающих глаз.

— Но они такие несчастные там, в Уайтчепеле, — продолжала леди Агата.

— Я могу сочувствовать всему, чему угодно, только не страданию, — сказал лорд Генри, пожимая плечами, — этому я не могу сочувствовать. Это слишком безобразно, слишком ужасно, слишком унижительно. В современной жалости есть что-то возмутительно болезненное. Может взволновать цвет, красота, радость жить. Но чем меньше говорить про общественные язвы, тем лучше.

— Однако, Ист-Энд затрагивает важную проблему, — важно сказал сэр Томас, кивнув головою.

— Очень важную, — ответил молодой лорд. — Это проблема о рабстве, а мы пробуем разрешить ее, забавляя рабов музыкой.

Политик с тревогой посмотрел на него.

— Какую же перемену можете вы предложить? — спросил он.

Лорд Генри засмеялся.

— Я ничего не хотел бы переменить в Англии, кроме ее температуры, — заявил он. — Философское созерцание вполне удовлетворяет меня. Но так как девятнадцатый век идет к банкротству, издержавшись на преувеличенное сочувствие, — я предложил бы обратиться к науке затем, чтобы она возвратила нас на надлежащий путь. Заслуга волнений — вводить нас в заблуждение, заслуга науки — не волновать нас.

— Но на нас лежат такие ответственности! — робко попробовала вставить миссис Ванделер.

— Ужасно тяжелые! — подтвердила леди Агата.

Лорд Генри взглянул на мистера Эрскина.

¹ *Ист-Энд* — восточная часть Лондона, район расселения бедноты и антипод фешенебельного Вест-Энда.

— Человечество принимает себя слишком всерьез. Это первородный грех мира. Если бы люди пещерного периода умели смеяться, история имела бы другой вид.

— Это весьма утешительно, — пробормотала герцогиня. — Я всегда чувствовала себя немножко виноватой, являясь к вашей милой тетушке, так как не чувствовала никакого влечения к Ист-Энду. Теперь я смогу смотреть на нее не краснея.

— Краснеть — хорошая вещь, герцогиня, — заметил лорд Генри.

— Только когда человек молод, — ответила она. — Когда же краснеет старуха, вроде меня, — это очень плохой признак. Ах, лорд Генри, я бы очень желала, чтобы вы научили меня помолодеть!

Он немного подумал.

— Можете ли вы припомнить какой-нибудь очень большой грех, сделанный вами в ранние годы? — спросил он, глядя через стол.

— Боюсь, что даже много могу! — воскликнула она.

— Превосходно! Так повторите их, — сказал он серьезно. — Чтобы сделаться снова молодым, нужно только повторить молодые безумства.

— Это восхитительная теория. Надо будет попробовать ее на практике.

— Опасная теория! — произнес сэр Томас, поджимая губы. Леди Агата кивнула головой, но не могла удержаться от улыбки. Мистер Эрскин прислушивался.

— Да! — продолжал лорд Генри, — это одна из тайн жизни. Много людей со здравым смыслом умирают, замечая, что жаль им, расставаясь с миром, только одного: их собственных ошибок.

Вокруг стола раздался смех.

Он играл мыслью, разворачивал, преображал ее, давал ей вырваться, чтобы снова поймать ее на лету. Он орошал ее воображением, окрылял парадоксами. Славословие безумию поднялось до философии, философии помолодевшей, переложенной на бешеную музыку наслаждения, окутанной фантазией, в одежде, испятнанной вином и украшенной хмелем, танцующей, как вакханка, над низинами жизни и издевающейся над тяжеловесной скромностью Силена. Факты бежали перед ней, словно испуганные нимфы. Ее белые ноги попирали огромную давильную, где сидит мудрый Омар¹; кипучая пурпурная волна захлестывает ее нагие члены, разливаясь, словно пенистая лава по черным бокам чана. Это была необычайная импровизация. Он чувствовал, что на него устремлены глаза Дориана Грея, и сознание, что среди слушателей есть существо, которое он хочет очаровать, обострило его ум и придало еще более блеска его воображению. Он был блестящ, фантастичен, вдохновенен. Он восхитил своих слушателей до крайней степени. Вне себя они слушали эту волшебную флейту. Дориан Грей не сводил с него взора, словно в чарах, улыбка то и дело появлялась на его губах, а удивление в его омрачившихся глазах становилось все серьезнее.

¹ *Мудрый Омар* — Омар Хайям.

Наконец, современная действительность вошла в ливрее в столовую в виде слуги, доложившего герцогине, что карета ее готова. Она заломила руки в комическом отчаянии.

— Как это скучно! — вскричала она. — Надо отправляться, я должна захватить в клуб за мужем, чтобы взять его на глупейший митинг, на котором он должен председательствовать. Я и то опоздала, он будет в ярости, а в этой шляпе я не могу вынести сцены — она слишком хрупка. Малейший крик обратит ее в клочья. Да, надо отправляться, милая Агата. До свиданья, лорд Генри, вы были совсем восхитительны и очень безнравственны. Я знаю, что думать о ваших идеях. Надо, чтобы вы приехали ко мне обедать. Во вторник, например. Свободны вы во вторник?

— Для вас я пренебрегу целым светом, герцогиня, — сказал лорд Генри с поклоном.

— Ах, это очень мило, но очень дурно с вашей стороны... Так я вас жду! — И она величественно вышла, провожаемая леди Агатой и другими дамами.

Когда лорд Генри снова уселся, мистер Эрскин обошел вокруг стола, сел возле него и притронулся к его руке.

— Вы говорите, как книга, — сказал он. — Почему вы не пишете?

— Я слишком люблю читать книги, чтобы самому писать их, мистер Эрскин. Мне нравилось бы написать роман, пожалуй, но роман, который был бы так же причудлив, как персидский ковер, и так же ирреален. Но, к несчастью, в Англии есть публика только для журналов, Библии и энциклопедического словаря. Меньше, чем какая-либо нация в мире, англичане обладают чувством литературной красоты.

— Боюсь, что вы правы, — сказал мистер Эрскин. — Я сам когда-то мечтал о писательстве, но давно уже оставил это. Теперь, мой милый молодой друг, если позволите мне так назвать вас, я желал бы спросить у вас — действительно ли вы думаете все то, что говорили за завтраком?

— Я совершенно забыл, что говорил, — ответил лорд Генри, улыбнувшись. — Вам показалось это дурным?

— Конечно, дурным. Вы мне кажетесь очень опасным, и, если с нашей доброй герцогиней что-нибудь случится дурное, мы все будем считать, что главный виновник этому — вы. Да, мне нравилось бы говорить с вами о жизни. Поколение, к которому я принадлежу, очень скучное. Когда вам надоест лондонская жизнь, приезжайте в Тредли, вы мне разовьете вашу философию наслаждения, попивая удивительное бургундское, которым я имею счастье обладать.

— Я чрезвычайно польщен и ваше приглашение считаю для себя величайшей честью. В Тредли — чудесный хозяин и великолепная библиотека.

— Вы дополните картину, — сказал старик, любезно раскланиваясь. — Теперь же я должен распрощаться с вашей любезнейшей тетюшкой. Мне пора в Атенеум. Наступает время, когда мы там начинаем дремать.

— Все, мистер Эрскин?

— Да. Нас там сорок и столько же кресел. Таким образом, мы представляем собою тоже нечто вроде литературной английской академии.

Лорд Генри, рассмеявшись, поднялся со стула.

— Я иду в парк, — проговорил он.

Когда он выходил, Дориан Грей дотронулся до его руки.

— Позвольте мне проводить вас, — попросил он.

— Как! Ведь вы, кажется, обещали Бэзилу Холлуорду зайти навестить его, — возразил лорд Генри.

— Нет, я лучше отправлюсь с вами; да, я даже чувствую, что должен пойти с вами. Пожалуйста, позвольте мне. И пообещайте также все время разговаривать со мною. Никто не умеет говорить так чудесно, как вы.

— Ах, сегодня я уже слишком наговорился, — сказал, улыбаясь, лорд Генри. — Теперь мне хотелось бы понаблюдать. Можете идти со мной, и будем наблюдать вместе, если только это доставит вам удовольствие.



ГЛАВА IV

Однажды вечером, месяц спустя, Дориан Грей сидел в роскошном кресле, в маленькой библиотеке лорда Генри в Мэйфэре.

Это был своеобразный восхитительный уголок с высокими панелями из оливкового дуба, с желтоватым фризом и богатым лепным потолком. По ковру кирпичного цвета были разложены персидские коврики с длинной бахромой. На крохотном изящном атласном столике стояла статуэтка работы Клодиона¹, рядом с которой находился экземпляр «Ста Новелл», переплетенный Кловисом Эв для Маргариты Валуа² и украшенный золотыми

¹ Клод Мишэль, прозванный Клодион — французский скульптор, известный более всего статуэтками из терракоты.

² Сто новелл — сборник рассказов, созданный по заказу герцога Бургундского Филиппа ле Бон. Кловис Эв — переплетчик времен французского Возрождения. Маргарита де Валуа — знаменитая „Королева Марго“.

маргаритками, сообразно вкусу и как эмблема этой королевы. На полке камина стояло несколько больших голубых китайских ваз с пышными тюльпанами. Через маленькие свинцовые стекла окон в комнату вливался абрикосовый свет лондонского летнего дня.

Лорда Генри еще не было. Он постоянно запаздывал из принципа, держась того взгляда, что точность есть кража времени. И поэтому молодой человек выглядел страшно раздосадованным, лениво перелистывая главу роскошно иллюстрированного издания «Манон Леско», найденного им на одной из полок библиотеки. Монотонное тиканье часов в стиле Людовика XIV удручало его, и несколько раз он порывался уйти.

Наконец, ему послышались снаружи шаги, и дверь отворилась.

— Как вы поздно, Гарри! — пробурчал он.

— Боюсь, что это не Гарри, мистер Грей, — отвечали ему язвительным тоном.

Он смущенно обернулся и встал.

— Прошу извинить меня. Я думал...

— Вы думали, это — муж, а оказалась только его жена. Надеюсь, вы не будете в претензии, если я представляюсь вам сама. Я знаю вас очень хорошо по вашим фотографиям. Мне кажется, что у мужа имеется их штук семнадцать.

— Только семнадцать, леди Генри?

— Ну, тогда восемнадцать; я также видела вас вчера вечером в опере.

Во время этого разговора она нервно смеялась и рассматривала его своими туманными глазами цвета незабудки. Это была женщина редко встречаемого типа, платья которой, казалось, были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Она была постоянно в кого-нибудь влюблена, но так как ее страсть еще никогда не была разделяема, она сохранила все свои мечты. Она старалась выглядеть живописной, но оставалась лишь беспорядочной. Звали ее Викторией; ее закоренелой манерой было ходить в церковь.

— Это было чуть ли не на «Лоэнгрине», леди Генри.

— Да, это было на моем милом «Лоэнгрине». Музыку Вагнера я обожаю больше, чем всякую другую. Она такая громкая, что во время представления можно разговаривать, не боясь, что вас услышат. Разве это не преимущество, мистер Грей?!

Тот же самый нервный, отрывистый смех сорвался с ее тонких губок, а ее пальцы начали играть длинным черепаховым разрезальным ножом для бумаги.

Дориан засмеялся и покачал головой.

— Как жаль, что я другого мнения, леди Генри. Я никогда не разговариваю во время музыки, — само собою разумеется, музыки хорошей. Только, когда слышишь плохую музыку, о ней следует забыть в интересном разговоре.

— Ах, это один из взглядов Гарри; не правда ли, мистер Грей? Я их всегда узнаю лишь от его друзей. Только таким образом я имею возможность узнавать эти интересные мысли. Но вы не должны думать, что я не люблю хорошей музыки. Я ее обожаю, но также и боюсь; она навеивает на меня романтическое настроение. Я люблю до безумия пианистов — иногда даже сразу

двоих, как говорит Гарри. Не знаю сама, отчего это происходит. Может быть, оттого, что они иностранцы. Не правда ли, они ведь все иностранцы? Даже те, что рождаются в Англии, становятся в конце концов иностранцами; не правда ли, мистер Грей? Это умно с их стороны и звучит почтением их искусству. Оно ведь делает их космополитами? Вы еще не были ни на одном из моих вечеров, мистер Грей? Приходите же как-нибудь. У меня, правда, не бывает орхидей, но я не жалею средств на то, чтобы видеть у себя иностранцев. Они придают салону нечто живописное. — Но, вот и Гарри! — Гарри, я пришла, чтобы спросить вас о чем-то, но забыла о чем. Я здесь увидела мистера Грея. Мы славно поболтали о музыке, и, представь себе, у нас оказались совершенно одинаковые взгляды. Ах, нет, наши взгляды чрезвычайно расходятся. Но мистер Грей в высшей степени приятный собеседник. Я так рада, что познакомилась с ним.

— И я рад, дорогая, чрезвычайно рад, — сказал лорд Генри, подымая вверх свои черные, серповидно-изогнутые брови и смотря на обоих со своей веселой улыбкой. — К сожалению, Дориан, я опять запоздал, но дело в том, что я отправился в Уордур-Стрит¹ из-за куса старой парчи, и мне пришлось несколько часов торговаться из-за нее. Нынче люди знают цену каждой вещи, но никогда не знают ее действительной ценности.

— К сожалению, мне уже нужно уходить, — воскликнула леди Генри после наступившего неловкого молчания, внезапно и некстати смеясь. — Я обещала выехать с герцогиней. До свидания, мистер Грей! До свидания, Гарри! Вы, вероятно, обедаете не дома! Я так же. Быть может, мы встретимся еще у леди Торнбэри?

— Весьма возможно, дорогая, — сказал лорд Генри, закрывая за ней дверь, после того, как она исчезла из комнаты с видом райской птицы, проводшей всю ночь под дождем, и оставив после себя легкий запах пачули². Затем лорд Гарри зажег папиросу и бросился на диван.

— Никогда не женитесь на женщине с соломенного цвета волосами, Дориан, — сказал он несколько раз затянувшись.

— Почему, Гарри?

— Они слишком сентиментальны.

— Но я люблю сентиментальных людей.

— Не женитесь никогда, Дориан. Мужчины вступают в брак от усталости, женщины — из любопытства; но те и другие скоро разочаровываются.

— Не думаю, чтобы я женился когда-нибудь. Для этого я слишком влюблен. Это один из ваших афоризмов. Я провожу его в жизнь как все, что вы говорите.

¹ *Уордур-стрит* — в конце XIX века Уордур-стрит была известна антикварными магазинами и торговцами художественными товарами.

² *Пачули* — тропический кустарник листья которого имеют сильный притягательный аромат.

— В кого же вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания.

— В одну актрису, — ответил Дориан Грей, краснея.

Лорд Генри пожал плечами.

— Слишком уж заурядный дебют, — проговорил он.

— Вы бы не сказали этого, если бы увидели ее, Гарри.

— Кто же она?

— Ее зовут — Сибил Вэйн.

— Никогда не слыхал о такой.

— Да, она еще совсем неизвестна. Но о ней когда-нибудь все услышат, — настоящий гений.

— Мой милый юноша, женщины вообще не бывают гениальны; это — пол декоративный. Они никогда не скажут своего слова, но все, что они говорят, выходит очаровательно. Женщина — олицетворение торжества материи над духом, точно так же, как мужчина — торжества духа над моралью.

— Гарри, как вы можете так говорить?

— Мои милый Дориан, это совершенная правда; я должен хорошо знать женщин, так как изучал их. И, представь себе, изучение это оказалось не таким уж сложным делом, как я предполагал сначала. В конце концов, есть лишь два рода женщин: натурального вида и подкрашенные. Первые для нас чрезвычайно полезны. Если ты хочешь прослыть порядочным, стоит только поужинать с одной из них. Женщины второй категории очаровательны, но они совершают одну ошибку: они красятся, чтобы выглядеть моложе. Наши бабушки тоже подкрашивали себя, но больше старались блеснуть разговором. «Румяна и Остроумие» шли у них об руку. Все это — уже минуло. Как только современной женщине кажется, что она на десять лет моложе своей дочери, она вполне удовлетворена. Что же касается разговора, то в Лондоне вы не встретите более пяти женщин, с которыми стоит поговорить, причем две из них не могут появиться в порядочном обществе. Однако, расскажите мне про вашего гения. Давно ли вы познакомились с нею?

— Ах, Гарри, ваши взгляды приводят меня в ужас.

— Пустяки... Давно ли вы ее знаете?

— Около трех недель.

— Где вы с нею встретились?

— Я расскажу вам об этом сейчас, Гарри, но только вы должны отнестись к этому не так пренебрежительно. Ведь этого и не случилось бы, если бы я не встретил вас. Вы вдохнули в мою душу необузданное желание испытать все в жизни. После нашей встречи, казалось, что-то новое билось в моих жилах. Скитался ли я по парку или бродил по Пикадилли, я вглядывался в каждого, кого встречал, с безумным любопытством стараясь представить себе, какую жизнь он ведет. Некоторые меня притягивали, другие наполняли ужасом. В воздухе был словно разлит какой-то упоительный яд. Меня обуяла жажда ощущений. Однажды вечером, часов в семь, я отправился на поиски какого-

нибудь приключения. Я чувствовал, что наш серый, чудовищный Лондон со своими мириадами людей, с своими великолепными грешниками и гнусными пороками, как вы однажды выразились, имеет что-нибудь в запасе и для меня. В моей фантазии рисовались тысячи вещей. Уже самая возможность опасности давала мне чувство наслаждения. Я припомнил тогда ваши слова в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе, что искание красоты есть действительная тайна жизни. Не знаю, чего я ожидал, но только я вышел и направился в восточную часть Лондона и скоро затерялся в лабиринте грязных улиц и черных, без травы, скверов. Около половины восьмого я проходил мимо маленького жалкого театрала с большими яркими газовыми фонарями и кричащими афишами. Безобразный еврей в самом изумительном жилете, какой я когда-либо видывал, стоял у входа, куря возмутительную сигару. У него были лоснящиеся от жира кудри, а огромный бриллиант сверкал на груди его грязной сорочки. «Вам угодно ложу, милорд?» — обратился он ко мне с подобострастным видом, приподымая свою шляпу. В нем было что-то такое, Гарри, что меня позабавило: это было совершенное чудовище! Вы, я знаю, будете надо мною смеяться, но я действительно вошел, заплативши целую гинею за ложу около самой сцены. Даже и сегодня я не мог бы объяснить, почему я это сделал, и, однако, если бы я этого не сделал, мой милый Гарри, я пропустил бы важнейший роман своей жизни. Вижу, вы уже смеетесь. Это с вашей стороны возмутительно.

— Я не смеюсь, Дориан; по крайней мере, я не смеюсь над вами. Но вы не должны говорить — «важнейший роман моей жизни». Скажите лучше «первый роман в моей жизни»: вы будете всегда любимы и будете любить любовь. Единая «*grande passion*»¹ — удел тех людей, которым ничего не делать другого. Это единственная жизненная цель лишь для непроизводительных классов страны. Не беспокойтесь, у будущего есть еще для вас много чудесных вещей. Это же — только начало.

— Неужели вы считаете меня такой глупой натурой? — гневно вскричал Дориан Грей.

— Нет. Напротив, я считаю вас разносторонне одаренным.

— Что вы хотите этим сказать?

— Мой дорогой мальчик! Люди, любящие только раз в жизни, действительно поверхностные люди. То же, что они зовут верностью и честностью, я назову лишь летаргией привычки или скудостью воображения. Верность для жизни чувства — то же самое, что покой — для жизни интеллекта — признак бессилия. Верность! Я должен как-нибудь разобраться в ней. Здесь просто скрывается известный фанатизм собственности. Есть много понятий, которые нам следует выбросить за борт, если бы мы не опасались, что они всплывут вновь под другим названием. Однако, я бы не хотел вас прерывать. Продолжайте свое повествование.

¹ *Grande passion* (фр.) — великая страсть.

— Итак, я очутился в отвратительной маленькой ложе, с вульгарным занавесом перед глазами. Я принялся рассматривать залу. Это была настоящая мишура, везде купидоны и рога изобилия, точно свадебный пирог у бедняков. Галерея и партер были заполнены, но оба первые ряда грязноватых лож целиком пустовали; не было также видно ни души и на так называемых «первых местах»¹. Женщины продавали апельсины и имбирное пиво; слышно было ожесточенное щелканье орехов.

— Это напоминало, вероятно, славные первые дни британской драмы.

— Полагаю, что да. Я был угнетен и не знал, что делать, когда взгляд мой упал на афишу. И что бы вы подумали, в тот вечер шло, Гарри?

— Ну, вероятно, «Мальчик идиот» или «Нем, хотя и невинен»: ведь наши отцы любили такие вещи. Чем дольше я живу, Дориан, тем больше убеждаюсь, что все то, что было хорошо для наших отцов, для нас представляет мало интереса. В искусстве — то же, что и в политике: *Les grands-pères ont toujours tort*².

— Вещица была достаточно хороша и для нас, Гарри. Ставили — «Ромео и Джульетта»! Мне было в достаточной степени досадно, что я увижу Шекспира, разыгрываемого в такой жалкой дыре, однако, это отчасти меня и интриговало, и я решил посмотреть хоть первый акт. Оркестр был отвратителен; управлял им молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. Это бы меня окончательно доконало, если бы не поднялся занавес. Ромео играл плотный пожилой мужчина с подведенными бровями, хриплым, трагическим голосом и с фигурой пивного бочонка. Меркуцио был не лучше. Его играл какой-то комедиант, прибавлявший к пьесе отсебятину и стоявший с партером на дружеской ноге. Оба были так же уродливо смешны, как и декорации, производившие впечатление лесного шалаша. Но Джульетта! Представьте себе, Гарри, девушку лет семнадцати с нежным, точно цветок, личиком, маленькой греческой головкой с вьющимися прядями темно-каштановых волос, с огненной страстью в фиолетовой глубине очей и губами, словно лепестки розы. Передо мною стояло самое дивное существо, какое я когда-либо встречал. Вы сказали как-то, что пафос не производит на вас ни малейшего впечатления, что только красота, чистая красота могла бы вызвать на ваши глаза слезы. Я признаюсь вам, Гарри, что от слез, заволакивавших туманом мне глаза, я едва разглядел девушку. А ее голос, — я никогда не слыхал такого голоса! Сначала он звучал тихо, глубокими ласкающими нотами, из которых каждая, казалось, отдельно вливается в ухо, затем он стал несколько громче и зазвучал, словно флейта или далекий гобой. А в сцене в саду в нем зазвенела та дрожь восторга, что слышишь в вечерние сумерки в песне соловья. Были моменты, когда в нем появлялась вся дикая страсть скрипки. Вы знаете, как может волновать голос.

¹ „Первые места“ — бельэтаж (от *фр.* bel — «красивый», «прекрасный» и *étage* — «этаж», «ярус»).

² *Les grands-pères ont toujours tort* (*фр.*) — Деды никогда не бывают правы.

Ваш голос и голос Сибил Вэйн мне не забыть никогда. Стоит мне закрыть глаза, и я слышу их — эти голоса, и каждый из них говорит мне о чем-то различном. Не знаю, за которым я должен последовать. Как мне ее не любить? Гарри, я люблю ее! Она — все в моей жизни, я каждый вечер иду посмотреть ее игру. Сегодня она — Розалинда, завтра — Имогена¹. Я вижу ее умирающей во мраке итальянского склепа, выпивающей в поцелуе яд с уст своего возлюбленного. Я следую за ней по лесам Арденн, где она странствует в виде хорошенького мальчика в панталонах и куртке, с шапочкой на волосах. Безумная, приходит она к отягченному преступлением королю и дает ему руту и горькие травы. Она — невинна, и поэтому черные руки ревности терзают ее нежную шею. Я видел ее во всех временах и во всяких костюмах. Обыкновенные женщины не возбуждают нашей фантазии: они ограничены временем, в котором живут. Никакое чудо не преобразует их. Мы знаем их души так же хорошо, как и их шляпки. Их разгадываешь сразу, и нет в них тайны. Перед обедом они едут кататься в парке, днем болтают за чаем. У них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Их видишь до конца, как на ладони. Но актриса! Это — нечто совершенно другое! Гарри, почему вы ни разу не сказали мне, что если кто достоин любви, то только актриса?

— Только потому, что многих из них я любил, Дориан.

— О, да, те ужасные существа с крашеными волосами и размалеванными лицами!

— Не браните крашенные волосы и размалеванные лица: в них часто находишь совершенно особую прелесть, — возразил лорд Генри.

— Лучше бы я не рассказывал вам о Сибил Вэйн!

— Вы можете рассказывать мне все, Дориан. Всю вашу жизнь вы будете рассказывать, что бы с вами ни произошло.

— Да, Гарри, я думаю, что это так. Я не мог бы не рассказать вам все. Вы странно действуете на меня. Если бы даже я совершил преступление, я и тогда пришел бы рассказать об этом вам. Только вы поняли бы меня.

— Люди как вы — беззаботные солнечные лучи жизни — никогда не могут совершить преступления. Но все же я чрезвычайно благодарен вам за комплимент. Ну, а теперь... будьте так добры, передайте мне, пожалуйста, спички... благодарю!.. Теперь расскажите мне, как далеко зашли ваши отношения с Сибил Вэйн?

Дориан Грей вскочил с места с пылающими щеками и горящими глазами.

— Гарри, Сибил Вэйн для меня — святыня.

— Только священные вещи и достойны прикосновения, Дориан, — проговорил лорд Генри торжественно. — Но что же вы рассердились! Я думаю все же, что в один прекрасный день она будет принадлежать вам. Когда человек полюбит, он начинает всегда с того, что обманывается, и кончает тем, что

¹ *Розалинда* — героиня комедии В. Шекспира „Как вам это понравится“, *Имогена* — героиня трагедии В. Шекспира „Цимбелин“.

обманывает других. Это и называют романтизмом. Однако, полагаю, что вы с ней уже познакомились.

— Конечно, я знаком с нею. В тот же первый вечер, когда я попал в театр, отвратительный старый еврей отыскал меня в ложе после представления и пригласил пройти за кулисы, чтобы представить меня ей. Меня это взбесило, и я сказал ему, что Джульетта умерла уже несколько столетий тому назад и ее останки покоятся в одной из мраморных гробниц Вероны. Судя по его растерянному виду, можно было понять, что он спрашивает себя, не выпил ли я в тот вечер слишком много шампанского, или что-нибудь в этом роде.

— Это меня не удивляет.

— Потом он спросил меня, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже никогда не читаю их. По-видимому, это его страшно разочаровало, и он сообщил мне, что вся драматическая критика против него в заговоре, и что каждого из этих критиков можно купить.

— Мне кажется, что он не так неправ. Судя по внешности, они не так уж щепетильны в денежном отношении.

— Да, но, как видно, ему показалось, что они ему не по средствам, — засмеялся Дориан. — Между тем в театре гасили свет, и я должен был уходить. Он предлагал мне сигары, особенно их расхваливая, но я отказался. На следующий вечер я опять оказался в театре. Увидев меня, он отвесил низкий поклон и стал величать меня покровителем искусств. Мне он казался чрезвычайно противным, несмотря на свою необыкновенную страсть к Шекспиру. Однажды даже он рассказал мне с горделивой миной, что и своими пятью банкротствами он обязан этому «барду» (так он называл Шекспира). Он думал, что это величайшая честь для него.

— Конечно, это честь, мой милый Дориан, — большая честь. Большинство людей разоряется на прозаических вещах. Но разориться на поэзии — это честь. Однако, когда же вы познакомились с Сибил Вэйн?

— На третий вечер. Она играла Розалинду. Я не мог удержаться от искушения пойти за кулисы. Я бросил ей цветы, и она ответила мне взглядом; по крайней мере, мне так показалось. Старый еврей настаивал во чтобы то ни стало проводить меня за сцену, и, в конце концов, я согласился. И, не правда ли, мое нежелание тотчас же познакомиться с нею было странным?

— Нет, я этого не нахожу.

— Почему же нет, Гарри?

— Об этом я скажу позже. Сейчас же я хотел бы еще слушать про девушку.

— Про Сибил? О, она была так застенчива, так мила. Она еще кажется ребенком. Если бы вы видели ее большие изумленные глаза, когда я рассказывал ей, что заставляет меня переживать ее талант: как будто она совсем не подозревает о своем могуществе. Должно быть, мы оба были чрезвычайно смущены. Старый еврей стоял в дверях грязной уборной и скалил зубы, и что-то вычурно ораторствовал на наш счет, пока мы оба, как дети, смотрели друг на друга. Все время он старался называть меня «милордом», так что я принужден был

объяснить Сибил, что я не представляю из себя никакого милорда. Она же просто заметила: «Скорее всего, вы выглядите, как принц, и я буду звать вас Волшебным Принцем».

— О, Дориан, мисс Сибил знала, что вам сказать.

— Вы не понимаете ее, Гарри. Она смотрела на меня, как на действующее лицо из какой-нибудь пьесы. Она живет со своей матерью, увядшей, усталой женщиной, игравшей в первый вечер леди Капулетти в каком-то ярко-алом капоте, и она имеет вид женщины, знавшей лучшие дни.

— Мне знаком этот тип. Он действует на меня немного удручающе, — сказал вполголоса лорд Генри, рассматривая свои кольца.

— Еврей намеревался рассказать мне ее историю, но я сказал, что это меня не интересует.

— Вы были правы. В трагедиях других людей всегда есть что-то до бесконечности ничтожное.

— Меня интересует лишь Сибил. Что мне за дело до ее происхождения! Она вся божественна, начиная от своей маленькой головки и до своих маленьких ножек. Я вижу ее каждый вечер, и каждый раз она кажется мне все более и более достойной восхищения.

— Теперь мне понятно, что вы не хотите больше ужинать со мною. Я и начинал думать, что причиной этому — какой-нибудь чудесный роман. Так оно и оказалось, но я представлял себе это несколько иначе.

— Мой милый Гарри, ведь мы же каждый день или вместе ужинаем, или завтракаем, были несколько раз в опере, — сказал Дориан, сильно изумленный.

— Да, но вы приходите всегда слишком поздно.

— Разумеется, — воскликнул Дориан Грей. — Я не могу сделать иначе, раз я должен увидеть Сибил Вэйн хотя бы в течение одного акта. Я жажду ее общества, и, когда я думаю о той чудесной душе, которая живет в этом маленьком, точно из слоновой кости выточенном теле, меня охватывает священный восторг.

— Не можете ли вы сегодня отобедать со мною, Дориан?

— Сегодня она — Имогена, а завтра — Джульетта, — ответил он, покачивая отрицательно головой.

— Когда же она бывает просто Сибил Вэйн?

— Никогда.

— Поздравляю!

— Как вы злы! Она соединяет в себе всех великих героинь мира. Она — более чем индивидуальность. Вы смеетесь, но я говорю вам, она — гений. Я люблю ее и должен добиться ее любви. Вы, познавший все тайны жизни, скажите мне, каким чудом добьюсь я любви Сибил Вэйн. Я хочу сделаться соперником Ромео. Я хочу, чтобы все умершие от несчастной любви возлюбленные опечалились снова, услышав наш смех. Я жажду, чтобы дыхание моей страсти опять оживило их мертвые останки и отозвалось болью в их прахе. О, как я обожаю ее, Гарри!

Говоря это, он ходил по комнате взад и вперед; щеки его лихорадочно горели, он был страшно возбужден. Лорд Генри смотрел на него с чувством

живейшего интереса. Как он отличался от того робкого, застенчивого мальчика, которого он увидел в первый раз в мастерской Бэзила Холлуорда. Все его существо распустилось, как цветок, яркими, пламенными лепестками. Душа его покинула свое тайное убежище и пошла навстречу страсти.

— Что же вы думаете делать дальше? — спросил, наконец, лорд Генри.

— Я хочу, чтобы вы с Бэзилем отправились со мною как-нибудь вечером посмотреть ее игру. Я уверен, что и вы признаете ее гениальность. И тогда мы постараемся вырвать ее из рук еврея. У нее контракт на три года или, считая с настоящего дня, еще на два года восемь месяцев. Конечно, мне придется заплатить. Когда это удастся, я сниму один из театров Вэст-Энда¹ и покажу ее в настоящем освещении. И она сведет с ума весь свет, как свела меня.

— Это невозможно, мой милый!

— Однако, это будет так. Она владеет не только искусством, не только высшей художественностью выражения чувств, но и индивидуальностью, а вы мне так часто повторяли, что индивидуальность, а не принципы правят миром.

— Хорошо, когда же мы пойдем?

— Посмотрим... Сегодня вторник... Хотите, завтра!.. Завтра она играет Джульетту.

— Прекрасно! Тогда мы встретимся в «Бристоле»² в восемь часов вечера. Я приглашу с собою Бэзила.

— Нет, ради Бога, не в восемь, а в шесть с половиной! Нам необходимо попасть к началу представления. Мы должны посмотреть ее в первом акте, когда она встречается с Ромео.

— В шесть с половиной! Это уж слишком. В такое время в пору пить чай или читать какую-нибудь английскую новеллу. Нельзя ли хоть в семь? Раньше никто не обедает. Кстати, вы, быть может, увидите Бэзила? Или мне придется ему написать?

— Милый Бэзил! Я не был у него уже с неделю, и с моей стороны это — чистейшая неблагодарность, так как он прислал мне мой портрет в чудесной раме, выполненной по его рисунку. И хотя я немного завидую своему портрету, что он моложе меня на целый месяц, все же я от него в восторге. Нет, лучше если вы ему напишите. Мне бы не хотелось увидеться с ним с глазу на глаз. Он постоянно говорит какие-нибудь несносные вещи и дает мне добрые советы.

Лорд Генри улыбнулся.

— Люди всегда дают охотно такие советы, в которых они сами сильнее всего нуждаются. Это на моем языке называется «высшей степенью благородства».

¹ *Один из театров Вэст-Энда.* Вест-Энд — западная часть центра Лондона, к западу от стены Сити, в которой сосредоточена театральная и концертная жизнь. Антипод пролетарского района восточного Лондона — Ист-Энда.

² *„Бристоль“.* Здесь — роскошный отель в Лондоне; в эпоху короля Эдуарда по всему миру существовало множество отелей „Бристоль“: в Париже, Санкт-Петербурге, Риме, Неаполе, в городе Бристоль отель с таким названием появился только в 2007 г.

— О, Бэзил — превосходный человек! Только, мне кажется, немного склонный к филистерству. Я пришел к такому выводу, познакомившись с вами, Гарри!

— Мой милый мальчик! Все, что есть прекрасного в Базиле, он вкладывает в свое искусство. Естественно, что для жизни у него остаются лишь его рассудки, его принципы и его здравый смысл. Я знал художников с интересною индивидуальностью, но это были плохие художники. Настоящие художники живут только в своих произведениях и, как личности, они — совсем неинтересны. Великий поэт, т. е. поэт действительно великий — самое не поэтическое существо в мире; посредственные же поэты в высшей степени привлекательны. Чем слабее их рифмы, тем художественнее они сами. Достаточно человеку выпустить в свет томик посредственных сонетов, и он становится прямо неотразимым. Он живет своею поэзией, которую он не в состоянии выразить; другие, напротив, переносят поэзию на бумагу так, что им ничего не остается для жизни.

— Неужели это действительно так, Гарри? — спросил Дориан, выливая на свой платок несколько капель духов из большого, изящного флакона, стоявшего на столе. — Конечно, это должно быть так, как вы говорите это. А теперь я ухожу, Инногена ожидает меня. Не забудьте о завтрашнем вечере. До свидания!

Когда юноша вышел, веки лорда Генри опустились, и он погрузился в думы. Лишь немногие люди интересовали его в такой сильной степени, как Дориан Грей, и, однако, горячая страсть юноши к другому человеку не вызывала в нем ни малейшей досады или ревности. Это, напротив, доставляло ему большое удовольствие. Таким образом, Дориан становился для него еще более интересным объектом наблюдения. Он всегда чувствовал влечение к методам точных наук, но объект научного познания казался ему неинтересным и незначительным. Начавши, таким образом, с опытов над собою, он перешел, наконец, к опытам над другими. Человеческая жизнь казалась ему единственным предметом, достойным исследования. По сравнению с ней, ничто другое не заслуживало внимания. Однако, тому, кто наблюдает жизнь в ее волшебном горниле радостей и боли, нельзя надеть на лицо стеклянную маску, чтобы предохранить свой мозг от туманящих серных паров, свою фантазию — от чудовищных представлений и беспорядочных грез. Есть яды необычайно тонкие, и, чтобы узнать их особенности, нужно попробовать их самому. Есть болезни такие странные, что необходимо самому переболеть ими, чтобы узнать их сущность. И, однако, какая награда ожидает исследователя! Каким чудесным кажется тогда ему преображенный мир! Исследовать любопытную, неумолимую пытку страсти, проникать в движущуюся, красочную жизнь ума, наблюдать, где они встречаются и на каком пункте расходятся снова, — не наслаждение ли это! Что спрашивать, чего это стоит! За ощущения такого рода никакая цена не является высокою.

Он был уверен, — и от этой мысли загорелись его карие глаза, — что именно благодаря известным словам его, отдававшимся в душе Дориана

сладостной музыкой, он склонился в обожании перед этой прелестной девушкой. Этот юноша в значительной степени был его созданием. Он ускорила его развитие. И это уже что-нибудь значит! Обыкновенные люди ждут, пока жизнь сама откроет им свои тайны, и лишь немногие, избранные, узнают эти мистерии жизни раньше, чем завеса с них будет сорвана. Иногда так действует искусство, в особенности же литература, непосредственно соприкасающаяся со страстями и умом. Но временами роль искусства играет личность с богато одаренной психикой и создает самостоятельно настоящее произведение искусства, так как и жизнь имеет свои собственные художественные образцы, подобно поэзии, скульптуре или живописи.

Да, этот юноша действительно был преждевременно развившимся. Он собирал уже свою жатву, хотя для него была еще лишь весна. В нем кипела только страсть юности, но он уже начал познавать себя. Наблюдать его — истинное наслаждение. Своим восхитительным лицом и своею чудною душою он представляет нечто, достойное восторгов. Неважно, чем это кончится, чем должно окончиться! Он походит на одну из тех прекрасных фигур пышного театрального зрелища, чьи радости так мало трогают нас, но чьи страдания будят в нас чувство изящного и чьи раны действуют на нас, подобно красным розам.

Душа и тело, тело и душа — как они загадочны! Есть что-то животное в проявлениях души и, напротив, у тела бывают моменты одухотворенности. Чувства могут утончаться, ум может вырождаться. Кто скажет, где кончается физический импульс и где начинается психический! И как, в сущности, неглубоки произвольные теории присяжных психологов! И как трудно остановиться на взглядах одной из множества этих школ! Быть может, душа — лишь тень, заключенная в греховную оболочку! Или тело в действительности составляет единое целое с душою, как думал Джордано Бруно? Граница между духом и материей непостижима точно так же, как непостижимо их слияние!

И он задумался над тем, сможем ли мы возвести психологию на степень такой точной науки, чтобы она могла открывать нам самые незаметные пружины жизненного механизма. До сих пор мы никогда не доходим до понимания самих себя и очень плохо понимаем других. Опыт не имеет никакой этической ценности, это — лишь название, которое мы даем нашим заблуждениям. Моралисты обыкновенно видят в нем лишь средство для предупреждения, признают за ним известное моральное значение в образовании характера и восхваляют в нем нечто, способное оттолкнуть нас от зла и научить добру. Однако, в опыте нет никакой движущей силы, как нет ее и в совести. Единственное, что мы из него извлекаем, так это то, что наша будущность такова же, каково наше прошлое, и что грехи, которые мы в один прекрасный день начали совершать с омерзением, мы будем совершать постоянно, но уже с радостью.

Он остановился на мысли, что экспериментальный метод — единственное, что может нас привести к научному анализу природы страстей, и Дориан Грей является таким объектом для опыта, как будто он для этого

специально создан, и обещает богатые и плодотворные результаты. Его внезапная, безумная любовь к Сибил Вэйн представляет психологическое явление необычайного интереса. Конечно, здесь немалую роль играет любопытство, любопытство и жажда новых ощущений; и все же это не такая простая, а в высшей степени сложная страсть. То, что было в этой страсти только чувственностью юноши, превратилось при помощи соображения в нечто далекое от чувственности, и поэтому еще более опасное. Те страсти, в происхождении которых мы наиболее заблуждаемся, как раз сильнее всего и овладевают нами. Бывает и так, что, думая произвести опыт над другими, мы производим его над собою.

В то время, как лорд Генри размышлял над этими вещами, в комнату постучали и вошедший слуга напомнил ему, что пора одеваться к обеду. Он встал и выглянул на улицу. Заходящее солнце бросало свои ярко-красные лучи на верхние окна противоположного дома, и их стекла зажглись, как пластинки расплавленного металла; небо походило на увядающий цвет умирающей розы. Глядя на эту картину, он думал о горящей яркими огнями жизни своего юного друга; не менее занимал его также вопрос, чем все это кончится.

Когда он в половине первого возвратился домой, в глаза ему бросилась телеграмма на столе. Он распечатал ее и увидел, что она от Дориана Грея. Из нее он узнал, что Дориан помолвлен с Сибил Вэйн.



ГЛАВА V

— Ах, мама, мама, я так счастлива! — шептала молодая девушка, пряча свое лицо в коленях поблекшей, усталого вида женщины, которая спиной к яркому свету сидела в единственном кресле, украшающем ее жалкое жилище. — Я так счастлива! — повторила она. — И ты должна быть также счастлива!

Миссис Вэйн откинулась немного назад и положила свои тонкие, нежные руки на голову дочери.

— Счастлива! — повторила она, — я только тогда счастлива, Сибил, если вижу тебя на сцене. Ты не должна больше думать ни о чем, кроме своего искусства. Мистер Айзекс слишком добр к тебе, и мы у него в долгу.

Девушка подняла глаза вверх и надула губки.

— Деньги, мама? — вскричала она. — Причем же здесь деньги? Любовь выше денег.

— М-р Айзекс выдал нам вперед пятьдесят фунтов, чтобы мы могли заплатить свои долги и снарядить Джима. Ты не должна забывать этого, Сибил.

Пятьдесят фунтов — это немаленькая сумма. М-р Айзекс необычайно внимателен к нам.

— Он не джентльмен, и меня оскорбляет его манера разговаривать со мною, — сказала девушка, вставая и подходя к окну.

— Я и не знаю, право, как бы мы обошлись без него, — сказала жалобно старая женщина.

Сибил Вэйн покачала головою и рассмеялась.

— Ну, теперь мы в нем больше не нуждаемся. О нас позаботится Волшебный Принц. — Она смолкла, взволнованная, и румянец заиграл на ее щеках. Полуоткрытые губки трепетали от учащенного дыхания; казалось, ее обведали горячие потоки воздуха, приносившегося с жаркого юга, и колебали нежные складки ее платья.

— Я люблю его, — проговорила она просто.

— Глупенькая девочка! Глупенькая девочка! — прошептала старуха, подчеркивая свои укоризненные слова движением руки, пальцы которой были украшены фальшивыми камнями.

Молодая девушка снова засмеялась смехом, похожим на крик пойманной птички. В ее блестящих глазах заиграла мелодия; потом они закрылись, как будто хотели скрыть какую-то тайну. Когда они раскрылись снова, в них блесло отражение нежной грезы.

С нею говорила древняя мудрость, давая свои добрые советы из книги трусливой осторожности, автор которой оперирует со «здравым человеческим смыслом». Но Сибил не слушала. Она чувствовала себя счастливою в своей темнице любви. Ее принц, Волшебный Принц, был с нею. Напряжением всех своих душевных сил она воссоздала его образ. И он появился: его поцелуй загорелся на ее губах, веки почувствовали на себе его дыхание.

Тогда обыденная мудрость переменяла тактику и заговорила о шпионстве и выведывании. Быть может, молодой человек богат, — тогда можно подумать о свадьбе. Но раковинки ушей Сибил не воспринимали шума волн людской хитрости, отравленные стрелы отскакивали от них. Она видела лишь движение изящных губ и улыбалась.

Вдруг в ней возникла потребность говорить. Речи матери, принуждавшие ее к молчанию, тяготили ее.

— Мама, мама, — воскликнула она, — за что он так сильно любит меня? Почему я люблю — я знаю. Я люблю его за то, что он — сама олицетворенная любовь. Но что нашел он во мне? Я недостойна его. И все же — не знаю, почему — я чувствую себя спокойною с ним, и ничто меня не принижает. Напротив, я горда, я чрезвычайно горда этой любовью. Мама, так же ли любила ты моего отца, как я люблю своего Прекрасного Принца?

Щеки старухи покрылись бледностью под покрывавшим их грубым слоем румян, и ее тонкие губы искривились страданием. Сибил бросилась к ней, обвила руками ее шею и поцеловала ее.

— Прости меня, мама. Я знаю, тебе больно говорить о нашем отце, потому что ты так сильно любила его. Не печалься, однако. Я сегодня так счастлива, как и ты двадцать лет тому назад. Ах, позволь и мне быть сегодня счастливой!

— Дитя мое, ты еще слишком молода, чтобы любить. И к тому же, что знаешь ты об этом молодом человеке? Ты не знаешь его даже по имени. Вся эта история мне чрезвычайно не нравится, и теперь, когда Джим уезжает в Австралию и у меня такая масса хлопот, я могу от тебя требовать большего благоразумия. Впрочем, как я уже сказала, если он богат...

— Ах, мама, позволь же быть мне счастливой!

Миссис Вэйн взглянула на нее и театральным жестом, который становится так часто у актеров второю натурой, заключила ее в свои объятия. В это время отворилась дверь, и в комнату вошел юноша с всклокоченными каштановыми волосами. Он был плотного телосложения и со своими большими руками и ногами производил впечатление неуклюжести; в нем не было и следа утонченности сестры. Трудно было предположить в них такое тесное родство. Миссис Вэйн обратила на него свой взор, и улыбка ее стала еще явственнее. Мысленно она ставила своего сына в положение зрителя. И была уверена в том, что картина получается интересная.

— Вы могли бы, кажется, приберечь несколько поцелуев, Сибил, и для меня, — сказал юноша с добродушным ворчаньем.

— Ах! Но ты же ведь не любишь, чтобы тебя целовали, Джим, — воскликнула она. — Ты ужасный, старый медведь! — Она подбежала к нему и обняла его.

Джеймс Вэйн взглянул на сестру с нежностью.

— Мне хотелось бы немножко прогуляться с тобою, Сибил, так как мне кажется, что я никогда не возвращусь в этот ужасный Лондон; да едва ли мне и захочется.

— Сын мой, ты не должен говорить так, — пробормотала миссис Вэйн, принимаясь со вздохом за починку какого-то мишурного театрального костюма. Она была несколько раздосадована тем, что он не оправдал ее ожидания и не увеличил театральной картинности положения, присоединившись к ним.

— Почему же нет, мама? Я думаю, что это так и будет.

— Меня огорчает это, сын мой, я надеюсь, что ты воротишься из Австралии богатым. Мне кажется, в колониях нет совсем общества или, по крайней мере, того, что я называю обществом. Сделавши карьеру, ты вернешься и займешь соответствующее положение в Лондоне.

— «Общество», — пробормотал юноша. — Я не хочу его знать. Моя мечта — скопить денег, чтобы избавить тебя и Сибил от сцены. Я ненавижу театр.

— Ах, Джим! — засмеялась Сибил, — как это нелюбезно с твоей стороны! Но если ты, действительно, прогуляешься со мною, это будет мне приятно. Я думала, ты собираешься пойти проститься со своими друзьями: с Томом Харди, подарившим тебе такую ужасную трубку, или с этим Недом Лэнгтоном, который

издевается над тобою, когда ты ее куришь. Однако, очень мило с твоей стороны посвятить мне твой последний день. Куда же мы направимся? Идем в Парк¹.

— Мое платье слишком изношено, — ответил он, хмурясь. — Только люди, прилично одетые, ходят в Парк.

— Пустяки, Джим, — засмеялась она, дергая его за полы сюртука.

Он немного колебался и затем сказал:

— Хорошо, но постарайся одеться поскорее.

Она выбежала, танцуя, из комнаты, и слышно было, как, поднимаясь по лестнице, она напевала и пристукивала своими каблучками.

Джим прошелся по комнате раза три взад и вперед. Затем он подошел к сидевшей в кресле старухе.

— Мама, мои вещи уже готовы? — спросил он ее.

— Да, почти, — ответила та, не отрывая глаз от своей работы. Уже несколько месяцев она чувствовала себя стесненной, оставаясь наедине со своим простодушным сыном. Неискренняя и мелочная, она боялась посмотреть ему прямо в глаза. У нее не было уверенности, что он не подозревает чего-то. Своим молчанием — другим способом он не высказывался — он угнетал ее. Она принялась жаловаться: женщины часто защищаются тем, что они нападают.

— Надеюсь, тебе понравится жизнь моряков, — промолвила она. — Ты ведь сам это выбрал. Но, право же, ты мог бы поступить и в контору нотариуса. Это — почтенное сословие, и в провинции их приглашают обедать в самые лучшие дома.

— Я ненавижу конторы и клерков, — возразил он. — Но ты права. Я сам сделал свой выбор. Все, что я имею еще сказать, это: смотри за Сибил. Не допускай, чтобы с нею случилось какое-нибудь горе. Мама, ты должна следить за нею!

— Как странно ты говоришь, Джим! Конечно, я смотрю за Сибил.

— Я слышал, что какой-то господин каждый вечер ходит в театр, чтобы поговорить с нею за кулисами. Правда ли это? Что это значит?

— Ты говоришь о вещах, в которых ты ничего не понимаешь, Джим. В нашем положении обычная вещь — принимать знаки внимания. Одно время и я получала массу цветов. Это было тогда, когда игру умели уважать больше. Что же касается Сибил, сейчас я еще не знаю, насколько оно серьезно или несерьезно, ее увлечение. Но, без сомнения, молодой человек, о котором идет речь, — настоящий джентльмен. Со мною он всегда чрезвычайно вежлив. Кроме того, по внешнему виду он кажется богатым человеком, а цветы, которые он присылает, великолепны.

— И, однако, ты не знаешь даже его имени, — сказал юноша угрюмо.

¹ Парк — Гайд-парк, королевский парк в центре Лондона. Традиционное место политических митингов, празднеств и гуляний. В нем установлена статуя Ахилла, посвященная победе герцога Веллингтона над Наполеоном.

— Нет, — ответила мать кротко. — Он, действительно, не сказал нам своего имени. По-моему, это у него просто романтизм. Вероятно, он принадлежит к аристократии.

Джим закусил губу.

— Смотри за Сибил, мама, — снова воскликнул он, — смотри за ней!

— Сын мой, ты мучаешь меня. Сибил всегда находится под моим надзором. Кроме того, если этот господин богат, почему бы Сибил не выйти за него замуж. Он, по-видимому, из высшей аристократии; по крайней мере, он так выглядит. Это самая блестящая партия для Сибил. Они составят прелестную пару. Он производит чрезвычайно хорошее впечатление — это скажет всякий.

Юноша пробормотал что-то про себя и забарабанил своими грубыми пальцами по стеклу окна. Он повернулся, чтобы сказать еще что-то, когда вошла Сибил.

— Как вы оба серьезны! — вскричала она. — Что у вас тут такое?

— Ничего, — ответил он. — Не мешает же иногда быть и серьезными. До свидания, мама; мне нужно отобедать в пять часов. Уже все уложено, кроме моих сорочек, поэтому ты можешь больше не беспокоиться.

— До свидания, сын мой, — ответила она ему с театральным достоинством.

Она была в высшей степени оскорблена тем тоном, которым он с нею разговаривал, а его глаза смотрели так, что вселяли в нее страх.

— Поцелуй меня, мама, — сказала дочь. Ее розовые губки коснулись увядшей щеки старухи и отогрели ее.

— Дитя мое! Дитя мое! — воскликнула миссис Вэйн, обращая свои глаза к потолку, как будто там находилась воображаемая галерея со зрителями.

— Иди же, Сибил, — сказал нетерпеливо брат. Он ненавидел до боли эту аффектацию¹ своей матери.

Они вышли на сиявшую солнцем улицу и направились вдоль пустынной Юстон-роуд. Гуляющие с изумлением поглядывали на этого утрюмого, тяжеловесного юношу, идущего в обычном своем скверно сидящем костюме в обществе такой изящной хорошенькой девушки. Он похож был на обыкновенного садовника, гуляющего с розой.

Джим время от времени хмурил свой лоб, когда замечал любопытные взгляды прохожих. Он чрезвычайно не любил быть предметом любопытства. Сибил же, казалось, не замечала обращенных на нее любопытных взглядов и того впечатления, какое она производила. Любовь, как солнечный свет, дрожала на ее губах. Она думала о Волшебном Принце и, думая только о нем, болтала весело о корабле, на котором поедет Джим, о богатствах, которые тот, вероятно, найдет, о прекрасной, богатой наследнице, которую он спасет от рук свирепых краснокожих разбойников. Ведь не останется же он простым матросом, или даже морским офицером! О, нет! Жизнь моряка

¹ *Аффектация* — подчеркнуто преувеличенное выражение какого-либо чувства, настроения, характеризующееся неестественностью жестов.

полна опасностей. Стоит только представить себя закупоренным на безобразном корабле, куда стремятся ворваться дикие, разъяренные волны, тогда как мачты гнутся от грозного ветра, а паруса рвутся в длинные свисающие клочья! Джим должен будет покинуть корабль в Мельбурне, попрощаться с капитаном и быстро отправиться на золотые прииски. Не пройдет и недели, как он наткнется на огромный самородок золота, на самый большой кусок золота, какого еще никто не находил, и повезет его к побережью в тележке, охраняемой шестью вооруженными полицейскими. Разбойники нападут на них три раза, но каждый раз после жаркой стычки будут обращены в бегство. Или нет... он и не пойдет совсем на золотые прииски: ведь это такие ужасные места, где люди перепиваются и с грубыми ругательствами и проклятиями убивают друг друга. Он просто сделается мирным овцеводом и как-нибудь вечером, возвращаясь домой, встретит прекрасную девушку, увозимую разбойником на черном коне. Он погонится за ним, чтобы освободить ее. Естественно, что она в него влюбится и он в нее, они справят свадьбу и вернутся домой в Лондон. Да, будущее готовит для него много чудесных вещей! Но он будет добрым юношей, не будет увлекаться и тратить попусту деньги. Сибил была лишь на год старше его, но, несомненно, знала жизнь лучше, чем он. Он должен также почаще писать ей, а вечером перед сном будет всегда читать свою молитву. Бог добр и будет хранить его. Она также будет о нем молиться, и через несколько лет он вернется домой богатым и счастливым.

Юноша уныло слушал ее и ничего не говорил. Ему не хотелось покидать дом. Но не одно это повергало его в мрачное расположение духа. При всей своей неопытности, он все же отчетливо сознавал опасность, которая угрожала Сибил. Этот молодой денди, ухаживающий за ней, не питает по отношению к ней добрых намерений. Он — джентльмен, и уже за это Джим ненавидел его каким-то особенным, расовым, инстинктом, владевшим им еще сильнее оттого, что он не мог дать себе в нем отчета. Он понимал хорошо все легкомыслие и тщеславную натуру матери, и в этих именно качествах ее и заключалась величайшая опасность для Сибил и ее счастья. Дети обычно начинают с того, что любят своих родителей; становясь старше, они делают их судьями и редко прощают сделанные ими грехи.

Его мать! Он хотел бы задать ей несколько вопросов, над которыми он ломал голову вот уже много месяцев. Случайно брошенная фраза, слышанная им в театре, шепот, коснувшийся его ушей, когда он однажды вечером дожидаясь своих перед входом на сцену, вызвала в нем целый рой сплетающихся друг с другом мыслей. Ему вспоминалось все это с такою болью, точно его ударили плетью по лицу. Брови его хмурились, и с судорожною болью он кусал свою нижнюю губу.

— Вы не обращаете внимания ни на одно мое слово, Джим, — воскликнула Сибил, — а я строю для вас самые чудесные планы на будущее. Скажите же что-нибудь.

— Что я могу сказать вам?

— О! Что вы будете славным парнем и не забудете нас, — сказала она, улыбаясь ему.

Он пожал плечами.

— Вы забудете меня, пожалуй, скорее, Сибил, чем я вас.

Она покраснела.

— Что вы хотите сказать этим, Джим? — спросила она.

— Вы, я слышал, приобрели нового друга. Кто он? Почему вы не скажете мне о нем ничего? Он не хочет вам добра.

— Пойдите, Джим! — вскричала она. — Вы не должны говорить о нем дурно! Я люблю его!

— Но вы не знаете даже его имени, — ответил юноша. — Кто он? Я имею право спросить тебя об этом.

— Его зовут Волшебным Принцем. Разве тебе не нравится такое имя? Ах ты, глупый! Если бы ты как-нибудь увидел его, он показался бы тебе самым очаровательным человеком в мире. Но ты с ним познакомишься, возвратившись из Австралии. Конечно, он тебе понравится. Он нравится каждому — я же люблю его. Мне бы хотелось, чтобы ты сегодня отправился в театр. Он будет там; я играю как раз Джульетту. О! Как я буду играть! Представь только, Джим, быть влюбленной и играть Джульетту, — что ты скажешь на это? Играть для его наслаждения! Боюсь, что я приведу в трепет зрителей! Когда любишь, превосходишь самое себя. Скверный мистер Айзекс будет опять носиться с моею гениальностью. Это у него вроде догмы, и сегодня вечером он скажет, что я — откровение Бога. И все это благодаря ему, ему одному, Волшебному Принцу, моему дивному возлюбленному, моему Богу. Но я бедна в сравнении с ним. Бедна!? Но что же это значит? Когда бедность пробирается в комнату, любовь вылетает в окно. Наши пословицы нуждаются в исправлении. Они сочинены зимою, а теперь у нас лето. Для меня же это весна, танец на цветах под голубыми небесами.

— Он — джентльмен, — мрачно проговорил юноша.

— Принц! — воскликнула она восторженно. — Чего же тебе еще?

— Он хочет сделать тебя своей рабой.

— На что мне моя свобода?

— Остерегайся его.

— Увидеть его — значит благоговеть перед ним, узнать его — значит верить в него.

— Сибил, ты без ума от него.

Она засмеялась и взяла его под руку.

— Ах, милый, славный Джим! Ты говоришь так, как будто ты совсем бесчувственный. Но, подожди, и ты как-нибудь влюбишься. И ты узнаешь тогда, что это такое. Не будь таким злым. Смотри, в день твоего отъезда ты оставляешь меня такой счастливой, как никогда. Жизнь сложилась для нас ужасно тяжело. Но с сегодняшнего дня все пойдет по-иному. Ты отправляешься

в новый мир, я же его нашла. Вот два стула¹; сядем и посмотрим на нарядных людей.

Они заняли место среди любопытной толпы. Грядки тюльпанов на противоположной стороне дороги горели, как качающиеся языки пламени. Белое облако цветочной пыли, как бы исходившее от ирисов, висело в душном воздухе. Светлые зонтики мелькали взад и вперед, точно гигантские бабочки.

Сибил заставила брата разговориться о себе, о его надеждах и планах. Он говорил медленно и с усилиями. Они обменивались словами с осторожностью карточных игроков. Сибил казалась удрученной. Она не могла перелить в брата хотя бы частичку своего счастья. Ответом ей была лишь вялая улыбка на его сомкнутых губах. Через некоторое время они совсем замолчали. Вдруг перед нею мелькнула голова с светло-золотистыми волосами и улыбавшимся ртом, — мимо них проехал в открытой коляске Дориан Грей с двумя дамами.

Она вскочила.

— Вот он! — воскликнула она.

— Кто? — спросил Джим Вэйн.

— Волшебный Принц, — ответила она, провожая взглядом коляску.

Джим встал, схвативши грубо ее за руку.

— Покажите мне его! Где он? Я должен его увидеть! — воскликнул он. Но проезжавшая в этот момент четверка герцога Бервика скрыла экипаж, а когда она проехала, коляски Дориана Грея не было больше видно в парке.

— Его уже нет, — печально прошептала Сибил. — Я хотела бы, чтобы вы его видели.

— Я тоже, потому что, клянусь Богом, я убью его, если он причинит вам какое-нибудь горе.

Сибил в ужасе взглянула на него. Он повторил свои слова. Они разрезали воздух, подобно кинжалу. К ним начали прислушиваться, а стоявшая рядом дама захихикала.

— Идем, Джим, идем, — зашептала сестра. Джим мрачно последовал за нею через толпу. Он радовался, что ему удалось высказаться.

Когда они дошли до статуи Ахиллеса, Сибил обернулась. В глазах ее светилась грусть, но губы смеялись. Покачавши головою, она сказала:

— Ах, какой вы глупый, Джим, чрезвычайно глупый; злой мальчик, и больше ничего. Как вы могли говорить такие ужасные вещи? Знаете ли вы, что вы сказали! Вы просто ревнивы и завистливы. А я бы хотела, чтобы вы полюбили. Любовь делает людей добрыми; все же, что вы сказали — безобразно.

— Мне шестнадцать лет, — ответил он, — и я знаю, что я такое. Мама вам не поможет. Она не понимает, как нужно вас беречь. Теперь уж мне не хочется ехать в Австралию. Мне хочется прекратить эту затею. И я сделал бы это, если бы мой контракт не был уже подписан.

¹ В английских общественных парках, кроме привычных нам скамеек имелись и чугунные стулья.

— Вы относитесь ко всему слишком серьезно, Джим. Вы чрезвычайно похожи на героя в одной из тех нелепых мелодрам, в которых так любит выступать мама. Но я не расположена ссориться с вами. Я видела его, и — ах! я опять так счастлива! Я знаю, что тому, кого я люблю, вы никогда не сделаете зла, не так ли?

— Только до тех пор, пока вы его любите, — холодно ответил он.

— Я буду всегда любить его! — воскликнула она.

— А он?

— И он меня также.

— Да, это будет хорошо!

Она с ужасом отшатнулась от него, но потом рассмеялась и положила свою руку на его плечо. Ведь он был лишь мальчиком!

У Мраморных Ворот¹ они взяли омнибус, который и довез их до их бедного дома в Юстон-роуд. Было пять часов, и Сибил нужно было отдохнуть перед выходом на сцену. Джим заставил ее прилечь.

Они распрощались в комнате Сибил. В душе юноши встала опять ревность и неукротимая бешеная ненависть к постороннему, который, как казалось Джиму, встал между ними. И однако, когда руки сестры обвились вокруг его шеи, а ее пальцы погладили его волосы, он успокоился и сердечно расцеловал ее. Когда он спускался вниз по лестнице, глаза его наполнились слезами.

Мать ожидала его внизу. Когда он вышел туда, она побранила его за неаккуратность. Он ничего не ответил и принялся за свой скудный обед. Мухи жужжали вокруг стола и ползали по покрытой пятнами скатерти. Сквозь грохот проезжавших по улице омнибусов и стук колясок до него доносился бранчивый голос матери.

Через некоторое время он отставил тарелку и оперся головою на руки. Он чувствовал, что имеет право знать все. Мать со страхом наблюдала за ним. Слова срывались с ее уст почти машинально. Пальцы ее мяли разорванную кружевную косынку. Когда пробило шесть, он встал и направился к двери. Потом вернулся и посмотрел на нее. Их взгляды встретились. И в ее глазах он увидел что-то похожее на мольбу о пощаде. Его охватило бешенство.

— Мама, я должен тебя о чем-то спросить, — начал он. Она не ответила ничего, глаза ее беспокойно забегали по комнате.

— Скажите мне правду, я имею на это право. Были ли вы женою моего отца?

Она глубоко вздохнула. Это был вздох облегчения. Ужасная минута, минута, которой она так боялась дни и ночи, недели и месяцы, наконец, настала. И все же она не чувствовала страха. До некоторой степени она была даже разочарована. Непринужденная простота вопроса требовала и прямого ответа. Действие не развивалось постепенно и последовательно. А незаконченная вещь напоминала ей неудачную театральную репетицию.

¹ *Мраморные Ворота* или Мраморная арка — триумфальная арка, стоящая возле Ораторского уголка в Гайд-парке.

— Нет, — ответила она, сама поражаясь прозаической грубости жизни.

— Тогда мой отец был, значит, негодяем! — воскликнул юноша, сжимая кулаки.

Она покачала головой.

— Я знала, что он не был свободен. Но мы любили друг друга сильно. Если бы он оставался в живых, он бы о нас позаботился. Не говорите о нем дурно, сын мой. Он был ваш отец и джентльмен. Он происходил из высших слоев общества.

Проклятие сорвалось с губ юноши.

— Я не говорю больше о себе, — вскричал он, — но позаботьтесь о Сибил... Ведь ее любит также джентльмен... или делает вид, что любит? Он ведь также высокого происхождения!

На мгновение старухой овладело глубокое чувство унижения. Она поникла головой и дрожащими руками провела по глазам.

— У Сибил есть мать, — прошептала она, — у меня ее не было.

Юноша был тронут. Он подошел к ней и, нагнувшись, поцеловал ее.

— Мне жаль, что я заговорил с вами об отце, — сказал он, — но я не мог поступить иначе. Теперь я должен идти. Прощайте! Не забывайте, что у вас остается теперь лишь одно дитя, о котором вам нужно заботиться, и поверьте мне, что человека, который причинит зло моей сестре, я найду и убью, как собаку. Клянусь в этом!

Необычайность угрозы, страстные жесты, которыми она сопровождалась, и безумные, мелодраматические слова понравились миссис Вэйн и придали жизни знакомый оттенок. Она привыкла дышать в такой атмосфере. Ей сделалось легче, и в первый раз после долгих месяцев она пришла в восторг от своего сына. Она с удовольствием продолжала бы сцену в таком тоне, но он прервал ее. Снесли вниз сундуки. Вошла прислуга. Нужно было нанять извозчика. Все это было таким обыденным, неинтересным, что, махая из окна разорванным носовым платком вслед уезжавшему сыну, старуха оказалась разочарованною. Так скоро окончился интересный случай разыграть комедию.

Утешилась она только тогда, когда рассказала Сибил, какое одиночество чувствует она теперь, когда на попечении ее осталось только одно дитя. Эта фраза запомнилась и понравилась ей. О клятве же, которая была выражена в такой горячей и драматической форме, она промолчала. «Но, — думала она, — все мы когда-нибудь посмеемся над этим».



ГЛАВА VI

— Вы, вероятно, уже слышали новость, Бэзил! — сказал лорд Генри Бэзилу Холлуорду, входящему в маленький отдельный кабинет «Бристоля», где уже был накрыт обед на троих.

— Нет, Гарри, — отвечал художник, передавая свою шляпу и пальто почтительно ожидавшему лакею. — Что случилось? Надеюсь, это не касается политики. Меня она не интересует. Едва ли там, в Нижней Палате, найдется хотя один человек, с которого стоило бы писать, хотя некоторых из них безусловно следовало бы подкрасить.

— Дориан Грей хочет жениться, — сказал лорд Генри, пристально смотря на художника.

Холлуорд был страшно поражен и нахмурился.

— Дориан хочет жениться! — воскликнул он. — Это невозможно!

— Но это правда!

— Но на ком же он женится?

— Маленькая актриса или что-то в этом роде.

— Я не верю. Дориан для этого слишком рассудителен.

— Дориан слишком умен, чтобы от времени до времени не сделать глупости, мой дорогой Бэзил.

— Но женитьба не такая вещь, которую можно проделывать от времени до времени, Гарри.

— За исключением Америки. Но ведь я и не сказал, что он уже женился, а только, что он собирается жениться; а это большая разница. Я прекрасно помню, что женился, но совершенно не помню себя женихом¹. Мне даже кажется, что я никогда и не был женихом.

— Но подумайте же о происхождении Дориана, его общественном положении и его богатстве. Какая нелепость с его стороны вступать в такой неравный брак.

— Так скажите ему это, Бэзил, если вы только хотите, чтобы он женился на этой девушке. О, тогда он сделает это наверняка. Когда какой-нибудь человек делает самую невозможнейшую глупость, он ее всегда делает из самых благороднейших побуждений.

— Надеюсь, она — славная девушка, Гарри. Было бы жаль, если бы Дориан связал свою судьбу с низким существом, которое бы могло испортить его характер и погубить его ум.

— О, она больше чем славная — она прекрасна, — сказал лорд Генри, потягивая помаленьку из стакана вермут из горьких апельсинов. — Дориан говорит, что она хороша, а в подобных вещах он ошибается не часто. Написанный вами портрет научил его понимать прекрасное. Сегодня вечером мы ее увидим, если он только не забыл своего обещания.

— Неужели вы говорите это серьезно?

— Вполне, Бэзил. Я никогда не был серьезнее, чем теперь.

— Но не одобряете же вы этого, Гарри? — спросил художник, расхаживая взад и вперед по комнате и кусая губы. — Вы не можете одобрить такую вещь. Ведь это же какое-то ослепление.

— Теперь я уже никогда и ничего не одобряю и не порицаю больше. Это было бы совсем нелепое отношение к жизни. Я никогда не смущаюсь толками пошляков, не вмешиваюсь я также в поступки избранных людей. Если мне понравилась какая-либо индивидуальность, меня все в ней восхищает, как бы она ни выразила себя. Дориан Грей влюбился в хорошенькую актрису, выступающую в Джульетте, и хочет на ней жениться. Почему же нет? Если бы даже он женился на Мессалине, разве стал бы он от этого менее интересным? Вы знаете, что я не сторонник брака. Худшее в браке — это то, что он лишает человека эгоизма, а альтруисты же — бесцветны: в них нет индивидуальности. Но некоторые люди, благодаря браку, становятся более

¹ В Англии церковный суд мог санкционировать раздельное проживание супругов, которое позволяло жене покинуть дом мужа, но формально супруги оставались женатыми, и поэтому повторный брак был невозможен.

сложными. Они не только не теряют своего «я», но и прибавляют к нему еще ряд других «я». Они должны жить больше, чем одной жизнью; вследствие этого они приобретают более высокую организацию, а самый высокий тип организации, я думаю, является конечною целью человеческой жизни. И, кроме того, всякий опыт имеет значение, и что бы там ни говорили против брака, он все же является опытом. Надеюсь, что Дориан Грей сделает эту девушку своей женой, будет страстно обожать ее в течение шести месяцев, а затем пленится другою.

— Этого вы и сам не думаете, Гарри, и, если Дориан Грей испортит свою жизнь, никто не будет от этого страдать сильнее вас. Вы много лучше, чем стараетесь казаться.

Лорд Генри засмеялся.

— Причина, вследствие которой мы всегда думаем хорошо о других, заключается в том, что мы боимся за себя. Основа оптимизма — чистый страх. Мы считаемся добродетельными, награждая своего соседа теми добродетелями, которые нам самим могут пригодиться. Мы восхваляем банкира, чтобы расширить наш кредит, и говорим разбойнику на большой дороге, что он благородный человек, в надежде сохранить свой кошелек. Я остаюсь при своем мнении, которое высказал. К оптимизму у меня глубочайшее отвращение. Что же касается разбитой жизни, я того мнения, что та жизнь загублена, чье развитие прервалось. Если ты хочешь испортить человека, стоит лишь начать его исправлять. То же самое и относительно брака. Конечно, это глупость, но из него вытекают новые и еще более интересные узы между мужчиной и женщиной. А этому я буду всегда помогать. В них есть прелесть современности. Но вот и сам Дориан. Он расскажет обо всем лучше меня.

— Милый Гарри, милый Бэзил, вы должны меня поздравить, — проговорил юноша, сбрасывая с себя дорогой плащ и пожимая руки друзей. — Я никогда не был так счастлив. Это пришло совершенно неожиданно; впрочем, и все прекрасные вещи неожиданны. И все же мне представляется, будто я к одному этому всегда и стремился.

Радостное возбуждение пылало на его щеках, он казался необычайно прекрасным.

— Я надеюсь на то, что вы будете всегда счастливы, Дориан, — сказал Холлуорд, — однако, я не могу вас вполне простить за то, что вы не известили о своей помолвке. Гарри вы известили же?

— А я вас не прощу за то, что вы опоздали к обеду, — вмешался лорд Генри, положив руку на плечо юноши и улыбаясь. — Теперь же нам нужно сесть за стол и попробовать, каков здешний повар. Тогда вы и расскажете нам, как все это произошло.

— Тут нечего много рассказывать, — проговорил Дориан, пока они уселись за круглым маленьким столом. — Вот как это произошло. Расставшись вчера вечером с Гарри, я отправился пообедать в маленький итальянский

ресторан в Руперт-стрит¹, который вы мне показали, Гарри; в восемь часов я пошел в театр. Сибил играла Розалинду. Само собою разумеется, постановка была невозможна и Орlando отвратителен. Но Сибил! О, вы бы должны ее увидеть! Когда она вышла в костюме мальчика, она была положительно великолепно. На ней был бархатный костюм цвета мха, с рукавами коричневого цвета, светло-коричневые панталоны со шнурками крест-накрест, изящная маленькая зеленая шапочка с соколиным пером, поддерживаемым блестящим камнем, и плащ на темно-красной подкладке. Еще никогда не казалась она мне столь восхитительной. По нежности и грации она напоминала ту танагрскую статуэтку², что стоит у вас в мастерской, Бэзил. Пышные волосы обрамляли ее личико, подобно темно-зеленой листве вокруг бледной розы. А ее игра... Впрочем, вы увидите ее сегодня вечером сами. Это — врожденная артистка. Я сидел в своей скверной ложе и весь был во власти ее чар. Я забыл, что я в Лондоне, в девятнадцатом столетии. Я был далеко отсюда со своею милою в лесу, которого не видел ни один человек. После представления я отправился за кулисы и заговорил с нею. Когда мы уселись рядом, в ее глазах вдруг появилось выражение, которого раньше я никогда не видал. Мои губы приблизились к ее губам, и мы поцеловались. Я не мог бы описать вам сейчас, что я чувствовал в этот миг. Мне казалось, что вся моя жизнь вылилась в этом моменте розовой радости. Все ее тело трепетало и дрожало, как белый нарцисс. Потом она упала на колени и целовала мои руки. Я чувствую, что не должен бы был рассказывать вам все это, но не могу удержаться. Наша помолвка, конечно, должна остаться глубочайшей тайной. Сибил ничего не говорит об этом даже своей матери. Можно себе представить, что скажет по этому поводу мой опекун: лорд Радлей, конечно, совсем будет взбешен. Пусть его! Меньше чем через год я буду совершеннолетним и могу тогда делать, что захочу. Не прав ли я, Бэзил, черпая свою любовь из поэзии и находя себе жену в драмах Шекспира. Губы, которые научил говорить Шекспир, прошептали мне на ухо свою тайну. Руки Розалинды обвивали меня, и Джульетта целовала мои губы.

— Да, Дориан, мне кажется, вы правы, — медленно произнес Холлуорд.

— Видели ли вы ее сегодня? — спросил лорд Генри.

Дориан покачал головой.

— Я расстался с нею в лесах Арденн и опять найду ее в саду Вероны.

Лорд Генри в раздумье потягивал маленькими глотками свое вино.

— Когда же произнесли вы слово «женитьба», Дориан? И что она сказала на это? Может быть, вы об этом уже совершенно забыли?

¹ *Руперт-стрит* — улица в лондонском районе Сохо, фешенебельном районе для аристократии, один из главных развлекательных районов Лондона начиная с XIX в.

² *Танагрские статуэтки* — древнегреческие терракотовые статуэтки эпохи эллинизма. Фигурки высотой 10-12 см, раскрашенные акварелью. Чаще всего изящные женские фигурки в кокетливых позах.

— Мой милый Гарри, я не отношусь к своим сердечным увлечениям, как к выгодной сделке, и формально не делал ей никакого предложения. Я сказал ей, что люблю ее; она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! О, целый мир ничто в сравнении с нею.

— Женщины практичны, — промолвил лорд Генри, — они много практичнее нас. В подобных положениях мы чаще всего забываем говорить о браке, но они напоминают нам.

Холлуорд дотронулся до его руки.

— Не говорите так, Гарри. Вы оскорбили Дориана: он не таков, как все, и не мог бы сделать человека несчастным; для этого он слишком благороден.

Лорд Генри посмотрел через стол.

— Дориан не может сердиться на меня, — возразил он. — Я поставил этот вопрос из самого лучшего побуждения, из единственного побуждения, извинительного для спрашивающего — из любопытства. По моему убеждению, женщины всегда делают нам предложение, мы же женщинам — никогда; другое можно наблюдать лишь в буржуазном кругу. А буржуазия теперь уже вышла из моды.

Дориан Грей засмеялся и энергично покачал головой.

— Вы неисправимы, Гарри; но это ничего, я не мог бы на вас сердиться. Когда вы увидите Сибил, вы почувствуете, что человек, способный обидеть Сибил Вэйн, — только животное, и животное бессердечное. Я не пойму, как можно обмануть того, кого любишь. А я люблю ее. Я хотел бы поставить ее на золотой пьедестал и увидеть обожание целым светом той, которая принадлежит мне. Что такое брак? Ненарушимая клятва. Вам смешно это. О, не издевайтесь! Ненарушимый обет и хочу я дать. Ее доверчивость делает и меня верным, от ее веры я становлюсь добрым. Когда я с нею, я отбрасываю от себя все, чему вы меня научили. Я делаюсь не таким, каким вы меня знаете, с нею я преображаюсь, одно прикосновение руки Сибил Вэйн заставляет меня забывать о вас и ваших дурных, оболстительных и ядовитых теориях.

— О моих теориях?... — спросил лорд Генри, подкладывая себе немного салата.

— Да, о ваших теориях жизни, ваших теориях любви, ваших теориях наслаждения. Всех их сразу, Гарри.

— Наслаждение — единственная вещь, о которой стоит говорить, — сказал лорд Генри замедленным, мелодичным тоном. — Но боюсь, что эту теорию я не в такой уж степени могу выдавать за свою. Она принадлежит природе. Наслаждение — это ее характерное свойство, ее знак утверждения. Если мы счастливы, мы всегда добры, но если мы добры, мы не всегда счастливы.

— Вот как! Но что вы считаете «добром»? — спросил Бэзил Холлуорд.

— Да, — поддержал его и Дориан, откинувшись в своем кресле и смотря на лорда Генри, — что понимаете вы под словом «добро»?

— Быть добрым — значит быть в согласии с самим собою, — отвечал тот, дотрагиваясь своими нежными, выхоленными пальцами до тонкой ножки

стакана. — Разлад с собою происходит от того, что бывают вынуждены соглашаться с другими. Но ведь собственная жизнь — самое важное. Жизнь наших ближних, — будь то воры или святоши со свойственной им моралью, — вас касаться не должна. Индивидуализм — вот высшая цель. Современная мораль требует от нас только подчинения современности. Для культурного человека отсюда вытекает лишь полнейший имморализм¹.

— Но одиночество, Гарри, покупается слишком дорогой ценой, — промолвил художник.

— Да, мы теперь находим все слишком дорогим. Я даже утверждаю, что единственная трагедия бедняков заключается в том, что им остается лишь самоотречение. Прекрасные грехи, как, впрочем, и все прекрасное, — привилегия богатых.

— Но можно расплачиваться не только ведь одними деньгами.

— Чем же еще, Бэзил?

— Хотя бы угрызениями совести, страданием... короче говоря, всем тем, что называют унижением.

Лорд Генри пожал плечами.

— Мой милый юноша! Средневековое искусство прекрасно, но средневековые чувства больше уже не современны. Их можно целиком отдать поэзии, так как то, что ценится еще в поэзии, давно не имеет уже никакого практического значения. Поверьте мне, культурный человек никогда не раскаивается в полученных наслаждениях, тогда как человек некультурный не знает даже, что такое наслаждение.

— Я знаю уже, что это, — заметил Дориан Грей. — Его чувствуешь, когда кого-нибудь обожаешь.

— Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания, — ответил лорд Генри. — Последнее утомительно. Женщины обращаются с нами так же, как люди — со своими богами: они обожают нас и мучают, всегда требуя от нас чего-то.

— Мне кажется, они требуют у нас лишь того, что сами дали нам раньше, — заметил юноша серьезно, — свою любовь. Они имеют право требовать себе такой же любви и от нас.

— Это совершенно верно, Дориан, — сказал Холлуорд.

— Не совсем верно, — возразил лорд Генри.

— Однако, — ответил ему Дориан, — вы должны сознаться, Гарри, что женщина отдает мужчине лучшее из того, что она имеет.

— Весьма возможно, — промолвил тот, — но они много и требуют. Это несносно. Женщины, как говорит один остроумный француз, вдохновляют нас на самые высокие идеи, но зато мешают нам осуществлять их в жизни.

¹ *Имморализм* — отрицание обязательности принципов и предписаний господствующей морали, не путать с *аморализмом* или *аморальностью* — отрицание морали и принципиальный отказ от нравственных норм поведения.

— Гарри, это отвратительно с вашей стороны. Я, право, не знаю, почему я к вам так привязан.

— Вы всегда будете любить меня, Дориан, — ответил тот. — Но не выпьем ли мы еще по чашке кофе, друзья мои? Человек, подайте нам кофе, затем коньяк и папиросы. Впрочем, папирос не нужно: у меня есть свои. Бэзил, я не могу вам позволить курить сигары, вы должны взять папиросу. Папироса — совершенный тип совершенного наслаждения. Она божественна и все же оставляет нас неудовлетворенными. Чего же еще можно требовать?

— Дориан, ты будешь меня всегда любить. Я для вас воплощаю все грехи, которых вы не можете совершить.

— Что за глупости говорите вы опять, Гарри! — воскликнул юноша, закуривая папиросу от огнедышащего серебряного дракона, которого лакей поставил на стол. — Пора идти в театр. Когда вы увидите Сибил-артистку, у вас будет новый жизненный идеал. Вам откроется нечто такое, чего до сих пор вы еще не знали.

— Я все уже изведal, — возразил лорд Генри устало, — но я всегда с удовольствием воспринимаю новые впечатления. Боюсь лишь, что их для меня уже больше нет; может быть, впрочем, ваша чудесная девушка и расшевелит меня. Я люблю игру на сцене, она гораздо правдоподобнее жизни. Идем. Мне жаль, Бэзил, что в моем экипаже места только для двоих. Придется вам ехать за нами в кэбе.

Они встали, надели пальто и в таком виде допили свой кофе. Художник был погружен в печальную задумчивость. Он не одобрял этого брака, и все же он ему казался лучшим, чем многое другое, что могло случиться. Через несколько минут они спускались уже по лестнице. Он ехал, как было условлено, один и созерцал блестящий свет ехавшей впереди кареты. Им овладело чувство утраты; ему казалось, что Дориан Грей впредь никогда не будет для него тем, чем был до этого. Жизнь разделила их. Глаза его затуманились, и мрачными казались ему людные, ярко освещенные улицы. Когда экипажи остановились у театра, ему показалось, что он постарел на несколько лет.



ГЛАВА VII

По той или другой причине, но театр сегодня оказался переполненным, и толстый еврей-директор, встретивший их при входе, сиял до ушей жирной, заискивающей улыбкой. С видом притворной приниженности, он проводил друзей до ложи, размахивая своими толстыми, в кольцах, руками и без умолка болтая. Сегодня он производил особенно отталкивающее впечатление на Дориана Грея. Он думал, что пришел сюда увидеть Миранду, а его встретил Калибан. Лорду Генри, напротив, он, по-видимому, понравился. Он проявил это, пожав еврею руку и уверяя его, что он счастлив познакомиться с человеком, открывшим истинный талант к обанкротившимся на Шекспире. Холлурд между тем занялся наблюдениями над партером. В театре стояла невыносимая жара, а громадная люстра под потолком пылала, как чудовищная георгина с огненными лепестками. Молодые люди на галерее снимали свои сюртуки и жилеты и вешали их на барьер; они переговаривались друг с другом через весь зрительный зал и угощали апельсинами своих безвкусно одетых спутниц. В партере громко смеялось несколько женщин; голоса их были неестественно крикливы. Из буфета слышалось щелканье пробок.

— И в таком месте пребывает божество! — воскликнул лорд Генри.

— Да, — ответил Дориан, — я нашел ее здесь, и она, как богиня, возвышается над всем живущим. Когда она играет, позабываешь все окружающее. Все эти грубые люди с грубыми лицами и резкими жестами становятся совершенно другими, лишь только Сибил появляется на сцене. Они сидят молча и всецело поглощены тем, что происходит перед их глазами. Они плачут и смеются, когда она этого хочет. Она играет на их сердцах, как на скрипке; она одухотворяет их, и тогда чувствуется, что они из той же плоти и крови, как и мы!

— Из той же плоти и крови! Надеюсь, нет! — произнес лорд Генри, наблюдавший в свой бинокль галерею.

— Не обращайтесь на него внимания, Дориан, — вмешался художник. — Мне понятно, что вы хотите этим сказать, и я верю в нее. Вы можете любить только прекрасное существо, и девушка, производящая такое впечатление, как вы описываете, должна быть восхитительна и благородна.

Одухотворять свое время — это чего-нибудь уже стоит. Если эта девушка способна вдохнуть душу в тех, которые прозябали до сих пор без души, если она будит чувство красоты у тех, чья жизнь была грязна и отвратительна, если она освобождает их на время от себялюбия и вызывает у них слезы грусти о том, что касается не их, тогда она достойна вас, Дориан, достойна даже поклонения всего мира; и этот брак можно только благословлять. Сначала я так не думал, теперь же вполне это признаю. Боги создали Сибил Вэйн для вас, без нее вы были бы несовершенны!

— Спасибо, Бэзил! — отвечал Дориан, пожимая ему руку. — Я был уверен, что вы меня поймете. Гарри же так циничен, что ужасает меня. А вот и оркестр! Он, правда, отвратителен, но играет не больше пяти минут. Потом начнется представление, и вы увидите ту, которой я собираюсь посвятить всю свою жизнь и отдал уже все хорошее, что во мне есть.

Через четверть часа, при оглушительном взрыве аплодисментов, на сцене появилась Сибил Вэйн.

«Да, она действительно великолепна, прекраснее всех тех очаровательных созданий, которых я когда-либо встречал», — сказал про себя лорд Генри. Своими словно изумленными глазами и застенчивой грацией она напоминала молодую лань. Легкий румянец, подобно тени розы в зеркале из серебра, вспыхнул на ее щеках, когда она оглядела переполненную восторженными зрителями залу. Она отступила на несколько шагов; губы ее, казалось, чуть дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил с места и зааплодировал. Не двигаясь, точно во сне, сидел Дориан Грей и не отрывал от нее глаз. Лорд Генри рассматривал ее в бинокль и шептал: «Восхитительна, восхитительна!»

Сцена представляла зал в доме Капулетти; Ромео вошел туда в одежде пилигрима с Меркуцио и друзьями. Оркестр кое-как заиграл, и начались танцы. Среди толпы неуклюжих и плохо одетых актеров Сибил Вэйн двигалась, как существо из другого мира. Во время танца стан ее колебался, словно тростник в воде. Шея была, как стебель белой лилии, руки казались выточенными из чистой слоновой кости.

Но она оставалась странно безучастной и не проявила даже признака радости, когда увидела Ромео. Немногие слова, произнесенные ею:

Но, пилигрим, не велика вина
Твоей руки: в ней набожность видна;
Паломникам позволено руками
С молитвою касаться рук святых,
И жмут они друг другу руки сами.
Пожатие руки — лобзание их...

вместе с следовавшим затем кратким диалогом, произнесены были крайне неестественным тоном. Голос был, как всегда, дивный, но тон был безусловно ложный. Была неверна вся его окраска. У стихов она отняла жизнь: страсть показалась неискренней.

Дориан Грей становился все бледнее и бледнее, слушая ее. Ни один из друзей не решился с ним заговорить. Она казалась им совершенною бездарностью, они были разочарованы.

Однако, они знали, что пробным камнем для Джульетты является сцена на балконе во втором действии, и поэтому они ждали. Если она обманет и эти ожидания, значит у нее нет и тени таланта.

Она была обворожительно хороша, когда появилась в лунном свете. И этого нельзя было отрицать. Но неестественность ее игры оставалась вне сомнений, и чем дальше, тем она становилась хуже и хуже. Ее движения были в высшей степени деланными. Все, что она ни произносила, казалось утрировкой. Прекрасное место:

Мое лицо покрыто маской ночи,
Иначе б ты увидел, как оно
Зарделось от стыда за те слова
Признания, что ты сейчас подслушал...

она декламировала с прискорбной старательностью ученицы, прошедшей курс у какого-нибудь второразрядного учителя. Когда же она, склонившись через перила балкона, произносила эти чудесные строки:

Нет, не клянись,
Хоть рада я твоей любви, но этот
Обет ночной не радует меня:
Он слишком скор, внезапен, опрометчив,
И слишком он на молнию похож,
Которая, сверкнув, исчезнет прежде,
Чем скажем мы, что молния блеснит.
Мой дорогой, прощай, пусть эта почка
Любви в цветок прекрасный развернется
Ко времени ближайшей нашей встречи.
Прощай, спокойной ночи! Пусть тот мир
И тот покой в твою волюются сердце,
Которыми наполнено мое...

то казалось, что она не улавливает смысла слов. Это не было замешательством, напротив, она вполне владела собою. Это была просто плохая игра; провал был полный.

Даже простая необразованная публика партера и галереи потеряла всякий интерес к спектаклю. Она зашумела, начались громкие разговоры, послышались свистки. Еврей-директор, стоявший около стены за первым рядом, топал ногами и неистово ругался. Единственным человеком, который был спокоен все это время, была сама девушка.

Когда кончился второй акт, публика положительно впала в какое-то иступление; лорд Генри поднялся с места и надел пальто.

— Она очень хороша, Дориан, — сказал он, — но совсем не умеет играть. Пора уходить.

— Я останусь до конца, — ответил юноша резко и с горечью в тоне. — Мне страшно досадно, что вы по моей вине потеряли вечер, Гарри. Прошу у вас обоих извинения.

— Милый Дориан, возможно, что мисс Вэйн больна, — перебил его Холлуорд. — Мы придем сюда как-нибудь в другой раз.

— Я хотел бы, чтобы она была больна, — ответил ему юноша. — Но она показалась мне холодной и бесчувственной. Я ее совершенно не узнаю: с нею произошло какое-то превращение. Вчера вечером она была еще великой артисткой, сегодня это — простая, посредственная актриса.

— Не говорите так о той, которую вы любите, Дориан. Любовь — чудеснее искусства.

— То и другое — лишь формы подражания, — заметил лорд Генри. — Но уйдемте. Дориан, и вам не следует оставаться здесь дольше. Смотреть плохую игру — безнравственно. И, кроме того, мне кажется, вы не захотите, чтобы ваша жена оставалась и в будущем актрисой. Тогда не все ли равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она прелестна, и если она понимает так же мало в жизни, как и в искусстве, она будет объектом прекрасного опыта. Есть лишь два рода людей, действительно привлекательных: это — люди, знающие абсолютно все, и люди, ничего абсолютно не знающие. Но, ради Бога, не принимайте только трагического вида. Тайна сохранения юности заключается в том, чтобы не допускать безобразящих нас волнений. Идем с нами в клуб. Там будем курить и пить за красоту Сибил Вэйн. Она — прекрасна; чего вам еще?

— Уходите, Гарри, — воскликнул юноша, — я хочу остаться один. Уйдите и вы, Бэзил. Разве вы не видите, что сердце мое разрывается! — Горячие слезы брызнули у него из глаз. Его губы задрожали, он бросился в глубину ложи, прислонился к стене и закрыл лицо руками.

— Пойдем же, Бэзил, — сказал лорд Генри со странною тяжестью в голосе. Затем они оба вышли.

Через несколько минут снова вспыхнул свет рампы, и началось третье действие. Дориан Грей занял свое место. Он был бледен и холодно равнодушен. Представление тянулось медленно; казалось, ему не будет конца. Большинство

зрителей ушло из театра, смеясь и стуча тяжелыми сапогами. Провал был полнейший. Последний акт играли почти перед пустыми скамейками. Занавес упал при свисте и отчаянном шуме оставшейся публики.

Тотчас же по окончании Дориан бросился за кулисы, в уборную. Девушка встретила его с ликующим смехом на устах. В глазах ее сияла восторженная радость; от нее исходило точно сияние. Полуоткрытые губки улыбались какой-то тайне, которая была известна лишь ей.

Она встретила его с лицом, сияющим бесконечной радостью.

— Как я скверно играла сегодня, Дориан! — воскликнула она.

— Отвратительно! — ответил он, с изумлением глядя на нее. — Отвратительно! Прямо ужасно. Не больны ли вы? Вы не можете даже вообразить, до чего это было плохо. Нельзя себе представить, как я страдал!

Сибил улыбнулась.

— Дориан, — ответила она, медленно произнося его имя с протяжной музыкой в голосе, словно имя это было слаще меда для ее алых губок... — Дориан, вы должны были понять меня. Но сейчас-то вы, надеюсь, поняли?

— Что еще должен я понимать? — спросил он сердито.

— Почему сегодня я так скверно играла. И почему всегда буду скверно играть. Почему никогда больше не буду играть хорошо...

Он пожал плечами.

— Вы, вероятно, больны; но раз вы больны, вам не следовало бы выступать. Вы делаете себя смешной. Мы скучали нестерпимо: я и мои друзья.

Она, казалось, не слушала его, не понимала его слов. Она вся преобразилась от охватившей ее радости. Экстаз счастья овладел ею.

— Дориан, Дориан, — воскликнула она, — пока я не знала вас, театр был для меня действительною жизнью. Я вся уходила в игру. Я думала, что это правда. В один вечер была я Розалиндой, в другой — Порцией. Счастье Беатриче было моим счастьем, страдания Корделии — моими страданиями. Я верила всему. Те посредственности, что играли со мною рядом, казались мне подобными богам. Размалеванные кулисы представляли для меня весь мир. Я знала только призраки, и эти призраки казались мне реальностью. Но явились вы, моя чудесная любовь, и освободили мою душу из-под власти этих призраков. Вы открыли мне, что такое действительность. Сегодня в первый раз я поняла все смешные стороны того глупого мишурного блеска, среди которого я играла. Сегодня вечером мне впервые бросилось в глаза, что Ромео безобразен, стар и накрашен, что лунный свет в саду — ненастоящий, что вся обстановка — груба, что слова, которые я произношу, — лживы, это — не мои слова и нисколько не выражают того, что я хотела бы сказать. Вы дали мне нечто гораздо более высокое, что-то такое, перед чем бледнеет всякое искусство. Вы дали мне познать истинную любовь. Мой милый! Мой возлюбленный! Мой Волшебный Принц! Царь моей жизни! Мне опротивели призраки. Вы для меня больше, выше искусства. Что мне до этих кукольных героев! Когда я сегодня играла, я не могла даже понять, почему все это так далеко отодвинулось от меня.

Мне казалось, что я буду играть чудно, а увидела, что не смогу ничего. Но вдруг душу мою озарила догадка, и я поняла все. И это было радостное сознание! Я слышала свистки и улыбалась. Что они знают о любви, любви, похожей на нашу! Уведите меня с собою, Дориан, уведите меня туда, где мы будем только вдвоем. Я ненавижу театр. Я могла найти выражение для страсти, не испытываемой мною, но не могу выразить того, что сжигает меня, подобно огню. О, Дориан, Дориан, теперь вы поняли, что все это значило, не правда ли? Да если бы я и могла играть, мне бы казалось кошунством изображать любовь на сцене. Вы заставили меня это понять.

Юноша бросился на диван и отвернулся.

— Вы убили мою любовь! — прошептал он.

Она удивленно взглянула на него и засмеялась.

Он молчал. Тогда она подошла к нему и провела своими пальчиками по его волосам; потом опустила на колени и прижалась губами к его рукам. Он отдернул их с содроганием и, вскочив с места, направился к двери.

— Да, — вскричал он, — вы убили мою любовь! Раньше вы волновали мое воображение, теперь же не возбуждаете даже любопытства, не производите на меня ни малейшего впечатления. Я любил вас, так как вы были для меня чудом, вы обладали умом и гениальностью, вы воплощали мечты величайших поэтов и облекли в живую форму бесплотные образы Искусства. Все это вы отбросили. Вы ничтожны и мелки. Боже! Как я был безумен, что любил вас! Как был глуп! Теперь вы для меня — ничто. Я не увижу вас больше. Я не хочу о вас никогда вспоминать. Никогда ваше имя не сорвется с моих губ. Вы не знаете, чем вы были для меня прежде... Прежде! О, я не могу этого себе даже представить! Я хотел бы, чтобы глаза мои никогда не останавливались на вас! Вы погубили увлечение моей жизни. Как мало знаете вы любовь, если можете сказать, что она мешает искусству. Вы — ничто без вашего искусства. Я хотел вас видеть великой, знаменитой, блестящей. Мир боготворил бы вас, вы носили бы мое имя! А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с миленьким личиком!

Девушка побледнела и задрожала. Она сложила руки, слова с трудом вырывались из горла.

— Вы ведь это не серьезно, Дориан, — прошептала она, — вы играете!

— Играю? Это я предоставляю вам! Это вам так хорошо удастся, — ответил он с горечью.

Она поднялась и подошла к нему с выражением страшного страдания на лице. Потом, положив руки на его плечи, она заглянула ему в глаза. Он оттолкнул ее.

— Не дотрагивайтесь до меня, — закричал он.

Из груди ее вырвался тихий стон, она упала к его ногам, как подкошенный цветок.

— Дориан, Дориан, не покидайте меня, — прошептала она. — Я в отчаянии, что играла так плохо. Но я думала только о вас. Я попытаюсь, да, я попытаюсь снова. Она захватила меня так внезапно — любовь к вам. И мне кажется,

что ничего этого я и не поняла бы, если бы вы не поцеловали меня... если бы мы не поцеловали друг друга. Поцелуйте меня еще раз, моя любовь! Не уходите от меня. Я этого не перенесу. О, не оставляйте меня. Мой брат... Ах, что я... Он говорил не серьезно, он шутил... Но неужели вы не можете простить мне сегодняшний вечер? Я постараюсь, я буду работать... Не будьте так жестоки, ведь я люблю вас больше всего в мире. Ведь я не понравилась вам лишь единственный раз. Но вы совершенно правы, Дориан: я должна быть лучшей артисткой. Это было глупо с моей стороны, но иначе я, право же, не могла. О, не покидайте меня, не покидайте меня...

Она вся содрогалась от страстных рыданий, корчась на полу, как раненое животное. Дориан Грей глядел на нее своими прекрасными глазами, и его тонко очерченные губы выражали утонченную презрительность. В страсти человека, которого перестали любить, есть всегда что-то унижительное для него. Сибил Вэйн казалась ему жалкой и мелодраматичной, ее слезы и стоны надоедали ему.

— Я ухожу, — проговорил он, наконец, спокойно и ясно, — я не хотел бы быть жестоким, но я не могу вас больше видеть. Вы меня жестоко разочаровали.

Она тихо плакала, не говоря ни слова, и только ближе подползла к нему. Ее маленькие ручки протянулись вперед, как бы отыскивая его. Он повернулся и вышел из комнаты. Через несколько минут он был уже на улице.

Он не отдавал себе отчета, куда шел. Лишь через некоторое время он заметил, что бродит по каким-то плохо освещенным улицам с узкими, мрачными арками, мимо безобразных домов. Женщины с хриплыми голосами и грубым смехом зывали его. Пьяницы проходили мимо, ругаясь или что-то бормоча, похожие на чудовищных обезьян. Он видел уродливых, оборванных детей, сидевших у порогов убогих жилищ, а из мрачных дворов до него доносились крики и проклятия.

Утро он встретил у Ковент-Гардена¹. Тьма ночи прояснялась, открывая жемчужный свод неба. Вдоль пустынных улиц тянулись, громахая, огромные телеги, доверху полные поникших лилий. В воздухе разлилось благоухание цветов, и их красота, казалось, смягчала страдания Дориана. Он проводил телеги до рынка и смотрел, как их разгружали. Какой-то возница в белой блузе предложил ему вишен. Он поблагодарил, удивляясь, что тот отказался от предложенных денег, и рассеянно стал есть. Ягоды были сорваны в полночь, и от них веяло еще холодом лунного света. Пробираясь среди огромных куч наваленной изумрудной зелени, вереницей прошли мальчишки с полными корзинами полосатых тюльпанов, желтых и красных роз. Под портиком с серыми, истрескавшимися колоннами шатались несколько грязных девушек с непокрытыми головами, ожидавших конца базара. Другие толпились на площади перед дверью кафе. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались о неровную мостовую, гремя и дребезжа своею сбруей. Несколько возчиков спали на своих мешках. Голуби радужного цвета с переливами и розовыми лапками перелетали туда и сюда, поклевывая зерна.

¹ *Ковент-Гарден* — район в Вест-Энде Лондона, который славится своими развлечениями и разнообразием театров.

Спустя некоторое время Дориан подозвал кэб и поехал домой. Перед дверью он остановился, взглянув на безмолвную окрестность. Небо отливало уже чистым опалом, крыши домов ясно серебрились. Из труб тянулись, извиваясь лиловатыми лентами по перламутру, тонкие столбы дыма...

В огромном золотом венецианском фонаре, с гондолы какого-нибудь дожа, спускавшемся с потолка обширного вестибюля, горел еще колеблющийся огонек, похожий на пламенные, голубые и белые лепестки цветок. Он потушил его, бросил шляпу и пальто на стол и через библиотеку прошел в спальню, — большую восьмиугольную комнату в партере, которую он только что роскошно отделал, украсив ее редкими гобеленами в стиле Ренессанс, найденными им среди хлама на чердаке у одного торговца в Селби-Рояле¹. Когда уже он взялся за ручку двери, взгляд его случайно упал на портрет, написанный Бэзилем Холлуордом. Он приостановился, потом прошел в спальню. Что-то смутило его. Вынув цветок из петлицы, он остановился в раздумье. Потом вернулся, подошел к портрету и стал всматриваться в него. В туманном свете, проникавшем через матовые шелковые занавеси, лицо портрета показалось ему изменившимся. Выражение было другое: как будто около рта играла какая-то складка жестокости. Это было странно!

Дориан повернулся, подошел к окну и поднял шторы. Ясный солнечный свет ворвался в комнату и рассеял фантастические тени в темных углах. Но необычайное выражение лица на портрете, которое сразу обратило его внимание, оставалось таким же и даже как бы сделалось резче. Теперь, при трепетном свете солнечных лучей, складка жестокости около рта казалась такою явственной, точно он посмотрелся в зеркало, совершив какое-нибудь преступление.

Он отступил, взял со стола ручное зеркало в раме с купидонами из слоновой кости, подаренное ему лордом Генри, и взглянул в него. Но в зеркале он не нашел у своих розовых губ подобной черты. Что могло это обозначать?

Он протер себе глаза, подошел вплотную к портрету и стал снова вглядываться. Он не мог открыть ни малейшего знака подрисовки, и, однако, выражение лица в общем, несомненно, стало другим; это была ужасная очевидность.

Он бросился в кресло и стал размышлять. Вдруг ему на память пришли его слова, сказанные им в мастерской Бэзила Холлуорда в день окончания портрета. Он прекрасно вспомнил все. Он высказал тогда сумасшедшее желание, чтобы он оставался вечно юным, а портрет мог стариться, чтобы его собственная красота стала неувядаемой, а лицо на полотне несло всю тяжесть его пороков и страстей; чтобы следы страдания и дум отражались лишь на его изображении, а он сам всегда сохранял нежный цвет прелестной юности, которую он только что сознал в себе. Значит, теперь его желание исполнилось? Но ведь это же невозможно, и самая мысль об этом кажется чудовищной. И, однако же, перед ним стоит портрет с чертой жестокости у рта!

¹ *Селби-Рояль* — вымышленный населенный пункт, прообразом для него послужил Ноттингемшир.

Жестокость! Разве он был жесток? Девушка виновата сама, вовсе не он. Он мечтал о великой артистке — такую она ему показалась — и полюбил ее, считая ее великой. Но она его разочаровала, оказалась ничтожной и недостойной. И, однако, чувство безграничной жалости овладело им, когда он вспомнил, как она лежала у его ног, рыдая, как ребенок. Он вспомнил, как безучастно посмотрел на нее. Почему он таков? Почему дана ему такая душа? Но ведь и он страдал. В течение трех ужасных часов, пока длилась пьеса, он пережил столетия мук, вечность страданий. Его жизнь ведь равноценна ее жизни. И если она будет долго страдать из-за него, то ведь и она жестоко ранила его сердце. И, кроме того, женщины гораздо легче переносят страдания, чем мужчины. Они живут лишь жизнью чувств и думают только о своих чувствах. Если им нужны возлюбленные, то лишь для того, чтобы устраивать им сцены. Это говорит лорд Генри, а лорд Генри знает женщин. И что ему тревожиться о Сибил Вэйн? Теперь она для него — ничто.

Но портрет? Что о нем сказать? В нем отразилась тайна его жизни, он рассказывает его историю. Портрет научил его любить свою собственную красоту. Неужели он заставит его теперь ненавидеть свою душу? Должен ли он на него смотреть еще? Нет, это лишь обман его напряженных чувств. Ужасная ночь, пережитая им, вызвала эти призраки и сделала его почти безумным.

Портрет не изменился. Безумие было даже думать об этом. И он смотрел на изображение с его обезображенным лицом и жестокой улыбкой. Блестящая грива волос была лучезарной в сиянии утреннего солнца. Он встретил взор его лазурных очей. Чувство беспредельной жалости не к себе самому, а к своему образу на полотне охватило его. Он уже меняется, он пострадает и еще. Золото потускнеет. Пурпурные и белые розы его поблекнут. За каждый содеянный им грех — тень за тенью будет ложиться на портрет, затемняя его красоту... Ну, так он не станет грешить!

Его изображение, изменяясь или не изменяясь, будет для него видимым олицетворением совести. Он устоит против искушений. Он никогда больше не увидит лорда Генри, он никогда больше не станет выслушивать его тонких отравленных рассуждений, которые впервые, в саду Бэзила Холлуорда, вдохнули в него страсть к недостижимому.

Он вернется к Сибил Вэйн, выразит ей свое раскаяние, женится на ней и попытается снова полюбить ее. Да, это его долг. Она пострадала больше, чем он. Бедное дитя! Он повел себя с ней жестоким эгоистом. Он снова почувствует ее прежнее очарование. Они будут счастливы. Жизнь возле нее станет чистой и прекрасной. Он поднялся с кресла, раздвинул высокие и широкие ширмы перед портретом, снова задрожав при взгляде на него.

— Какой ужас! — подумал он, направляясь к стеклянной двери в сад.

Выйдя на газон, он глубоко перевел дух. Свежий утренний воздух, казалось, рассеял все его мрачные мысли: он мечтал только о Сибил. К нему вернулся слабый отзвук любви к ней. Он повторял, все снова и снова повторял ее имя. Птицы, распевавшие в этом осыпанном росой саду, как будто рассказывали о ней цветам.



ГЛАВА VIII

Было далеко за полдень, когда он проснулся. Его лакей несколько раз на цыпочках входил в комнату взглянуть: спит ли он, и предлагал себе вопрос — почему молодой господин так долго сегодня не просыпается? Наконец, Виктор услышал звонок и тихонько появился в спальне, неся на подносике из старого Севра в китайском вкусе чашку чая и пачку писем. Затем он отдернул занавеси из оливкового шелка с голубым рисунком, закрывающие три больших окна.

— Сударь, хорошо изволили почивать утром, — заметил он, ухмыляясь.

— Который час, Виктор? — спросил лениво Дориан Грей.

— Четверть второго, сударь.

— Так поздно!.. — Он уселся в постели и, отхлебнув немножко чаю, принялся пересматривать письма. Одно из них было от лорда Генри и послано им в это самое утро. После некоторого колебания, он отложил его в сторону и небрежно приступил к остальным. Они содержали обычную коллекцию пригласительных карточек на обеды, билеты на частные выставки, программы благотворительных концертов, т. е. вообще все, что может получить

имеющий успех молодой человек во время сезона¹. Он нашел также и увесистый счет за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика XV, счет, который отослать опекунам у него не хватало мужества, так как они были люди старого закала, не способные понять, что в наш век только бесполезные вещи нам единственно необходимы. Он пробежал еще несколько вежливых предложений от ростовщиков с Джермин-стрит, склонных предоставить ему ссуду в каком угодно размере, как только он вздумает ее спросить и за самые умеренные проценты.

Через десять минут он встал, надел халат из кашемира, вышитого шелком, и прошел в ванную комнату с полом из оникса. Холодная вода оживила его после такого долгого сна. Казалось, он забыл то, что пережил. Смутное ощущение, что он принял участие в какой-то странной трагедии, раз или два возникало в нем, но оно было нереально, словно во сне.

Одевшись, он отправился в библиотеку и уселся за легкий завтрак на французский манер, накрытый на маленьком столике у открытого окна.

Стояла дивная погода. Горячий воздух был напоен пряным ароматом. Влетела пчела и зажужжала вокруг вазы синего цвета, наполненной шафранно-желтыми розами, которые стояли перед ним. Он чувствовал себя совершенно счастливым.

Вдруг его взгляд упал на ширмы, которые он поставил перед портретом, и он задрожал.

— Господину холодно? — спросил слуга, подавая яичницу. — Я закрою окно.

Дориан покачал головой.

— Мне не холодно, — пробормотал он.

Правда ли это? Действительно ли изменился портрет? Или это было просто его собственное воображение, показавшее ему черту жестокости там, где была изображена радость? В самом деле, не может же так меняться расписанное полотно. Эта мысль нелепа... Она достойна быть когда-нибудь рассказанной Бэзилу, как маленький анекдот. Это его позабавит.

Однако, он так живо это помнит!..

Сначала в полумраке, а потом и при полном освещении он увидел ее, эту тень жестокости вокруг искривленных губ.

Он почти испугался, что, вот, лакей выйдет из комнаты, так как знал, что едва только останется один, он сейчас же побежит опять смотреть на портрет... Он так был в этом уверен! Когда человек, подав кофе и папиросы, направился к двери, он почувствовал дикое желание велеть ему остаться. Едва дверь за

¹ Лондонский сезон приходился на время заседания парламента, члены обеих палат должны были присутствовать в Лондоне и приезжали в столицу со своими семьями. Лондонский сезон возник в ответ на приток людей из высшего класса, которых нужно было развлекать. В XIX веке это месяцы с января по июль. Именно в это время уставались балы, званые обеды, благотворительные мероприятия.

ним закрылась, он его позвал обратно... Лакей стоял неподвижно, ожидая его приказаний... Дориан взглянул на него.

— Меня ни для кого нет дома, Виктор, — сказал он со вздохом.

Тот поклонился и вышел.

Тогда он встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на роскошных подушках дивана, расположенного против ширм. Он с любопытством рассматривал эту вещь, эти старинные ширмы из золоченой кордуанской кожи¹, оттиснутой и выделанной по расцвеченному образцу времен Людовика XIV, и спрашивал себя — случилось ли им когда-нибудь раньше прикрывать собою тайну человеческой жизни?

Отодвинет ли он ширмы? Почему не оставить их так, как они есть? Зачем ему знать? Если это верно, оно ужасно. Если нет, не стоит этим и заниматься...

Но если, по какой-нибудь несчастной случайности, еще и другие глаза, кроме его собственных, увидят портрет и это ужасающее изменение? Что ему делать, если явится Бэзил Холлуорд и пожелает взглянуть на свою картину? Бэзил это сделает, наверное.

Да, надо снова рассмотреть полотно. Лучше все, чем это адское состояние неуверенности.

Он встал и запер обе двери. Пусть он будет, по крайней мере, один, смотря в лицо своему стыду. Он отодвинул ширмы и посмотрел. Да, это-таки, правда! Портрет изменился!

Он часто потом вспоминал и всегда не без удивления, что поймал себя, исследуя портрет, на неизъяснимом чувстве чисто научного интереса. Подобное изменение было невозможно... И, однако, оно произошло. Неужели в самом деле существует некое неуловимое сродство между химическими атомами, образующими цвета и формы на полотне, и душою, заключенною в нем? Возможно ли, чтобы они могли отражать то, что эта душа передумала? Чтобы ее грезе они делали действительностью? Не крылась ли за всем этим какая-то другая и... более грозная причина? Он содрогнулся в испуге. Вернувшись к дивану, он упал на него и мрачно уставился на портрет, весь дрожа от ужаса.

Все-таки это обстоятельство подействовало на него.

Он понял свою несправедливость и жестокость относительно Сибил Вэйн... Было еще не слишком поздно исправить свои ошибки.

Она еще может стать его женой. Его эгоистичная, призрачная любовь поддается более возвышенным побуждениям, претворится в более благородную страсть, и портрет его, написанный Бэзилем Холлуордом, послужит его руководителем в жизни, станет для него тем, чем для одних бывает святыня, для других — совесть, для остальных — страх Божий. Существует болеутоляющее и для угрызений, нравственные наркотики и для души.

¹ *Кордуанская кожа* — козлиная кожа особой выделки, сафьян, получившая свое название от испанского города Кордовы, где она выделывались.

Да, это было видимым символом упадка, являющегося следствием греха. Это было предостережением о будущей вечной гибели, уготованной душам дурных людей.

Пробило три часа, затем четыре. Прозвенел и двойной получасовой удар. Дориан Грей не шевелился.

Он пробовал собрать красные нити своей жизни и сплести их воедино. Он пытался найти свой путь через лабиринт пылких страстей, в котором он блуждал. Он не знал — что ему делать, что ему думать... Наконец, он подошел к столу и составил страстное письмо к молодой девушке, которую раньше любил, умоляя простить его и обвиняя себя в безумии.

Он исписывал страницы словами яростного горя попеременно с криками еще более иступленной муки. Упреки, делаемые самому себе, есть особый род сладострастия. Порицая себя, мы думаем, что никто другой не имеет права это делать. Не священник, а сама исповедь дает нам отпущение.

Кончив письмо, Дориан уже чувствовал себя прощенным.

Вдруг постучали в дверь, и раздался голос лорда Генри:

— Милый друг, мне нужно вас видеть. Впустите меня. Я не могу, чтобы вы были так забаррикадированы...

Он ничего не ответил и оставался неподвижен.

Постучали снова. Затем застучали очень громко...

Быть может, в самом деле, лучше впустить лорда Генри, разъяснить ему тот новый образ жизни, который он отныне поведет, поссориться с ним, если это станет необходимым, расстаться с ним навсегда, если эта мера делается неизбежной.

Он встал, поспешно задвинул ширмой портрет и отпер задвижку.

— Мне самому досадно на свою настойчивость, Дориан, — сказал, входя, лорд Генри. — Но вы не должны слишком много думать об этом!

— О Сибил Вэйн, хотите вы сказать? — спросил молодой человек.

— Разумеется! — ответил лорд Генри, опускаясь в кресло и медленно снимая свои желтые перчатки. — С известной точки зрения — это ужасно. Но это не ваша вина. Скажите мне: были ли вы за кулисами по окончании пьесы?

— Да.

— Я был в этом уверен. И вы сделали ей сцену?

— Я был груб, Гарри, невозможно груб. Но теперь это кончено. Я даже ничего теперь не имею против того, что так вышло. Это меня научит лучше понимать себя.

— О, Дориан! Как я рад, что вы так к этому относитесь. Я боялся, что увижу вас погруженным в самобичевание и рвущим на себе свои прелестные кудри...

— Ну, нет, с этим покончено! — сказал Дориан, с улыбкой тряхнув головой. — Сейчас я вполне счастлив. Для начала — я узнал, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы мне рассказывали — это самое божественное, что в нас есть. Не издевайтесь над этим, Гарри, по крайней мере, в моем присутствии!.. Я хочу быть хорошим... Я не выношу мысли, что душа моя может стать уродливой...

— Какая очаровательная эстетическая основа для морали, Дориан. Поздравляю вас. С чего же вы начнете?

— Да с того, что женюсь на Сибил Вэйн...

— Женитесь на Сибил Вэйн? — вскричал лорд Генри, подскочив в своем кресле и глядя на него с тревожным изумлением.

— Да, Гарри. Я знаю все, что вы мне скажете: ведь это будет поношение брака. Не распространяйтесь же лучше. Не говорите мне ничего нового на данную тему. Два дня тому назад я предложил Сибил Вэйн свою руку. Я вовсе не желаю нарушать своего слова — она будет моей женой...

— Вашей женой, Дориан!.. Вы, значит, не получили моего письма. Сегодня утром я писал вам и отправил письмо с моим слугой...

— Вашего письма?.. Ах, да, припоминаю! Я его еще не прочел, Гарри... Я боялся найти в нем что-нибудь тяжелое... Вы мне отравляете жизнь вашими эпиграммами...

— Так вы ничего не знаете?

— Что такое?..

Лорд Генри перешел через комнату, присел возле Дориана Грея, взял его обе руки в свои и крепко стиснул их.

— Дориан, — сказал он, — мое письмо — не пугайтесь, пожалуйста, — извещало вас о смерти Сибил Вэйн.

Крик боли вырвался у юноши, он вскочил, выдернув свои руки от лорда Генри.

— Умерла! Сибил умерла!.. Это неправда!.. Это ложь, ужасающая ложь!.. Как вы осмелились сказать ее!

— Это совершенная истина, Дориан, — серьезно возразил лорд Генри. — Об этом уже есть в утренних газетах. Я написал вам, чтобы вы никого не принимали до моего прихода. Будет следствие, — не надо, чтобы вас к нему припутали. Вещи в таком роде создают в Париже человеку репутацию, но в Лондоне еще столько предрассудков... Тут никогда не начинают со скандала, — это приберегают, чтобы обращать на себя внимание, к более преклонным годам. Я рад был бы думать, что в театре не знают вашего имени. Если это так — все хорошо. Никто вас не встречал около ее уборной? Это очень важно.

Дориан ничего не отвечал в продолжение нескольких минут. Он был подавлен отчаянием... Он пролепетал, наконец, сдавленным голосом:

— Гарри, вы говорите о следствии... Что это значит... Неужели Сибил... Я не хочу этого думать... Скажите, в чем дело, поскорее!.. Говорите все!..

— Лично у меня на этот счет нет никаких сомнений. Это — не случайность, Дориан, хотя публика и может это предполагать. Кажется, было так: когда она уходила уже из театра со своей матерью, она сказала, что забыла что-то у себя там... Ее подождали немного, она все не возвращалась. Отправились за ней, и нашли ее мертвой на полу уборной. Она по ошибке что-то проглотила, какую-то едкую вещь, которая употребляется у них, там, в театре. Я не знаю, что это такое, но в нее входили синильная кислота или свинцовые

белила. Я охотно верю, что там была синильная кислота, потому что смерть была мгновенная.

— Гарри, Гарри! Какой ужас! — закричал молодой человек.

— Да, это поистине трагично, разумеется, но не надо, чтобы вы были вмешаны в дело. Я прочел в *Standard*, что ей было уже семнадцать лет. А я думал, что она моложе, у нее был совершенно детский вид, и она еще совсем плохо играла... Не мучайтесь так, Дориан!.. Отправимся пообедать вместе, затем поедем в оперу. Сегодня поет Патти¹, и все будут там. Вы зайдете в ложу к моей сестре... Там вы, наверно, найдете нескольких красивых женщин...

— Значит, я убил Сибил Вэйн, — прошептал Дориан, — убил так же верно, как если бы перерезал ее маленькое горло ножом... И, однако, розы от этого не стали менее прекрасны... Птицы не меньше будут распевать в моем саду... И этим вечером я буду с вами обедать, отправлюсь в оперу и, после нее, поеду куда-нибудь на ужин. Как высоко драматична жизнь! Если бы я вычитал что-либо подобное в книге, Гарри, я думаю, что расплакался бы... Но когда это произошло в действительности и со мною самим, оно мне представляется чересчур потрясающим, чтобы плакать... Вот взгляните на это первое горячее любовное письмо, которое я когда-либо в жизни писал. Не найдете ли вы странным, что это первое письмо любви мною написано мертвой девушке!.. Могут ли еще чувствовать эти белые молчаливые существа, которых мы называем мертвецами? Сибил! Может ли она чувствовать, знать, слышать? О, Гарри, как я ее любил! Мне кажется, что я знал ее долгие годы!

Она была всем для меня... Но настал ужасный вечер: неужели это было в прошлую ночь? — она так плохо играла, и сердце мое разбилось. Она объяснила мне все. Это было трогательно до ужаса. Но меня это, все-таки, не тронуло, я счел ее дурочкой! Потом произошло нечто невероятное. Я не сумею рассказать вам, что это было, но было что-то страшное. Я хотел вернуться к ней. Я чувствовал, что повел себя нехорошо. Но вот — она умерла! Боже, Боже! Гарри, что мне теперь делать? Мне угрожает такая опасность, и нет ничего, что защитило бы меня от нее. Это сделала бы только она!.. Она не имела права убивать себя!.. Это было эгоистично!

— Дорогой Дориан, — ответил лорд Генри, беря папиросу и вынимая из кармана золотую коробочку для спичек. — Единственный способ, каким женщина может пересоздать человека — это надоесть ему до того, что даже сама жизнь ему опротивеет. Если бы вы женились на этой молодой девушке, вы были бы несчастны. Вы были бы с ней очень милы. Мы всегда очень милы с теми, от кого нам уже ничего больше не нужно. Она скоро сделала бы открытие, что вы к ней равнодушны. А когда женщина открывает это в своем муже, она или начинает очень скверно одеваться, или носить прелестные шляпки, за которые платит муж... какой-нибудь другой женщины. Не говоря уже о несоответствии

¹ *Аделина Пятти* — итальянская певица. Одна из наиболее значительных и популярных оперных певиц своего времени.

положений в обществе, которого я, например, никогда бы не допустил, все это вообще было бы для вас прескверной историей.

— Возможно! — прошептал молодой человек, страшно бледный, шагая взад и вперед по комнате. — Я думал, однако, что это мой долг. Не моя вина, если эта драма помешала мне сделать то, что я считал справедливым. Я вспоминаю, как вы мне однажды говорили, что над благими решениями тяготеет какой-то рок: их принимают всегда слишком поздно. Так случилось и со мной.

— Благие намерения — лишь бесполезное вмешательство в естественный ход вещей. Они берут начало в чистейшем тщеславии, и в их результате — ничто, нуль. По временам они доставляют нам роскошные, но бесплодные волнения, имеющие для некоторых свою прелесть. Это все, что можно из них извлечь. Их уместно сравнить с чеками на банк, в котором человеку не открыт текущий счет.

— Гарри! — воскликнул Дориан Грей, усаживаясь рядом с ним, — почему я не могу прочувствовать эту трагедию так, как я бы этого хотел? Я же ведь не бессердечен, не правда ли?

— В последние две недели вы натворили слишком много безумств, чтобы иметь право считать себя таковым, — ответил лорд Генри со своей тихой, меланхолической усмешкой.

Молодой человек сдвинул брови.

— Мне вовсе не по вкусу такое объяснение, Гарри, — сказал он, — однако, мне приятно узнать, что вы не считаете меня бессердечным. И я не таков, я знаю это. Однако, я прекрасно чувствую, что не так затронут совершившимся, как это следовало бы. Оно мне представляется чудным концом чудной пьесы. Здесь вся ужасающая красота греческой трагедии: трагедии, в которой я сыграл крупную роль, но от которой я отнюдь не пострадал.

— Да, в самом деле, это — очень любопытное обстоятельство, — сказал лорд Генри, которому доставляло утонченное удовольствие наигрывать на бес-сознательном эгоизме юноши. — Чрезвычайно любопытное обстоятельство!.. Собственно, объяснить это, я полагаю, можно следующим образом. Чаще всего бывает так, что истинные жизненные трагедии проходят так нехудожественно, что просто оскорбляют наши чувства своим грубым неистовством, своей абсолютной неуклюжестью, бессмысленной жадой что-то доказать и полным отсутствием стиля. Они нам претят, как всякая вульгарность вообще. Они действуют на нас, исключительно как грубая сила, и мы восстаем против этого.

Однако, иногда в жизни мы встречаемся с трагедиями, заключающими в себе художественные элементы истинной красоты. И мы сами становимся вдруг уже не актерами, а зрителями пьесы, или, вернее, и тем, и другим вместе. Мы начинаем невольно смотреть на себя со стороны, и тогда нас увлекает уже просто интерес к зрелищу. Что, в сущности, произошло в случае, который нас занимает? Женщина покончила с собой из любви к вам. Я восхищен, что ничего подобного не было из-за меня, а то это заставило бы меня полюбить любовь на весь остаток моих дней. Женщины, которые меня обожали — их было не так много, но все-таки они были, — всегда желали

продолжать как тогда, когда я переставал обращать на них внимание, так даже и тогда, когда сами переставали обращать на меня внимание. Все они теперь растолстели, стали снотворно скучны, и, когда я встречаюсь с ними, они приступают к воспоминаниям!

О, эта ужасная женская память! Что за устрашающая вещь! Какую духовную косность обличает она! Можно еще сохранить в памяти общую окраску жизни, но не детали, которые всегда вульгарны...

— Я посею мак¹ в своем саду, — вздохнул Дориан.

— В этом нет необходимости, — возразил его собеседник. — У самой жизни всегда маки в руках. Но, конечно, случается иной раз, что дело затягивается. Я сам однажды в продолжение целого сезона носил фиалку в петличке, как художественный символ траура по страстишке, которая никак не хотела умереть. Наконец, она умерла: я не знаю, что ее убило. Я полагаю, что это сделало предложение пожертвовать для меня целым светом. Такой момент всегда бывает скучен — он преисполняет вас ужаса перед вечностью. Поверите ли, не далее, как неделю тому назад, на обеде у леди Гемпшир мне случилось сидеть рядом с этой особой, и она настойчиво предложила мне все начать сначала, сметя прошлое и расчистив дорогу для будущего.

Я похоронил мой роман в могиле из асфodelей², а она хочет вырыть его обратно и уверяет меня, что я не испортил ее жизни. Я имею основания полагать, что она ест с колоссальным аппетитом, поэтому не ощутил ни малейшей тревоги за нее. Но какое отсутствие вкуса проявила она!

Единственное очарование прошлого — это лишь то, что оно прошло. Но женщины никогда не замечают, что занавес уже упал. Они всегда требуют шестого акта и предлагают продолжать спектакль, когда весь интерес уже исчерпан... Если бы им только предоставили делать то, что им угодно, все комедии получили бы трагический конец и все трагедии заканчивались бы фарсом. Все они восхитительно искусственны, но у них нет никакого чутя в искусстве. Вы счастливее меня. Уверяю вас, Дориан: ни одна из женщин, которых я знал, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибил Вэйн.

Обыкновенные женщины всегда утешаются, и некоторые из них надевают сентиментальные цвета. Не доверяйте ни женщине, которая носит цвет тауве³, в каком бы возрасте она ни была, ни женщине тридцати пяти лет, наряжающейся в розовые ленты. Это значит всегда, что у них есть история. Некоторые находят большое утешение, неожиданно открыв разные достоинства в своих собственных мужьях. И тогда они выставляют на вид свое супружеское

¹ В европейской культуре мак издавна использовался как символ сна, мира и смерти, в том числе в качестве эмблем на надгробиях.

² *Асфodelь* — В греческой мифологии одно из самых известных растений, связанных с мертвыми и подземным миром. Гомер описывает поросший асфodelем луг — пристанище мертвых.

³ *Mauve* — лиловый, от французского названия мальвы.

благоденствие с таким усердием, как если бы это был самый пленительный грех. Есть и такие, которые утешаются религией. Ее таинства имеют все очарование флирта, сказала мне однажды женщина, и я это понимаю.

Ничто не может сделать нас более тщеславными, как сознание своей греховности. Совесть, положительно, превращает нас в эгоистов...

В самом деле, нет числа утешениям, которые женщины могут найти для себя при современных условиях. А я еще и не коснулся самого главного из них...

— Что же это такое, Гарри? — равнодушно спросил молодой человек.

— Самое действительное: взять другого поклонника, если теряешь одного. Это делает женщину хорошего общества, как бы, оправданной. Право, Дорриан, насколько Сибил Вэйн не похожа на женщин, с которыми мы встречаемся! В ее смерти есть нечто абсолютно прекрасное.

Я счастлив, что живу в веке, когда еще возможны подобные чудеса. Они заставляют нас верить в реальность вещей, из которых мы устраиваем себе развлечение, — в романическое, в страсть, в любовь.

— Вы все забываете, как я был жесток с нею!

— Я убежден, что женщины ценят жестокость, — истинную жестокость — больше, чем многое другое. В них удивительно развит первобытный инстинкт. Мы их эмансипировали, но это не помешало им остаться рабынями, нуждающимися в господине. Они любят подчинение. Представляю себе, как вы были великолепны! Я никогда не видел вас в серьезном гневе, но думаю, что вы должны быть прелестны. Затем вы мне сказали одну вещь третьего дня — она мне показалась несколько сумасбродной тогда, но сейчас я чувствую, насколько она правильна, и она мне дает ключ ко всему делу.

— Что такое, Гарри?

— Вы мне сказали, что Сибил Вэйн представляется вам воплощением всех героинь романических произведений: сегодня она Дездемона, завтра Офелия, она умирает, как Джульетта, и воскресает Имогеной.

— Но она уже больше никогда теперь не воскреснет, — произнес молодой человек, закрыв лицо руками.

— Да, она не воскреснет, сыграв свою последнюю роль. Но вы должны думать об этой одинокой смерти, в этой заваленной мишурным хламом уборной, как о странном и мрачном отрывке из какой-нибудь якобинской трагедии, как о захватывающей сцене из Вебстера, Форда или Сирила Тернера¹. В сущности, эта молодая девушка сама по себе никогда не жила, поэтому не может и умереть.

Для вас она всегда была только грезой, видением из шекспировской драмы, делающим пьесу еще упоительнее, свирелью, делающей музыку Шекспира еще более звучной и радостно богатой. Едва соприкоснувшись с действительностью, она изуродовала свою жизнь, и жизнь погубила ее. Она должна была

¹ Джон Вебстер, Джон Форд, Сирил Тернер — английские драматурги, современники В. Шекспира.

умереть. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпьте голову пеплом, потому что Корделия задушена. Проклинайте небеса за то, что дочь Брабанцио скончалась. Но не проливайте попусту слез над трупом Сибил Вэйн: она была наименее реальна из них всех.

Наступило молчание. Вечерний сумрак сгустился в комнате. Серебряноногие тени бесшумно проскальзывали из сада. Краски предметов лениво таяли.

Дориан Грей поднял голову.

— Вы объяснили мне меня самого, Гарри, — пробормотал он со вздохом облегчения. — Я и сам чувствовал все то, что вы мне сказали, но почему-то оно словно пугало меня, и я не смел сознаться себе в этом. Как вы меня хорошо понимаете! Но не будем больше говорить о том, что случилось. Это был чудный опыт. Не думаю, чтобы в будущем жизнь припасла для меня что-нибудь столь же чудное...

— Для вас еще жизнь припасает все, Дориан. С вашей необычайной красотой — нет того, чего вы не могли бы сделать!

— Но подумайте, Гарри — ведь и я сделаюсь уродливым, старым, сморщенным... Что тогда?

— Тогда, — сказал лорд Генри, вставая, — тогда, мой милый Дориан, вы должны будете сражаться, чтобы побеждать, сейчас же победа сама дается вам в руки... Но нет, вы должны оставаться прекрасным. Наш век слишком много читает, чтобы быть мудрым, и слишком много думает, чтобы быть прекрасным. Мы не можем обойтись без вас... Самое лучшее, что следует вам сейчас сделать — это одеться и зайти в клуб. Мы и то, пожалуй, запоздали...

— Я полагаю, что лучше встречусь с вами в опере, Гарри... Я слишком устал, чтобы есть. Какой номер ложи вашей сестры?

— Кажется, двадцать седьмой. Она в первом ярусе. На дверях вы увидите ее имя. Я в отчаянье, что вы не хотите со мною пообедать.

— Я не в состоянии есть, — сказал Дориан утомленно. — Очень вам признателен за все, что вы мне сказали. Вы — мой лучший друг. Никто меня не понимает так, как вы...

— Наша дружба еще только начинается, Дориан, — ответил лорд Генри, пожимая ему руку. — До свидания. Надеюсь, что увижу вас раньше половины десятого. Не забывайте, что поет Патти.

Когда за ним закрылась дверь, Дориан Грей позвонил, и через несколько мгновений появился Виктор с лампами и задернул занавеси. Дориан выходил из терпения, дожидаясь его ухода: ему казалось, что тот никогда не кончит. Как только слуга вышел, он поспешил к ширмам и открыл картину.

Нет, никакой новой перемены на портрете не произошло. Он знал о смерти Сибил Вэйн до него самого. Он знал про события жизни раньше, чем они наступали.

Злобная жестокость, которая испортила тонкие очертания губ, несомненно появилась на нем в тот самый миг, когда молодая девушка пила яд... Но, быть может, он оставался равнодушен к самим событиям? Пожалуй, он знал

только то, что происходит с душой? Он изумлялся, надеясь, что в один прекрасный день перемена произойдет перед его глазами, и эта мысль приводила его в содрогание.

Бедная Сибил! Какой роман! Она так часто представляла смерть на подмостках! И смерть коснулась ее и взяла ее с собой. Как-то она провела эту последнюю страшную сцену! Проклинала ли она, умирая? Нет, она умерла, любя его, и отныне любовь будет для него таинством. Она все искупила, принесла в жертву свою жизнь. Он не будет больше вспоминать о том ужасном вечере, который она заставила его пережить там, в театре. Если он будет вспоминать о ней, то лишь как о дивном трагическом образе, ниспосланном на мировую сцену, воплощенным могуществом любви. О, дивный трагический образ! У него появились слезы на глазах, когда он припомнил ее детский вид, ее кроткие, своеобразные манеры, ее дику и трепетную грацию. Он поспешно сдержал их и взглянул на портрет.

Дориан почувствовал, что, наконец, настало время сделать свой выбор. Но не сделан ли он уже? Да. И за него решила сама жизнь. Вечная юность, вечная страсть, утонченные и тайные удовольствия, бешеные наслаждения и еще более бешеные грехи — все это он должен изведать. Тяжесть его стыда возьмет на себя его портрет — вот и все!

Ощущение боли пронизало его при мысли о том обезображивании, которому подвергнется его прекрасное лицо, написанное на полотне. Один раз, словно расшалившийся юный Нарцисс, он поцеловал или притворился, что целует эти нарисованные уста, которые теперь так жестоко улыбаются ему. Дни за днями он просиживал перед портретом, восторгаясь его красотой, почти влюбленный в нее, как ему самому много раз казалось! И она должна будет страдать от каждого свершаемого им греха! И портрет сделается вещью столь чудовищной и омерзительной, что его останется только держать в запертой на замок комнате, далеко от солнечных лучей, тех самых, что золотили ослепительные волны его кудрей. Какой безмерный упадок! Какое отчаянье!

Одно мгновение ему захотелось даже молиться, чтобы исчезла эта ужасная симпатия, существующая между ним и его портретом. Ее создала молитва. Не может ли молитва разрушить ее?

И, однако, кто, знающий жизнь, станет колебаться перед возможностью сохранить вечную юность, — как бы ни была фантастична эта возможность и какие бы последствия это не повлекло? Да и, наконец, зависит ли это от его воли?

Действительно ли молитва произвела это изменение? Нельзя ли это объяснить какими-либо научными причинами? Если мысль может влиять на живой организм, не способна ли она также влиять на предметы неодушевленные, неорганические? Не могут ли эти предметы, находящиеся вне нас и не обладающие сознательной мыслью и волей, вибрировать в соответствии с нашими настроениями и чувствами, притягивая атом к атому силою скрытой любви и таинственного соответствия? Но причина безразлична. Он не попытается больше вымолить себе какое-нибудь страшное могущество. Если живопись

должна испортиться, ничто этому не может помешать. Это ясно, и незачем углубляться в дальнейшее. Разве ему не доставит величайшего удовольствия подстергать эти перемены? Он может наблюдать свой дух в его самых тайных помышлениях: этот портрет будет для него великолепным зеркалом. Сначала он ему показал его тело, потом он покажет ему его душу. И, когда для портрета настанет уже зима жизни, он сам останется на трепещущей меже весны и лета. Когда кровь отхлынет от его лица, оставив бледную, как мел, маску с свинцовыми кругами возле глаз, он сохранит прелесть юности. Цвет его юности не увянет, пульс не забьется слабее. Как греческий бог, он будет всегда силен, быстр и радостен. Что ему до того, каким сделается писанный на полотне портрет? Был бы он сам неприкосновенен — дело только в этом!

Улыбаясь, он подвинул ширму на ее прежнее место перед портретом и вышел в соседнюю комнату, где его ждал лакей. Час спустя, он уже сидел в опере, и лорд Генри опирался на спинку его кресла.



ГЛАВА IX

На следующее утро, когда он завтракал, к нему зашел Бэзил Холлуорд.

— Я рад, что застал вас, Дориан, — сказал он серьезно. — Я заходил вчера, но мне сказали, что вы в опере. Я знал, что это невозможно, но мне хотелось иметь от вас несколько слов с указанием — куда вы пошли на самом деле. И я провел очень печальный вечер в опасениях, чтобы за первой трагедией не последовала вторая. Вы должны были мне телеграфировать, как только об этом узнали. Я это случайно прочел в последнем выпуске *Globe*, в клубе. Я тотчас же пришел сюда и был страшно огорчен, не найдя вас. Не могу себе представить, как все это растерзало мне сердце. Могу себе представить, что выстрадали вы. Но где, однако, вы были? Не у матери ли бедной девушки? Одну минуту я думал — не поискать ли мне вас там. Ее адрес был напечатан в газете. Где-то на Юстон-роуд, не правда ли? Но мне было страшно оказаться назойливым в горе, которому я не могу помочь. Бедная женщина! В каком состоянии она, должно быть, находится! Единственное дитя!.. Что она говорит?

— Мой дорогой Бэзил, разве я знаю? — пролепетал Дориан, прихлебывая маленькими глоточками бледно-желтое вино из венецианского бокала, изящно

закругленного и вызолоченного, с глубоко скучающим видом. — Я был в опере, куда и вы должны были явиться. Я в первый раз встретился с леди Гвендолин, сестрой лорда Гарри. Мы сидели в ее ложе. Она очаровательна, и Патти божественно пела. Не говорите об ужасных вещах. Если бы о какой-нибудь вещи не разговаривали, так и было бы так, точно она совсем не случилась. Только когда выскажешься — этим даешь вещи реальность, как говорит лорд Генри. Должен сказать вам, что у бедной женщины вовсе не один ребенок. Есть еще сын, должно быть, прелестный мальчик, я полагаю. Но он не служит в театре. Он — моряк или что-то в этом роде. А теперь расскажите мне о себе. Что вы пишете?

— Вы были в Опере? — медленно спросил Холлуорд, и в голосе его задрожала печаль. — Вы сидели в Опере, в то время как Сибил Вэйн покоилась смертным сном в своем убогом жилище? Вы можете мне рассказывать о других очаровательных женщинах и о том, что Патти божественно пела, раньше, чем тело любившей вас девушки обрело вечный покой в могиле? А знаете ли вы, что за ужасы еще ожидают это маленькое лилейное тело?

— Перестаньте, Бэзил, я не хочу об них слышать! — воскликнул Дориан, вставая. — Не говорите со мной об этом! Что было, то было. Прошлое прошло.

— Вчера — для вас прошлое?

— Что значит — известный промежуток времени? Только поверхностные люди нуждаются в долгих годах, чтобы отделаться от впечатления. Человечек, владеющий собою, так же легко может положить конец своей печали, как легко придумывает какое-нибудь новое удовольствие. Я не хочу быть игрушкой моих ощущений. Я желаю извлекать из них пользу, наслаждение, я желаю властвовать над ними.

— Дориан, это ужасно!.. Что-то вас совершенно изменило. Вы еще сохраняете внешность обаятельного молодого человека, ежедневно приходившего ко мне в мастерскую для своего портрета. Но вы были тогда простым, естественным и нежным. Вы были самым нетронутым из людей. Теперь же я не знаю, что с вами случилось. Вы разговариваете так, как будто у вас нет ни сердца, ни сострадательности. Это влияние Гарри, я это хорошо вижу.

Молодой человек покраснел, отошел к окну и несколько минут смотрел на цветущую, залитую солнцем лужайку.

— Я многим обязан Гарри, Бэзил, — произнес он, наконец, — больше, чем вам. Вы меня научили только быть тщеславным.

— Пускай!.. Я наказан за это, Дориан, или, все равно, буду когда-нибудь наказан!

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, Бэзил! — вскричал он, оборачиваясь. — Я не знаю, чего вы хотите от меня? Чего вы хотите?

— Я хотел бы вновь найти того Дориана Грея, с которого я писал, — печально сказал художник.

— Бэзил, — начал юноша, подойдя к нему и положив ему руку на плечо, — вы явились слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибил Вэйн кончила с собой...

— Покончила с собой?.. О, Боже!.. Да неужели же это правда, — воскликнул Холлуорд, глядя на него с выражением ужаса...

— Дорогой мой, Бэзил! Не думали же вы, в самом деле, что это простой случай... Разумеется, она покончила с собой.

Тот опустил голову на руки.

— Это страшно, — пробормотал он, и дрожь пробежала по его телу.

— Нет, — возразил Дориан Грей. — Это совсем не страшно. Это — одна из самых великих романтических трагедий нашего времени. Обыкновенно существование актера проходит самым банальным образом. Все они — прекрасные мужья, верные жены, словом, нечто вполне скучное.

Вы понимаете — добродетель посредственности и все, что из этого вытекает. Как Сибил была не похожа на них! Самую великую трагедию она пережила в своей собственной жизни. Она была героиней непрерывно. В последнюю ночь, что она играла, тогда, как вы ее видели, она играла плохо, потому что узнала действительность любви. Испытавши ее разочарования — она умерла, как умерла бы и Джульетта. Она снова прошла через сферу Искусства. В ней есть нечто мученическое. Ее смерть носит на себе печать трогательной бесполезности мученичества, выражает собою всю красоту отчаянья. Но, как я уже говорил, не думайте, что я не страдал. Если бы вы зашли вчера — был такой момент, около половины шестого или шести без четверти, — вы бы застали меня в слезах... Сам Гарри, который в это время был здесь и который, между прочим, именно привез мне это известие, спрашивал себя, что со мною будет дальше? Я страдал очень сильно. Потом это прошло. Но мои впечатления не повторяются. Да и ни у кого они не повторяются, за исключением сентиментальных душ.

Вы жестоко ко мне несправедливы, Бэзил: вы являетесь сюда, чтобы меня утешить, и это очень мило с вашей стороны. Но вы застаёте меня уже утешившимся, и это приводит вас в ярость. Так-то вы сочувствуете мне! Вы напоминаете мне одну историю, рассказанную мне Гарри об некоем филантропе, который затратил двадцать лет своей жизни, чтобы загладить чью-то вину или изменить какой-то несправедливый закон, — я уже в точности не помню. Наконец он добился желаемого и пришел в невообразимое отчаянье. Ему ничего больше не оставалось делать, разве умереть со скуки, и он сделался заядым мизантропом. Теперь же, мой милый Бэзил, если вы действительно хотите дать мне утешение, научите меня или забыть все, что случилось, или рассматривать это с чисто художественной точки зрения. Ведь это, кажется, Готье писал об «Утешении в искусстве»¹. Помнится мне, я однажды нашел у вас в мастерской маленький томик в пергаментном переплете, где и встретил эту прелестную фразу. Не похож ли я на того молодого человека, о котором вы мне рассказывали, когда мы вместе были

¹ „Утешение в искусстве“ — фраза из эссе Шарля Бодлера „Теофиль Готье“. С другой стороны, он внес в поэзию новый элемент, который я назову утешением через искусство, через все живописные предметы, которые радуют глаз и развлекают ум.

в Марлоу¹: он говорил, что желтый атлас может утешить нас во всех несчастьях жизни. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках: старую парчу, позеленевшую бронзу, лакированные предметы, слоновую кость тонкой резьбы, великолепную обстановку, роскошь, украшения. Все это может многое дать. Но для меня гораздо больше имеет значение тот художественный темперамент, который они создают или, по крайней мере, способствуют его проявлению. Сделаться зрителем своей собственной жизни, — говорит Гарри, — это предохранить себя от всех страданий земных. Я знаю, что удивляю вас, рассуждая таким образом. Но вы еще не успели узнать, как я развился. Я был совершенным школьником до сих пор — теперь же я взрослый человек с новыми страстями, новыми мыслями, новыми идеями. Я стал другим, но вы должны меня из-за этого не менее любить. Конечно, я очень дорожу Гарри. Но я знаю, что вы лучше него. Вы не сильнее, так как слишком боитесь жизни, но гораздо лучше. Как мы были счастливы с вами! Не покидайте меня, Бэзил, и не ссорьтесь со мной. Я — только то, что я есть. И тут больше нечего сказать!

Живописец был странно взволнован. Молодой человек был ему очень дорог и своей личностью озаменовал важный поворот в развитии его искусства. Он не мог больше делать ему упреков. В конце концов, эта черствость может быть лишь мимолетным настроением. В ней было столько мягкости, столько благородства!

— Хорошо, Дориан, — сказал он, наконец, с огорченной улыбкой. — Я уже больше не буду говорить с вами об этом ужасном происшествии. Надеюсь только, что ваше имя не окажется припутанным к нему. Следствие назначено на после полудня. Вас вызовут?

Дориан покачал головой, и тень скуки скользнула по его чертам при слове «следствие». В нем есть что-то такое грубое, вульгарное!

— Им неизвестна моя фамилия, — ответил он.

— Но она же знала ее, наверное?

— Она знала только имя, да и его, конечно, никому не сказала. Она мне однажды говорила, что они там все очень любопытствовали насчет того — кто я такой, но она им неизменно отвечала, что меня зовут «Волшебный Принц». Это было так мило с ее стороны. Вы мне должны сделать набросок Сибил. Я хотел бы сохранить от нее что-нибудь еще, кроме воспоминания о нескольких поцелуях и нескольких отрывках нежных фраз.

— Я попробую, Дориан, если это вам приятно. Но за это вы должны приходить еще позировать для меня. Я не могу без вас обойтись.

— Я не могу больше позировать для вас, Бэзил! Это совершенно невыносимо! — воскликнул он, отступив назад.

Живописец взглянул ему в лицо...

— Дитя мое, что за вздор! Не хотите ли вы сказать, будто то, что я сделал, не нравится вам? Кстати, где это? Зачем заставили вы портрет ширмами?

¹ *Марлоу* — городок в 30 милях от Лондона.

Пустите меня взглянуть на него. Это лучшая вещь, которую я когда-либо создал. Уберите ширмы прочь, Дориан. Это просто невежливо со стороны вашего слуги так закрывать мое произведение! Вот почему мне показалось, как только я вошел, что в этой комнате что-то изменилось!

— Мой слуга тут ни при чем, Бэзил. Не воображаете ли вы, что я позволяю распоряжаться в моих апартаментах? Он иногда только переставляет мои цветы. Вот и все. Это сделал я сам. На портрет падало слишком резкое освещение.

— Слишком резкое? Вовсе нет, милый друг. Место тут удивительно подходящее. Я посмотрю.

И Холлуорд направился в тот конец комнаты.

Крик ужаса сорвался с уст Дориана Грея. Он встал между портретом и художником.

— Бэзил, — сказал он, побледнев, — вы его не увидите... Я не хочу этого.

— Я не увижу собственного произведения! Вы шутите? Почему я его не увижу? — спросил художник, рассмеявшись.

— Если вы только попытаетесь увидеть его, Бэзил, даю вам слово, что во всю мою жизнь я не скажу больше вам ни слова! Я говорю это самым серьезным образом, но не дам вам никакого объяснения и не надо у меня его спрашивать. Но имейте в виду: если вы только прикоснетесь к ширмам — все кончено между нами!

Холлуорд был поражен, точно громом. Он еще никогда не видел его таким. Молодой человек был бледен от гнева, руки его сжимались, и зрачки его глаз горели синим огнем. По телу его пробежал трепет.

— Дориан!

— Не говорите со мной!

— Но что случилось? Разумеется, я не взгляну на него, если вы не желаете, — сказал он с некоторой холодностью, поворачиваясь на каблуках и отходя к окну, — но мне это кажется таким нелепым, что я не могу видеть собственного произведения, в особенности, раз я его собираюсь выставить этой осенью в Париже. Мне, наверное, придется покрыть его лаком еще раз здесь же. Так мне он понадобится на несколько дней. Почему же я не могу видеть его сейчас?

— Выставить?.. Вы хотите его выставить? — вскричал Дориан Грей, охваченный странным испугом.

Свет, значит, узнает его секрет? Перед тайной его жизни будут звать посторонние? Это невозможно. Что-нибудь нужно сделать, — он сам не знал что, — но сделать это необходимо.

— Да! И я не думаю, что вы будете иметь что-нибудь против этого. Жорж Пети¹ хочет собрать лучшие из моих картин и устроить частную выставку на улице Сез, в первой неделе октября. Портрет будет в отсутствии только месяц.

¹ *Жорж Пети* — французский арт-дилер, ключевая фигура в парижском мире искусства и активный пропагандист импрессионистов. Его галерея на улице Сез была популярной альтернативой официальному Салону.

Надеюсь, что вы легко сможете без него обойтись на короткий срок. Да вы же и не будете это время в городе. И если вы его постоянно держите за ширмами, вам нечего так уж о нем беспокоиться.

Дориан провел рукою по лбу, покрытому капельками пота. Казалось, что какая-то страшная опасность угрожает ему.

— Месяц тому назад вы обещали мне, что никогда не выставите его, — воскликнул он. — Почему вы переменили намерение? У всех вас, называющих себя постоянными людьми, столько же капризов, как и у других. И разница только та, что ваши — не имеют никакого смысла. Вы не могли забыть ваше торжественного обещания мне, что ничто в мире не заставит вас выставить его. То же самое вы говорили Гарри!

Вдруг он остановился. Глаза его сверкнули. Он вспомнил, как однажды лорд Генри сказал ему полусерьезно, полусмеясь: «Если вам захочется провести любопытную четверть часа, спросите у Бэзила, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он рассказал. Для меня это было настоящим „откровением“. Да, и у Бэзила может быть свой секрет. Надо попытаться его узнать...»

— Бэзил, — сказал он, подойдя к нему и глядя ему прямо в глаза, — у каждого из нас есть секрет. Скажите мне свой, я вам скажу мой. По какой причине вы отказывались раньше выставлять портрет?

Живописец невольно вздрогнул.

— Дориан, если я вам его скажу, вы начнете смеяться надо мною и, пожалуй, станете меньше любить меня. Я не вынесу ни того, ни другого. Вы желаете, чтоб я не смотрел на ваш портрет, хорошо. Я всегда могу смотреть на вас самого. Если вы добиваетесь, чтобы мое лучшее произведение навсегда осталось неизвестным свету, я согласен... Дружба ваша дороже для меня, чем слава или известность.

— Нет, Бэзил, вы должны мне это сказать, — настойчиво произнес Дориан Грей. — Я полагаю, что имею право знать.

Чувство ужаса сменилось любопытством. Он твердо решил вывести секрет у Бэзила Холлуорда.

— Сядем, Дориан, — сказал взволнованно живописец. — Ответьте мне на вопрос. Заметили ли вы в портрете что-нибудь особенное? Такое, что не поразило вас сразу, но потом вдруг открылось вам?

— Бэзил! — крикнул молодой человек, стискивая ручки своего кресла трясущимися руками и уставясь на него горящими испуганными глазами.

— Я вижу, что вы заметили... Молчите... Сначала выслушайте меня. Дориан, с первой нашей встречи ваша личность получила необычайную власть надо мною. Моя душа, мозг, талант, — словом я весь стал словно одержим вами. Вы сделали для меня реальным воплощением того неведомого идеала, мысль о котором волнует нас, художников, как упоительный сон. Я вас любил. Я ревновал вас ко всякому, с кем бы вы ни заговорили, я хотел сохранить вас для себя одного, я бывал счастлив только когда находился с вами. Даже вдали от меня — вы все же оставались со мной силою моего искусства.

Правда, я скрывал тайну от вас. Вы ничего не поняли бы в ней. Да и я сам с трудом тут разбираюсь. Я понимал только, что видел совершенство, и весь мир показался мне чудным; быть может, слишком чудным, так как подобное преклонение гибельно. Страшно его испытывать, страшно его утратить. Проходила неделя за неделей, — я был поглощен вами всецело.

Затем началась новая фаза. Я нарисовал вас пастушком Парисом, облаченным в легкие доспехи, Адонисом, вооруженным луком, в охотничьей одежде. Увенчанный тяжелыми цветами лотоса, вы стояли на носу лодки Адриана, глядя куда-то за зеленый и грязноватый Нил. Вы склонялись над зеркальной поверхностью озера в греческом пейзаже, отражая в серебре молчаливых вод ваше собственное изображение.

Все это было тем, чем должно быть искусство — приближением, бессознательностью творчества, идеализацией... Однажды, в роковой для меня день, о котором я иной раз вспоминаю, я решил написать с вас роскошный портрет в вашем настоящем виде, не костюмируя на древний манер, а в платье и при обстановке вашей же эпохи. Подействовал ли на меня реализм самого сюжета или идея вашей личности, представшей предо мною в безыскусственном виде, этого я не могу сказать. Но знаю, что когда я работал, каждый мазок, каждое пятно краски, казалось, раскрывали мне мою тайну. Я испугался, что мое обожание сделается слишком явно для всех. Я почувствовал, Дориан, что сказал слишком много, — вложил в это слишком большую часть самого себя. Вот тогда-то я и решил, что никогда не позволю выставить этот портрет. Вы были немного раздосадованы моим решением. Но вы тогда и представить себе не могли, какой смысл оно для меня имело. Гарри, с которым я об этом заговорил, поднял меня на смех, но я не обратил на него никакого внимания. Когда картина была закончена и я взглянул на нее, то почувствовал, что я прав...

Но несколько дней после того, как она покинула мое ателье, с тех пор, что я освободился от нестерпимого обаяния ее присутствия, я сам себе показался безумным, вообразив, будто увидал в ней нечто большее, чем ваша красота, и нечто большее, чем способна выразить картина. Даже и сейчас я не в силах не чувствовать, как ошибочна мысль, что творческая страсть может быть отражена объектом этого творчества. Искусство более отвлеченно, чем мы воображаем. Краска и форма говорят нам о красках и форме, — вот и все. Часто мне кажется даже, что искусство гораздо более скрывает художника, чем обнаруживает его. Так что, получив из Парижа это предложение, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Я совершенно не ожидал отказа с вашей стороны. Но теперь вижу, что вы правы. Этот портрет не следует выставлять. Не сердитесь на меня, Дориан, за то, что я вам сказал. Я уже говорил Гарри, что вы созданы для обожания...

Дориан Грей глубоко вздохнул. На щеках его снова появился румянец, улыбка заиграла на его устах. Гроза миновала. На некоторое время он вне опасности.

Но он не мог не почувствовать бесконечной жалости к живописцу, который только что сделал ему такое странное признание, и внутренне он спрашивал себя о том, сможет ли когда-либо и над ним иметь такую власть личность какого-нибудь друга. Лорд Генри обладал очарованием опасного человека, но и только. Он слишком тонок и слишком циничен, чтобы можно было его глубоко полюбить. Может ли встретиться ему когда-нибудь тот, кто внушит к себе подобное чувство? Не это ли приберегает ему жизнь?..

— Мне кажется необычайно странным, Дориан, что вы это в самом деле увидели на портрете. Но вправду ли вы это увидели?

— Я увидел нечто, — ответил тот: — нечто крайне любопытное.

— Хорошо, допустите ли вы теперь, чтобы я на него взглянул?

Дориан покачал головой.

— Не следует требовать у меня этого, Бэзил. Я, безусловно, не могу вам его показать.

— Но когда-нибудь вы согласитесь же на это!

— Никогда!

— Может быть, вы и правы. Пока — до свидания, Дориан. Вы — единственный человек в моей жизни, который оказал влияние на мой талант. Всем, что я создал истинно прекрасного, я обязан вам. О, вы и не подозреваете, чего мне стоит сказать вам это!

— Мой милый Бэзил, — ответил Дориан. — Что же такое вы мне сказали? То, что вы мною даже чересчур восхищаетесь: так это вовсе и не комплимент!

— Это и не должно быть комплиментом. Это была исповедь. Теперь, когда я ее высказал, что-то словно ушло от меня. Быть может, не следует выражать своего обожания словами.

— Эта исповедь очень обманула мои ожидания.

— Но чего же вы ожидали, Дориан?.. Вы ничего другого не увидели на картине? Ничего другого там и не было.

— Нет, там нечего больше видеть. Почему вы спрашиваете? Но не следует говорить об обожании. Это — безумие. Мы с вами друзья, таковыми мы и останемся!

— У вас есть еще Гарри! — печально заметил художник.

— О! — расхохотался юноша. — Он, который проводит свои дни, говоря вещи невероятные, а вечера, делая вещи неправдоподобные! Жизнь как раз в моем вкусе. Сомневаюсь, однако, чтобы я обратился к Гарри в трудную минуту. Тогда я приду только к вам, Бэзил.

— Будете вы еще позировать для меня?

— Это невозможно!

— Вы губите этим мою жизнь, как художника, Дориан. Никто не встречается свой идеал дважды. И немногие — хотя бы раз.

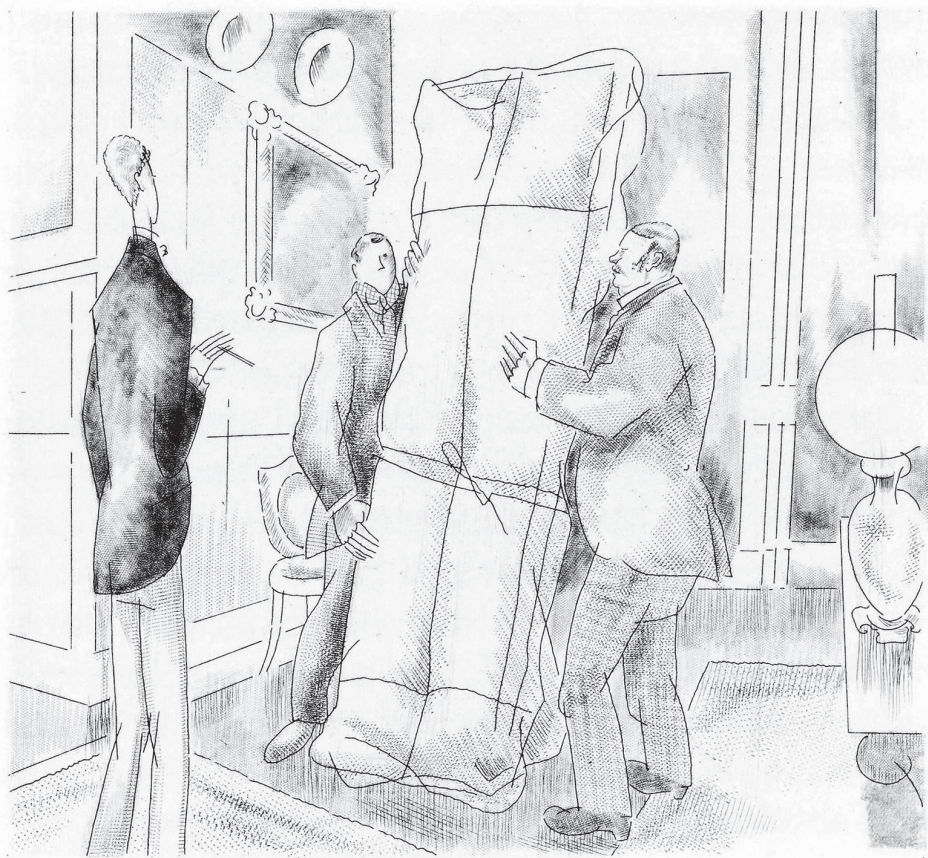
— Я ничего не могу вам объяснить, Бэзил! Я не должен больше позировать для вас. В портрете есть что-то роковое. Какая-то особая жизнь... Я просто буду приходить к вам пить чай. И это окажется не менее приятно.

— Даже еще более — для вас, боюсь я, — прошептал художник с грустью. — Итак — до свидания. Я огорчен тем, что вы мне не позволили взглянуть на портрет еще раз. Но тут уж ничего не поделаешь. Я вполне понимаю ваши чувства.

Когда Бэзил ушел, Дориан, наедине с собой, улыбнулся. Бедный Бэзил! Как он далек от настоящей причины! И как это вышло странно — вместо того, чтобы быть вынужденным открыть собственную тайну, он, почти случайно, сумел вырвать тайну у своего друга! Как много выяснила ему эта странная исповедь! Нелепые вспышки ревности у художника, его свирепое обожание, его сумасбродные восхваления, его странную сдержанность — теперь он понимал все и испытывал досаду. Ему казалось, что может выйти какая-нибудь трагедия из такой романической дружбы.

Он вздохнул, затем позвонил.

Портрет должен быть скрыт от всех, чего бы это ни стоило. Он не желает подвергать себя риску, что его кто-нибудь увидит. Было чистым безумием оставить его еще хоть на один час в комнате, куда имеют свободный доступ все его приятели.



ГЛАВА X

Когда вошел слуга, он пристально посмотрел на него, пытаясь решить, — имеет ли он настолько любопытства, чтобы вздумать заглянуть за ширмы. Но лакей был совершенно невозмутим, ожидая его приказаний. Дориан закурил папиросу, подошел к зеркалу и посмотрелся в него. Он мог видеть там совершенно ясно и физиономию Виктора, которая тоже в нем отражалась. Он увидел маску смиренной услужливости. С этой стороны, значит, нечего было опасаться. Однако, он решил, что и в данном случае лучше принять свои предосторожности.

Очень тихим тоном велел он прислать к нему домоправительницу и сейчас же сходить к рамочному фабриканту и попросить его немедленно прислать сюда двух человек.

Когда слуга уходил, ему показалось, что тот покосился на ширмы. Но, быть может, это лишь только его воображение?

Несколько минут спустя в библиотеку явилась миссис Лиф, в черном платье, митенках¹ по старой моде на морщинистых руках. Он спросил у нее ключ от классной комнаты.

¹ *Минетки* — перчатки без пальцев.

— От прежней классной комнаты, мистер Дориан? — воскликнула она. — Но ведь там полно пыли! Я должна велеть все привести в порядок и почистить прежде, чем вы туда пойдете. Вы теперь не можете пойти туда, мистер Дориан, право, не можете.

— Но мне вовсе не надо, чтобы она была почищена, Лиф. Мне нужен только ключ.

— Но, сэр, вы будете весь в паутине, если только войдете туда. Да ее лет пять не открывали, с того самого времени, как скончалась их светлость.

Он вздрогнул от этого напоминания о его дедушке, сохранив о нем отвратительные воспоминания.

— Пустяки, — сказал он. — Мне нужно только заглянуть в комнату, больше ничего. Дайте же мне ключ.

— Вот ключ, сэр, — ответила старая дама, перебирая всю связку торопливой рукой. — Вот он! Я снимала его с кольца... Полагаю — вы не намерены переселиться туда, сэр... Вам здесь так удобно.

— Да нет же, нет! — воскликнул он нетерпеливо. — Спасибо, Лиф, отлично!

Она осталась еще на минутку, распространившись насчет некоторых хозяйственных мелочей. Он вздохнул и предложил ей распоряжаться по собственному благоусмотрению. Она удалилась из комнаты, сияя от удовольствия.

Когда дверь за нею закрылась, Дориан сунул ключ в карман и осмотрелся кругом. Его взгляд остановился на большом пурпурном атласном покрывале, украшенном тяжелой золотой вышивкой великолепной венецианской работы восемнадцатого века, разысканном его дедом в каком-то монастыре возле Болоньи. Да, в него можно завернуть этот ужасный предмет. Возможно, что эта ткань служила уже погребальным покровом. Теперь она укроет собою вещь, которая носит в себе особое разложение, более страшное, чем разложение смерти, вещь, порождающую ужасы, но не могущую умереть. То, чем служат черви для трупа, тем будут для этого писаного изображения его, дориановы, грехи. Они уничтожат его красоту, изложут его прелесть.

Они его осквернят, покроют позором... Но образ его останется и будет жить вечно.

Он покраснел и одну минуту жалел, что не сказал Бэзилу истинной причины — почему он желает скрыть портрет. Бэзил бы помог ему противостоять влиянию лорда Генри и еще более тлетворному действию его собственного темперамента. Любовь, которую тот к нему питал, — а эта была действительно любовь, — носит на себе печать благородства и одухотворенности. Это не было простое телесное увлечение красотой, которое родится из физического чувства и умирает с его пресыщением. Это была любовь, которую знали Микеланджело и Монтень, Винкельман и сам Шекспир. Да, Бэзил мог его спасти!

Но теперь уже слишком поздно. Прошлое еще может быть уничтожено. Это может быть достигнуто раскаянием, отречением, забвением. Но будущее неизбежно. В нем живут страсти, которые найдут ужасный выход, и сны, которые погрузят его в сумрак своей извращенной действительности.

Он снял с кушетки, которую она окутывала, ткань из пурпура и золота и, набросив ее на руку, прошел за ширмы. Не стал ли портрет отвратительнее, чем был? Он нашел, что изменений больше нет, но неприятное впечатление от него еще усилилось. Золотистые кудри, синие глаза, красные розы на устах — все осталось. Изменилось только выражение. Жестокость его была ужасна. В сравнении с укором и угрозой, которые исходили от портрета, все упреки Бэзила за Сибил Вэйн казались пустяками! О, какими незначительными пустяками! С этого полотна на него смотрела его душа и осуждала его.

Выражение боли исказило его черты, и он набросил на картину роскошный саван. В то же мгновение раздался стук в дверь, и он вышел из-за ширмы как раз в ту минуту, когда входил слуга.

— От рамочного фабриканта, сударь.

Ему показалось, что следовало бы сначала удалить этого человека. Не надо, чтобы он знал, куда спрятана картина. В нем есть что-то скрытное, и глаза его беспокойно бегают. Усевшись за стол, он написал несколько слов лорду Генри, прося его прислать ему что-нибудь почитать и напоминая, что они должны встретиться в четверть девятого этим вечером.

— Подождите ответа, — сказал он слуге, протянув письмо, — и велите людям войти.

Две минуты спустя снова постучали в дверь, и вошел сам мистер Хоббард, знаменитый фабрикант рамок в Саут-Одли-стрит¹ со своим молодым, строптивого вида помощником. Мистер Хоббард был цветущий маленький человек с рыжими бакенбардами, преклонение которого пред искусством сильно умерялось денежной несостоятельностью артистов, имевших с ним дело. Обыкновенно он не покидал своего магазина. Он предпочитал, чтобы приходили к нему, но всегда делал исключение для Дориана Грея. В нем было нечто равно очаровывавшее всех. Уже видеть его было приятно.

— Чем могу вам служить, мистер Грей? — спросил он, потирая свои мясистые, веснушчатые руки. — Я счел своим долгом иметь честь спросить вас об этом лично. У меня как раз сейчас есть рамка замечательной красоты, находка, сделанная мною на одном аукционе. Старая Флорентинская. Вероятно, из Фонтхилла². Чудесно подойдет к какому-нибудь религиозному сюжету, мистер Грей.

— Мне очень досадно, что вы побеспокоились зайти сами, мистер Хоббард. Я, разумеется, приду посмотреть вашу рамку, хотя в данный момент все не состою любителем религиозной живописи. Но сегодня я только хотел, чтобы вынесли одну картину в верхний этаж дома. Она довольно-таки тяжела, и я думал попросить у вас двух людей для этого.

¹ *Саут-Одли-стрит* — главная торговая улица в Мэйфэр, в Лондоне.

² *Фонтхилл* — Фонтхиллское аббатство, также известное как каприз Бекфорда — огромный дом в готическом вкусе, построенный в начале XIX века в английской деревне Фонтхилл-Гиффорта, графство Уилтшир, по инициативе автора готических романов Уильяма Бекфорда.

— Никакого беспокойства, мистер Грей. Всегда счастлив быть вам полезен. Где находится это произведение искусства?

— Вот оно, — ответил Дориан, сдвигая ширмы. — Можете ли вы отнести это так, как оно есть, с этим покрывалом? Я не хочу, чтобы его как-нибудь испортили при подъеме.

— Это очень легко, сэр, — сказал знаменитый рамочник, принимаясь с помощью своего ученика снимать картину с длинной медной цепи, на которой она висела. — Куда мы должны ее снести, мистер Грей?

— Я вам покажу дорогу, мистер Хоббард, — следуйте за мной; хотя, пожалуй, лучше вы идите впереди. Боюсь, что это очень высоко. Мы пойдем по парадной лестнице, она шире.

Он раскрыл дверь, они вышли в переднюю и стали подниматься. Украшения рамки делали картину очень объемистой, и время от времени, наперекор почтительным возражениям Хоббарда, который, как истый купец, не мог без неудовольствия видеть светского человека за чем-нибудь полезным, Дориан прилагал и свою руку к их ноше.

— Порядочная тяжесть, сэр, — сказал маленький человечек, совсем запыхавшийся, когда они добрались до последней площадки. Он вытер платком лысый лоб.

— Да, я и сам нахожу, что ужасная тяжесть, — прошептал Дориан, открывая дверь комнаты, которая должна была уберечь странную тайну его жизни и скрыть от людских взоров его душу.

Он не входил в эту комнату более четырех лет, с того времени, когда он сначала играл в ней, будучи ребенком, и учился, сделавшись постарше. Эта была большая, красивая зала, построенная по приказанию последнего лорда Келсо именно для его внука, которого, за его сходство с матерью и по другим причинам, он ненавидел и держал подальше от себя. Дориану показалось, что она мало изменилась. Вот он — поместительный итальянский сундук (cassone) с его потускневшей золоченой резьбой, своими фантастически разрисованными панно, в котором он так часто прятался, будучи ребенком. Вот и полки из лакированного дерева, нагруженные учебниками с покоробившимися страницами. За ними на стене висел все тот же истрепанный фламандский гобелен, на котором вылинявшие король и королева играют в саду в шашки, в то время как вереница сокольников охотников проезжает в глубине, держа на рукавицах своих птиц с надетыми на них клобучками. Как он помнит все это! Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, когда он осматривался вокруг. Он подумал о беспорочной чистоте своего детства, и ему показалось ужасным, что роковой портрет должен быть скрыт именно здесь. Как мало он мог бы представить себе в те далекие дни, что ему готовит жизнь в будущем!

Но в доме не было другой столь же удаленной от нескромных взоров комнаты, как эта. Ключ от нее у него, и никто решительно сюда не сможет проникнуть. Под своим шелковым саваном, лицо, написанное на полотне, может

теперь делаться скотоподобным, обрюзглым, чудовищным. Что за важность! Никто его не увидит. Даже и сам он не захочет на него смотреть...

С какой стати следить за омерзительным разложением собственной души! Он сохранит свою молодость, и этого довольно,

Да и, наконец, характер его может улучшиться. Тогда исчезла бы и причина, почему его будущее должно быть также полно позора. В жизни он еще может встретить любовь, которая очистит его и освободит от грехов, бродящих уже в его душе и в его теле. Это — странные, неизъяснимые грехи, самая таинственность которых придает им утонченное очарование. Быть может, в один прекрасный день жестокое выражение покинет эти румяные чувственные уста, и тогда он может показать всему миру произведение Бэзила Холлуорда.

Но, нет, это невозможно! Час за часом, неделя за неделей — написанное лицо будет стареть. Оно еще может избежать омерзительности порока, но омерзительности старости ему не избежать. Щеки станут впалыми и обвислыми, глаза окружатся желтыми гусиными лапками, этой ужасной печатью возраста, волосы потеряют свой блеск, рот раскроется, распустится и примет то грубое и смешное выражение, которое замечается у стариков, шея сморщится, на руках выступят толстые синие жилы, тело сгорбится как у его деда, который был так жесток с ним в его детстве... Картина должна быть спрятана от людских взоров. Иначе не может быть.

— Несите, пожалуйста, ее сюда, мистер Хоббард, — с трудом вымолвил он, оборачиваясь. — Мне жаль, что я вас так долго задержал... Я задумался.

— Я рад был отдохнуть, мистер Грей, — сказал рамочник, который еще не отдышался. — Куда вам ее поставить?

— О, это все равно. Вот здесь. Так хорошо. Вешать нет надобности. Приклоните ее просто к стене.

— Могу я взглянуть на это произведение искусства, сэр?

Дориан вздрогнул.

— Оно не может заинтересовать вас, мистер Хоббард, — сказал он, не спуская с него глаз.

Он был готов прыгнуть на него, пригвоздить его к месту, если он только попытается приподнять роскошное покрывало, прячущее за собой тайну его жизни.

— Я не желаю беспокоить вас дольше. Я вам очень обязан, что вы были так добры прийти ко мне.

— Что вы, что вы, мистер Грей! Всегда к вашим услугам!

Мистер Хоббард живо спустился с лестницы вместе со своим помощником, который смотрел на Дориана с боязливым изумлением на грубом, нескладном лице. Никогда в жизни не видел он подобной невероятной красоты.

Когда смолк шум их шагов, Дориан запер дверь и сунул ключ в карман. Он был спасен. Никто теперь не увидит ужасной картины. Только его собственные глаза могут смотреть на этот позор.

Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже более пяти часов и чай уже подан. На маленьком столике из черного душистого дерева, изящно инкрустированного перламутром, — подарке леди Рэдли, жены его опекуна, очаровательной профессиональной больной, все зимы проводящей в Каире, — лежала записочка от лорда Генри и книга в желтой обложке с несколько потрепанными краями. На чайном подносе находился и номер третьего издания Saint-James Gazette. Значит, Виктор вернулся. Он спросил себя, не мог ли он встретиться с людьми в передней, когда они уходили, и не вздумал ли выведывать — что они здесь делали? Наверное, он заметил отсутствие картины и заметил это уже, когда принес чай. Ширмы были еще не там, где прежде, и на стене виднелось пустое место. Может быть, он поймает его когда-нибудь прокрадывающимся наверх и пробуящим открыть дверь комнаты. Ужасно иметь шпиона в своем собственном доме. Он слышал рассказы о богатых людях, всю жизнь эксплуатируемых слугой, который прочитал письмо, подслушал разговор, подобрал визитную карточку с адресом или нашел под подушкой увядший цветок, обрывок кружева.

Он вздохнул, налил себе чаю и развернул записку лорда Генри. Тот ему писал, что посылает книгу, которая, он надеется, его заинтересует, и что он будет в клубе в четверть десятого.

Затем он небрежно взял Saint-James Gazette и пробежал ее. Пометка красным карандашом на пятой странице привлекла его внимание. Он внимательно прочел следующие строки:

«Следствие по поводу одной актрисы.

Сегодня утром в Белль Таверне, на Хокстон Роуд, мистером Денби, коронером округа, было произведено следствие о смерти Сибил Вэйн, молодой актрисы, недавно приглашенной в Королевский театр, в Холборне. Полагают, что смерть произошла по причине несчастного случая. Большое участие вызывала мать покойной, которая была страшно взволнована, давая свои показания и слушающая таковые д-ра Биррела, выдавшего свидетельство о смерти ее дочери».

Дориан сделался мрачен, разорвал лист и принялся расхаживать по комнате, наступая на эти клочки.

О! Как это все безобразно! И безобразие вещей делает их поистине страшными. Он немного рассердился на лорда Генри — зачем он ему прислал этот отчет. И еще отметил его красным карандашом — это возмутительно! Мог прочесть Виктор. Он для этого достаточно знает английский.

Быть может, он, прочитав, даже заподозрил уже что-нибудь? Положим, что же из этого? Какое отношение между Дорианом Греем и смертью Сибил Вэйн? Нечего бояться. Дориан Грей ее не убивал.

Его глаза упали на желтую книгу¹, которую ему прислал лорд Генри. Он заинтересовался, — что это такое, и придвинулся к маленькой восьмиугольной подставке жемчужного цвета, которая всегда казалась ему работой странных

¹ ...на желтую книгу — см. примеч. на стр. 24

египетских пчел, строящих свои соты из серебра, взял томик, уселся в кресло и начал его перелистывать. Через минуту он углубился в книжку совершенно. Это была самая странная вещь, какую он когда-либо читал. Ему казалось, что под нежные звуки флейты, в роскошных одеяниях, все грехи мира проходят перед ним безмолвной вереницей.

То, о чем он смутно грезил, облакалось плотью на его глазах. То, чего он даже представить себе не мог, постепенно раскрывалось ему.

Это был роман без интриги, с единственным действующим лицом: простой психологический портрет одного парижанина, который заполнил свою жизнь тем, что пробовал осуществить в девятнадцатом веке все страсти и все умственные направления прежних веков и повторить на себе все духовные состояния, пережитые миром, любя за их несложную искусственность, те отращения, что люди безрассудно зовут добродетелями, столько же, сколько и естественные возмущения против них, называемые смиренниками грехом. Стиль ее был тот своеобразный чеканный стиль, живой и туманный одновременно, полный жаргонных выражений и архаизмов, технических выражений и тщательно отделанных фраз, который характеризует работу тонких художников французской школы символистов. Там попадались метафоры, чудовищные, словно орхидеи, и столь же нежно расцвеченные. Жизнь чувств описывалась там в терминах мистической философии. По временам совершенно нельзя было различить, что это — духовные ли экстазы средневекового святого или нездоровая исповедь современного грешника. Тяжелый аромат ладана исходил от этих страниц и туманил мозг. Простой ритм фраз, странно однообразная музыка их, прерываемая запутанными припевами и намеренно повторяемая — вызывали в душе молодого человека, по мере того, что он переходил от главы к главе, род сонной мечтательности, болезненных грез, и он не замечал, что день догорает и сгущаются тени. Безоблачное медно-зеленое небо, пронизанное одинокой звездой, заглядывало в окна. И он читал при этом неясном свете, пока мог. Только после того, как слуга несколько раз напомнил ему о позднем времени, он встал, пошел в соседнюю комнату, положил книгу на флорентийский столик, всегда стоявший возле его кровати, и оделся к обеду.

Было около девяти часов, когда он явился в клуб, где уже застал лорда Генри, который сидел в зале один и, видимо, скучал.

— Мне очень жаль, Гарри! — воскликнул он, обращаясь к нему, — но это всецело ваша вина. Книга, которую вы мне прислали, так заняла меня, что я забыл, который час!

— Я так и думал, что она вам понравится, — сказал его приятель, поднимаясь.

— Я вовсе не говорю, что она мне нравится, а что она меня заинтересовала: это большая разница.

— Ага, так вы уже открыли это! — пробормотал лорд Генри.

И они направились в столовую ужинать.



ГЛАВА XI

Долгие годы Дориан Грей не мог высвободиться из-под властного ига этой книги. Правильнее, пожалуй, было бы сказать, что он и не помышлял вовсе высвободиться. Он выписал из Парижа девять экземпляров ее первого издания с большими полями и заказал к ним переплеты различного цвета, соответствовавшие его часто меняющимся настроениям и своеобразной прихотливости характера, с которым, казалось, он иногда совершенно уже не мог совладать и сам.

Герой книги, удивительный молодой парижанин, в котором так странно смешивались романтические и научные элементы, стал как бы прообразом его самого, а книга эта казалась ему историей его собственной жизни, написанной раньше, чем он ее пережил сам.

В некоторых отношениях он был счастливее героя этого романа. Он не знал, — и никогда не имел ни малейшего случая узнать, — этого неопределенного и уродливого страха зеркал, полированных металлических поверхностей, неподвижной воды, который с такого раннего возраста мучил

молодого парижанина, преждевременно утратившего красоту, бывшую раньше поразительной.

С почти жестокой радостью — не примешивается ли жестокость ко всем нашим радостям и, конечно, наслаждениям — читал он последнюю часть книги, трагическое и несколько напыщенное описание горя и отчаянья человека, который лично теряет то, что в людях и во всем мире считает самым драгоценным. Его дивная красота, которая так околдовала Бэзила Холлуорда и многих других, не покинула его. Даже те, до которых доходили о нем самые необыкновенные рассказы, — время от времени по Лондону распространялись странные слухи об его образе жизни, служившие темой для сплетен в клубах, — и те, видя его, не могли верить его падению. Он всегда казался существом, стоящим выше земной грязи. Люди, говорившие непристойности, умолкали, когда он входил. В непорочности его облика было нечто, заставлявшее их остановиться. Одно его присутствие навевало на них воспоминание о их прежней чистоте, которую они потеряли. Они восторгались тем, что такое очаровательное и изящное существо могло избежать клейма своего времени, грязного и чувственного.

Часто, возвращаясь домой после тех таинственных и продолжительных исчезновений, которые возбуждали такие странные толки между его друзьями или теми, кто считал себя таковыми, он, крадучись, пробирался наверх, к запертой комнате, отворял ее ключом, который всегда имел при себе, и там, с зеркалом в руках, против картины Бэзила Холлуорда, он сравнивал постаревшее и подурневшее лицо, нарисованное на полотне, со своим собственным лицом, улыбавшимся ему из глубины стекла... Резкость контраста лишь обостряла его наслаждение. Он все больше и больше влюблялся в свою красоту, идя ко все большему и большему разложению своей души.

Он тщательно, а иногда даже с чудовищным и страшным опьянением, рассматривал омерзительные знаки, безобразившие этот морщинистый лоб, расплывающиеся вокруг толстых, чувственных губ, и спрашивал себя — какие из них ужаснее: те ли, что накладывает порок, или те, что от возраста. Он прикладывал свои белые руки к огрубевшим и раздувшимся рукам портрета и улыбался... Он издевался над этим обезображенным и изношенным телом.

Однако, иногда по вечерам, отдыхая от возбуждения в своей тонко надушенной комнате или в вонючей каморке сомнительной маленькой таверны возле Доков, куда он привык частенько заглядывать, переодетый и под фальшивым именем, — он начинал думать о гибели, которую он навлекает на свою душу, с отчаяньем, тем более мучительным, что оно было исключительно эгоистично. Но эти минуты бывали редки.

Любопытство к жизни, которое лорд Генри вдохнул в него впервые, когда они сидели в саду их друга живописца, казалось, возрастало по мере удовлетворения.

Он не прерывал отношений со светом. Раз или два в месяц зимою и каждую неделю в продолжение сезона он открывал для приглашенных двери

своего роскошного дома, и самые знаменитые музыканты очаровывали его гостей чудесами своего искусства.

Его маленькие обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, заставляли о себе говорить как из-за тщательного подбора и высокого положения тех, кто бывал на них приглашаем, так и из-за массы вкуса в убранстве стола с изысканной симфонией редких цветов, вышитыми скатертями и старинной золотой и серебряной посудой.

Многие молодые люди видели или думали, что видят в Дориане Грее истинное воплощение типа, о котором они некогда грезили в Итоне и Оксфорде, типа, соединяющего в себе настоящую культурность просвещенного человека с изящным достоинством и хорошими манерами светского льва. Он им представлялся одним из тех, о которых говорит Данте, что они «желают достигнуть совершенства через обоготворение красоты». Как Готье, «он принадлежал к числу тех, для которых видимый мир существует».

Действительно, жизнь для него была первым и величайшим из искусств, таким, для которого все остальные были только подготовкой. Мода, которая свои фантазии делает общеобязательными, и дендизм — эти своеобразные попытки провозгласить вечное господство Красоты, — конечно, привлекали его внимание. Его манера одеваться и держать себя, которую время от времени он подчеркивал, имела заметное влияние на молодых франтов Мейфера, клубов на Пэлл-Мэлл¹, старательно подражавших ему, пробуя воспроизводить случайное очарование его изысканности, которая ему самому казалась обстоятельством лишь второстепенным и ничтожным. Но, хотя он готов был занять положение, предоставленное ему немедленно по вступлении в жизнь, и хотя он находил своеобразное удовольствие в том, чтобы стать для Лондона наших дней тем, чем для императорского Рима был автор Сатирикона², он, в глубине своего сердца, надеялся стать чем-нибудь большим, чем простой *Arbiter Elegantiarum*³, с которым советуются, как носить драгоценность, как завязывать бант галстука или как обращаться с палкой.

Он желал выработать некоторую новую схему жизни, у которой будут своя разумная философия, свои определенные принципы и которая найдет свое высшее осуществление в одухотворении чувственности.

¹ *Пэлл-Мэлл* — центральная улица Сент-Джеймского квартала в Вестминстере. Всю южную сторону Пэлл-Мэлл занимают Сент-Джеймский дворец и другие резиденции членов королевской фамилии. Получила свое название в XVII в. от проводившихся перед королевской резиденцией игр в пэлл-мэлл (предшественник крокета). В XIX в. все главные клубы английских джентльменов проводили заседания в особняках на Пэлл-Мэлл.

² *Автор Сатирикона* — Гай Петроний Арбитр. Тацит сообщает, что Петроний составил себе репутацию праздностью и потаканием своим прихотям, что воспринималось окружающими не как развращенность, а как особая изысканность. Поэтому самые вольные высказывания и поступки Петрония воспринимались как должное, и в качестве личного друга Нерона он сделался его главным экспертом в вопросах вкуса и этикета (*arbiter elegantiae*).

³ *Arbiter Elegantiarum* — законодатель мод.

Култ чувственности был по справедливости часто осуждаем: люди испытывали инстинктивный ужас перед страстями и ощущениями, которые кажутся сильнее их самих и о которых известно, что они разделяют их с существами менее совершенно организованными.

Но Дориану Грею казалось, что истинная природа чувств еще никогда не была понята, что люди остались грубыми и дикими, потому что свет старался морить голодом эти чувства для их порабощения или уничтожить их путем страдания, вместо того, чтобы побудить их сделаться элементами новой духовности, преобладающим свойством которой стал бы тонкий инстинкт красоты. Когда он представлял себе человека на протяжении истории, им овладевало чувство потери... Сколько побежденных и во имя каких ничтожных целей! Эти безумные чудовищные уклонения, формы невероятных самоистязаний и самоотречений, начало которых — страх, а результат — падение бесконечно более ужасное, чем то, которого они, в неведении своем, стремились избежать, так как Природа в своей чудесной иронии заставляла селиться отшельника около диких зверей пустыни, а пустыннонику — давала в спутники жизни животных. Возможно, что, как предсказывал лорд Генри, явится новый гедонизм, который пересоздаст жизнь и выведет ее из-под гнета грубого и некрасивого пуританства, возродившегося в наши дни. Он будет делом ума, конечно. Не должна быть допустима никакая теория, никакая система, предписывающая жертву каким бы то ни было опытом страсти. Целью его должен быть самый опыт, а не плоды последнего, каковы бы они ни были, сладкие или горькие. Аскетизм, убивающий чувства, не должен быть более уважаем, чем разнузданность, которая их притупляет. Нужно научить человека сосредоточивать свою волю на мгновениях жизни, которая и сама — только мгновение.

Среди нас мало есть таких, — кто не просыпался бы до зари после тех безгрешных ночей, что заставляют почти влюбиться в смерть, или после одной из тех ночей ужаса и уродливой радости, когда через клеточки нашего мозга проносятся фантомы более страшные, чем сама действительность, одушевленные той бешеной жизнью, которая свойственна всему уродливому и придает такую упорную живучесть готическому искусству — искусству преимущественно тех, чей ум поражен болезнью мечтательности.

Постепенно белые пальцы проскальзывают между занавесей, которые как бы колеблются... Мрачные фантастические тени, притаившись, прячутся по углам комнаты.

А снаружи — просыпаются птицы в листве, трудовой народ отправляется на работу под вздохи и завыванья ветра, прилетающего с холмов и тихо блуждающего вокруг молчаливого дома, как будто он боится разбудить спящих, которым трудно было призвать к себе сон из его пурпурного убежища.

Поднимается покрывало за покрывалом из тончайшего газа, и неуловимо предметы начинают принимать свои формы и цвета, а мы подкарауливаем, как заря переделывает мир по его исконному образцу.

Бледным зеркалом снова возвращается их отражательная жизнь: потушенные свечи стоят там, где мы их оставили, около них лежит полуразрезанная книга, которую мы читаем, письмо, которое мы боимся прочесть или слишком часто читаем... Нам кажется, что ничто не изменилось. Из нереальных теней ночи воскресает знакомая нам действительность. Мы должны продолжать ее с того места, на котором оставили. И тогда мы проникаемся ужасным чувством непрерывности траты наших сил только в пределах утомительного круга стереотипных привычек или, быть может, диким желанием, чтобы в одно прекрасное утро глаза наши раскрылись на мир, который во тьме ночной был заново переделан для нашего удовольствия — на предметы, принявшие новую форму и окраску, мир измененный, исполненный новых тайн, мир, в котором прошлое будет занимать мало места или его вообще не будет иметь, мир без преемственности даже в сознательной области долга или сожалений: ведь и у вспоминаемых радостей есть своя горечь, у наслаждений — своя боль.

Создание таких миров и казалось Дориану одной из целей или, вернее, единственной целью жизни. В погоне за ощущениями это — нечто восхитительно новое, обладающее элементами странности, столь существенными в романе. Он усвоит те направления мысли, которые, — он знал, — чужды его природе, подчинится их оболостительному влиянию и, уловив таким образом их оттенок и удовлетворив свое интеллектуальное любопытство, отбросит их с тем скептическим равнодушием, которое несовместимо с истинной горячностью темперамента и даже, согласно некоторым современным психологам, является необходимым его условием.

Одно время о нем ходили слухи, что он собирается перейти в католицизм. И действительно, католическая обрядность всегда имела для него большую привлекательность. Каждодневная жертва, в сущности, гораздо более реально страшная, чем все жертвоприношения древнего мира, привлекала его своим великолепным презрением к свидетельству чувств, первобытной простотой своих начал и вечным пафосом человеческой Трагедии, которую она хочет символизировать.

Он любил преклонять колени на мраморные плиты, смотреть на священника в жесткой расцвеченной ризе, когда он медленно раздвигает белыми руками завесу алтаря или поднимает чашу, украшенную драгоценностями, с бледными облатками, которые поистине могут иногда показаться *panis caelestis*¹, хлебом ангелов, или, облаченный в одеяние Страстей Господних, преломляет над чашей Святые Дары, бия себя в перси в знак сокрушения о грехах своих. Дымящиеся кадила, медленно колеблемые в воздухе детьми, одетыми в пурпур и кружева, нравились ему бесконечно. И, уходя, он в удивлении останавливался перед темными исповедальнями и простаивал

¹ *Panis caelestis* — дословно с латыни — хлеб небесный. Так называлась один из трудов иезуитского священника XVII в. Венцеля Швертфера.

в тени, прислушиваясь к тому, как через потертую решетку женщины и мужчины рассказывают истинную историю своей жизни.

Но он далек был от того, чтобы впасть в ошибку — затормозить свое интеллектуальное развитие формальным принятием какого-нибудь верования или системы, и вовсе не считал за окончательное жилище гостиницу, пригодную только для того, чтобы провести в ней ночь или несколько часов ее, когда нет ни луны, ни звезд.

Мистицизм с его чудодейственным свойством облекать необычайностью самые обыкновенные вещи, с утонченной противоречивостью, которая его всегда сопровождает, волновал его некоторое время...

Ненадолго он имел склонность к материалистическим и дарвинистским немецким доктринам и находил странное удовольствие в том, чтобы видеть вместилище мыслей и страстей в какой-нибудь жемчужной клеточке мозга или в каком-нибудь белом нерве, испытывая удовольствие от мысли об абсолютной зависимости духа от физических условий — больных или здоровых, нормальных или извращенных.

Но, как уже было сказано, никакая теория о жизни не имела в его глазах значения по сравнению с самой жизнью. Он глубоко сознавал бесполезность рассудочных выкладок, когда они не сопровождаются опытом и действием. Он понимал, что чувства, как и душа, имеют свои тайны, раскрывающиеся в духе.

Он принялся изучать ароматы, тайны их добывания, перегоняя сам сильно пахучие масла и сжигая душистые смолы, привозимые с Востока. Он нашел, что нет такого настроения духа, которое не имело бы отголоска в чувственной жизни, и попытался открыть их истинное взаимоотношение. Так, запах ладана казался ему запахом мистическим, а серая амбра — возбуждающей страсти. В фиалке что-то напоминает об умершей любви, мускус делает безумными, а чампак¹ извращает воображение.

Он часто пытался установить психологию запахов и ознакомиться с разнообразными влияниями сладко-пахучих корней, цветов, осыпанных благовонной пылью, ароматических бальзамов, темного душистого дерева, индийского нарда, который делает больным, говения², которая одурманивает людей, и алоэ, которое, как говорят, прогоняет меланхолию.

По временам, он всецело отдавался музыке, и тогда в длинной комнате с решетчатыми окнами, потолком, расписанным киноварью и золотом, стенами, покрытыми зеленовато-оливковым лаком, он давал странные концерты, где бешеные цыгане производили дикую музыку на своих маленьких гитарах, или серьезные тунисцы, задрапированные в желтое, исторгали звуки из натянутых струн чудовищных лютней в то время, как ухмыляющиеся негры однообразно ударяли в медные литавры, а сидящие на корточках на красных циновках

¹ Чампак — растение семейства магнолиевых, масло из цветов которого используется в парфюмерии.

² Говения или Конфетное дерево, его плодоножки по вкусу напоминают изюм.

худощавые индусы в тюрбанах дули в длинные тростниковые или бронзовые дудки, очаровывая или притворяясь, будто очаровывают громадных головастых змей или отвратительных рогатых ехидн.

Резкие переходы и кричащие диссонансы этой варварской музыки возбудили его, когда изящество Шуберта, красивая грусть Шопена и небесная гармония Бетховена не могли уже больше его тронуть.

Он собирал со всех концов света самые странные музыкальные инструменты, какие только можно найти, даже те, что были найдены в гробницах вымерших народов или у каких-нибудь диких племен, уцелевших от нашествия западной цивилизации, и любил прикасаться к ним, пробовать их.

Он обладал таинственным «джурупарисом»¹ индейцев Рио-Негро, который женщинам запрещено видеть и на который даже юноши не должны смотреть, не подвергнувшись сначала посту и бичеванию; глиняными кувшинами перуанцев, из которых можно извлечь звуки, похожие на пронзительный птичий крик; флейтами из человеческих костей, подобными тем, что слышал в Чили Алонсо де Овалле²; зелеными певучими камнями, находимыми возле Куско, издающими тона странной приятности.

Он имел расписные тыквенные сосуды, наполненные камнями, звеневшие когда их трясут; длинный кларин мексиканцев, в который музыкант должен не дуть, а втягивать из него воздух; громкий тюрэ амазонских племен, в который звонит стража, сидящая целый день на деревьях, и который слышно, как уверяют, на три мили; тепанацтли с двумя звонкими деревянными языками, в который бьют тростью, смазанной гуммиластиком³, добываемым из молочного сока растений; ацтекские колокола «йотль», соединенные в гроздь; большой цилиндрический барабан с натянутой на него кожей больших змей, вроде тех, что видел Берналь Диас⁴, когда вошел с Кортесом в мексиканский храм и чьи жалобные звуки он поразительно описал. Фантастический характер этих инструментов его пленял, и он испытывал странное удовлетворение от мысли, что и у искусства, подобно природе, имеются свои чудовища, вещи с звериными формами и омерзительными голосами.

¹ *Джурупари* — Бог тьмы и Зла, породивший всех демонов в культах коренных народов Южной Америки. На момент прибытия первых европейцев на континент (XVI в.) Джурупари был самым распространенным культом. Чтобы бороться с ним, католические миссионеры начали связывать Джурупари с христианским дьяволом. Джурупари называется и сам обряд, посвященный ему. У индейцев северо-запада Амазонки в этом обряде используются духовые инструменты — огромные "флейты", а участвовать в нем могут только мужчины.

² *Алонсо де Овалле* — чилийский священник-иезуит XVII в., историк, летописец, Генерал капитанства Чили.

³ *Гуммиластик* — каучук.

⁴ *Берналь Диас дель Кастильо* — испанский конкистадор, участник экспедиции Кортеса. Автор хроники „Правдивая история завоевания Новой Испании“.

Однако, спустя некоторое время, все это ему надоедало, и он шел в свою ложу в Опере, один или с лордом Генри, слушал в блаженном экстазе Тангейзера, видя в увертюре этого великого произведения как бы прелюдию к трагедии своей собственной души.

Затем у него появилась новая прихоть — драгоценности, и он появился однажды на балу в костюме Анн де Жуайез¹, адмирала Франции, осыпанным пятьюстами шестьюдесятью жемчужинами. Этот вкус длился у него долгие годы; можно даже думать, что он никогда и не покидал его.

Он часто проводил целые дни, перебирая и раскладывая по ларцам различные камни, которые он собрал: оливково-зеленый хризоберилл, который делается красным при свете лампы, цимофан² со своими серебряными жилками, фиштакхового цвета перидот, розовые и желтые топазы, огненно-пурпурный карбункул с горящими четырехгранными звездами, пламенно-красный камень венисы³, оранжевые и лиловатые шпинели и аметисты с переливами рубина и сапфира.

Он любил красное золото солнечного камня, жемчужную белизну лунного камня и дробящуюся радугу молочного опала. Он выписал из Амстердама три изумруда необычайной величины и несравненной красоты цвета, и у него была бирюза «*de la vieille roche*»⁴, предмет зависти всех знатоков.

Он познакомился с удивительными повествованиями о камнях. В «*Clericalis Disciplina*»⁵ Альфонсо говорится об одной змее с глазами из настоящего гиацинта⁶, и в романтической истории Александра повествуется, что победитель при Эмаусе нашел в долине Иордана змей с гребнем из изумрудов вдоль спины.

Филострат⁷ рассказывает, что в мозгу у дракона есть красный камень, и «если поставить перед ним золотые письма и пурпурную одежду», можно усыпить чудовище и убить его.

По словам великого алхимика Петра Бонифация, алмаз может сделать человека невидимкой, а индийский агат дает ему красноречие. Сердолик утишает гнев, гиацинт посылает сон, а аметист прогоняет винные пары. Гранат

¹ *Анн де Жуайез* — один из любимейших миньонов короля Генриха III. В возрасте 21 года он был назначен адмиралом Франции. Из описания свадьбы Жуайеза: „Одежды Короля и Жениха были похожи, так покрыты вышивкой и драгоценными камнями, что невозможно было их оценить“.

² *Цимофан* — в переводе: подобный волне. Разновидность хризоберилла с оптическим эффектом кошачьего глаза.

³ *Венис* — разновидность граната.

⁴ Во французском языке была бирюза *de la vieille roche* (благородной старины) — настоящая бирюза и бирюза *de nouvelle roche* (нового времени) — так называли одонтолит, окаменелые бивни бирюзового цвета.

⁵ „*Clericalis Disciplina*“ — наставления для клириков (лат.).

⁶ *Гиацинт* — в древности разновидность сапфира, сейчас так называют желтые, коричневые и красные цирконы.

⁷ *Флавий Филострат II* (170–247) — античный писатель, цитата из книги «Жизнь Аполлония Тианского».

обращает в бегство демонов, а *hydropicos*¹ отнимает у луны свет. Селенит прибывает и убывает с луной и *meloseus*², который помогает открывать воров, тускнеет только от крови козленка.

Леонардус Камиллус³ видел белый камень, найденный в мозгу только что убитой жабы, который служил противоядием против некоторых отрав. Безоар⁴, находящийся в сердце антилопы, чудодейственно исцеляет чуму. По Демокриту⁵ — аспилат, находящийся в гнездах аравийских птиц, предохраняет своего обладателя от огня.

Цейлонский король однажды ехал верхом по городу с огромным рубином в руке на торжество своего коронавания. Ворота дворца священника Иоанна⁶ «были сделаны из сардоникса, со вставленным в них рогом особой змеи, и не пропускали никого, кто имел при себе яд». На шпиле «виднелись два золотых яблока с вправленными в них двумя карбункулами», чтобы золото светилось днем, а карбункулы — ночью.

В старинном романе Лоджа⁷ «Американская жемчужина» рассказывается, что в комнате королевы можно было видеть «изображения всех

¹ *Hydropicos* — гидрофан, или «Око мира», разновидность опала.

² *Meloseus*, который помогает открывать воров — из книги „Альберт Великий“ 1782 г., выпущенной по рукописи XIV века о реальных и мифических камнях Вавилона: „три священные реки текут по драгоценным камням, некоторые из которых исчезают. Одни красивы, а другие дарят здоровье и силу. Есть изумруд, ярче, чем зеркало; яшма, предохраняющая от яда; гранат, изгоняющий демонов и истребляющий змей; магниты, управляющие железом; алмаз, который может разрушить только кровь младенца; топаз, который придает свой цвет всему, к чему он приближается; галука, делающая своего обладателя счастливым и богатым; мелоциус, обнаруживающий воров; идропикус, что лишает луну ее цвета и делает ее обладателя невидимым; сагита, которая вызывает облака; коралл, отражающий „удар молнии“ и оберегающий от насильственной смерти; гиацинт цвета неба излечивающий все болезни; маргарита, образованный из рос; пеорус, цвет которого не может быть описан; калатиды, делающие горькое-сладким; солисгемма, создающая молнию, и селенит, который растет и убывает вместе с луной; агат, останавливающий течение рек; абсент, который, будучи нагретым, сохраняет свой огонь — словом, каждый драгоценный камень, обладающий чудодейственной силой.

³ Леонардус Камиллус — итальянский астроном, минералог и врач. Родился в 1480 г.

⁴ Безоар — камень органического происхождения, находимый в желудках у жвачных животных.

⁵ Демокрит Абдерский — древнегреческий философ, ученик Левкиппа, один из основателей атомистики и материалистической философии.

⁶ Пресвитер Иоанн — легендарный правитель могущественного христианского государства в Центральной Азии.

⁷ Томас Лодж — английский писатель конца XVI в., „Американская жемчужина“ — оригинальное название „Маргарита Американская“ — фантастический роман о любви перуанского принца и московской царевны, одно из первых больших произведений европейской литературы о Южной Америке.

целомудренных женщин мира, в оправе из серебра, глядящих в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, что жители Чипанго¹ кладут в уста умерших розовую жемчужину.

Морское чудище влюбилось в жемчужину, которую водолаз преподнес царю Перозе, умертвило похитителя, и семь лун оплакивало потерю драгоценности. Когда Гунны, повествует Прокофий, заманили царя в засаду, он отбросил ее куда-то, и она никогда уже не была найдена, хотя царь Анастасий обещал пятьсот фунтов золота тому, кто ее отыщет². Царь Малабарский³ показывал одному венецианцу четки из ста четырех жемчужин, — по одной на каждого бога, которых он почитал.

Когда герцог Валентинуа⁴, сын Александра VI, посетил Людовика XII, короля Франции, его лошадь была осыпана золотыми листьями и, если верить Брантому⁵, на шляпе его был двойной ряд рубинов, разливавших ослепительный свет. Карл Английский ездил верхом на стременах, украшенных четырьмястами двадцатью одним брильянтом. Ричард II имел костюм, оцененный в тридцать тысяч марок, осыпанный лаллами⁶.

Холл⁷, описывая Генриха VIII, едущего в Тауэр перед коронацией, говорит, что на нем был кафтан из чеканного золота, пластрон⁸, вышитый брильянтами и другими ценными камнями, а вокруг шеи — цепь с огромными лаллами.

Любимцы Якова I носили серьги из изумрудов, вправленных в золотую филигрань. Эдуард II подарил Пирсу Гавестону⁹ доспехи червонного золота, усеянные гиацинтами, ожерелье из золотых роз, осыпанных бирюзой, и шлем, весь в жемчуге. Генрих II носил перчатки, отделанные камнями до самого локтя, и имел перчатку для соколиной охоты, вышитую двадцатью рубинами

¹ Чипанго — так названа Япония у Марко Поло.

² Эта история взята из «Шахнаме», («Шах-намэ»), — выдающегося памятника персидской литературы, национального эпоса иранского народа.

³ Малабар — древнее государство на юге Индии.

⁴ Герцог Валентинуа — Чезаре Борджия. В 1498 король Франции Людовик XII возвел Валентинуа в герцогство-пэрство и подарил его Чезаре Борджия, сыну Папы Римского Александра VI.

⁵ Пьер де Бурдэйль, сеньор де Брантом — военный деятель, хронист придворной жизни времен Екатерины Медичи, один из самых читаемых французских авторов эпохи Возрождения.

⁶ Лал или лалл, а также лалик — устаревшее название драгоценных камней красного цвета.

⁷ Эдвард Холл — английский юрист и историк XVI в., известен благодаря своей книге „Союз двух благородных и иллюстраторских семей Ланкастера и Йорка“, обычно известной как „Хроники Холла“.

⁸ Пластрон — полоса ткани, носимая на шее вроде галстука.

⁹ Пирс Гавестон — 1-й граф Корнуолл, также Пьер Гавестон и Пирс Габастон — английский аристократ, гасконец по происхождению. Друг детства, фаворит и предполагаемый любовник английского короля Эдуарда II.

и пятьюдесятью двумя жемчужинами. Герцогская шляпа Карла Смелого, последнего герцога Бургундского, была украшена грушевидным жемчугом и сапфирами.

О, восхитительная жизнь былых времен! Какое великолепие торжественной пышности! Даже читать об минувшей роскоши и то уже приятно.

Затем он перенес свой интерес на вышивки¹, обои, занявшие место фресок в зеркальных залах северных городов. Поглощенный предметом, — а он обладал необычайной способностью целиком погружаться во все, что бы ни принимал, — он делался мрачен при мысли, как губительно действует время на прекрасные и поразительные вещи... Только он один этого избегнул.

За летом уходило лето, желтые жонкилы² цвели и отцветали много раз, ужасные ночи повторяли историю своего стыда, а он все не изменялся... Ни одна зима не испортила его лица и не помрачила его цветущей чистоты. Какое отличие от всех материальных вещей. Где они теперь? Где теперь прекрасная одежда шафранного цвета, на которой смуглые девы выткали для Афины битву богов с Титанами?.. Или огромный велариум³, который Нерон натянул над Колизеем, гигантское пурпурное полотно, представляющее звездное небо и Аполлона, правящего колесницей, запряженной белыми, в золотой упряжи, конями.

Он желал бы взглянуть на странные скатерти, приносимые Жрецу Солнца⁴, на которых изображались все лакомства и яства, требовавшиеся для пира, и на погребальный покров короля Хильперика⁵, вышитый тремястами золотых пчел, на те фантастические платья, что возбуждали негодование епископа Понтийского⁶, где были изображены «львы, пантеры, медведи, собаки,

¹ Все факты о вышивках из книги „Вышивка и кружево, их изготовление и история с глубокой древности до наших дней. Справочник для любителей, коллекционеров и обычных читателей от Лефевра Эрнеста“.

² *Жонкиль* — он же нарцисс жонкилля — разновидность нарцисса с желтыми цветами.

³ *Велариум* — тент или навес, которым в Древнем Риме прикрывали сверху театр или амфитеатр.

⁴ *...скатерти, приносимые Жрецу Солнца...* — описываются изысканные столовые салфетки, вышитые для императора Гелиогабала, преемника Калигулы в 217 г. н. э.

⁵ *Хильперик I* — король франков; в гробнице обнаруженной в XVII в. среди сокровищ нашли порядка 300 маленьких золотых кулонов в виде пчел, служащих украшением парчового плаща.

⁶ *Астерий, епископ Амасийский* и митрополит Понтийский, выступал против тщеславных, „которые носили сцены Евангелия на спине, а не в сердце“. „Каждый, — говорит он, — жаждет одеть себя, свою жену и своих детей в разукрашенные вещи, с цветами и бесчисленными фигурами, и делается это до такой степени, что когда знают появляются на публике, маленькие дети собираются толпами и указывают на них пальцем, веселясь за их счет, разглядывая львов, пантер, медведей, быков, собак, леса, скалы, охотников — все, что художники могут скопировать с натуры“.

леса, скалы, охотники — словом, все, что художник может срисовать в природе», и на костюм, надетый однажды Карлом Орлеанским¹, на рукавах которого были нашиты слова песенки „Madame, je suis tout joyeux“². Музыкальный аккомпанемент к словам был выткан из золотых ниток, а каждая четырехугольная нота тогдашней формы была составлена из четырех жемчужин.

Он прочел описание комнаты, приготовленной в Реймсе для Жанны Бургундской³: «она была украшена тысячью тремястами двадцать одним вышитым попугаем с гербами короля и пятьсот шестьдесят одним мотыльком с гербами королевы на крылышках, все — из чистого золота».

Траурная кровать Катерины Медичи⁴ была задрапирована черным бархатом с вышитыми на нем полумесяцами и солнцами. Полог был из дамасской материи — на золотом поле были вышиты венки из зелени и гирлянды, края обшиты жемчужной бахромой, а комната, в которой помещалась кровать, была покрыта девизами, вырезанными из бархата и расположенными на серебряном фоне.

Во дворце Людовика XVI были кариатиды, разодетые в золото, пятнадцать футов вышины.

Парадное ложе Собеского, короля Польши, было сделано из золотой смирнской парчи, вышитой бирюзой, со стихами из Корана⁵. Колонки были из золоченого серебра дивной работы, изобильно украшенные мозаичными медальонами и драгоценными камнями. Оно было взято под Веной в турецком лагере, и над ним развевалось знамя Магомета.

Почти целый год Дориан страстно собирал и самые восхитительные образчики всего, что только мог найти замечательного среди тканей и вышивок. Он добыл удивительные делийские кисеи тончайшей работы, затканые золотыми пальмами и утыканые радужными крыльями скарабеев, деканские газы, прозрачность которых заслужила им название — сотканного воздуха, текучей воды и вечерней росы, странные узорчатые яванские материи, желтые китайские драпировки, изысканно сработанные книги, переплетенные в бурый атлас, или изумительные голубые шелка с оттиснутыми на них лилиями, птицами и фигурами, кружева венгерской работы, сицилийские парчи и жест-

¹ В 1414 году *Карл Орлеанский* потратил двести семьдесят шесть ливров (около 40 фунтов) на девятьсот шестьдесят жемчужин для этой вышивки.

² „Madame, je suis tout joyeux“ — „Мадам, я очень счастлив“ (фр.).

³ *Жанна Бургундская* «Хромоножка» — королева Франции XIV в.

⁴ После кончины своей королевского супруга Екатерина Медичи проводила траур с причудливой роскошью, среди прочего, у нее было траурное ложе, о котором г-н Боннафф собрал многочисленные подробности после тщательного изучения счетов королевы, записанных после ее кончины в 1589 г.

⁵ Ян III Собеский победив турок в 1683 году, вынудил их снять осаду Вены, завладел пологом, под которым в турецком лагере благоговейно хранились Коран и знамя Магомета. Он приказал переделать ее в королевскую кровать, которая на момент его смерти была оценена в 700 000 туринских ливров.

кий испанский бархат, грузинские вышивки с золочеными краями, японские фукузы¹ с зелеными тонами золота на пестрых птицах.

К священническим облачениям он питал особую страсть, как и ко всему, что имело отношение к церковной службе.

В длинные кедровые сундуки, расставленные вдоль западной галереи дома, он собирал все редкие и чудесные образцы того, что действительно достойно называться одеждой невесты Христовой, которая должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, облегающие тело, обескровленное воздержанием, измученное добровольными страданиями и покрытое язвами, причиненными себе ею самою.

У него была пышная риза красного шелка и золота, украшенная повторяющимся узором — золотыми гранатными плодами на шестилепестковых цветах с расположенными вокруг них сосновыми шишками из жемчуга. На ораре² представлены были события из жизни Богородицы, а на митре — Успение Богородицы. Это была итальянская работа XV века. Другая ряса была зеленая бархатная с вытканными на ней сердцевидными листьями аканта, от которых шли белые цветы на длинных стеблях. Части их были выполнены серебряными нитками и зернами цветного хрусталя. Голова Серафима выткана была золотом. Орарь, испещренный красными и золотыми узорами, был усеян многочисленными медальонами святых со святым Себастианом в их числе.

Были у него также облачения из шелка цвета амбры, из золотой парчи и голубого шелка, из дамасского желтого шелка, из золотой ткани с изображенными на них Страстями Господними, с вышитыми львами, павлинами и другими эмблемами; далматики³ из белого атласа, из розовой дамасской ткани, украшенной тюльпанами, павлинами и лилиями, покровы для алтаря из ярко-красного бархата и голубого полотна, воздухи⁴, потиры, антиминсы⁵...

В мысли о мистических обрядах, для которых все это служило, было нечто действовавшее на его воображение.

Ведь все эти собранные им в его восхитительном жилище сокровища были только средством забыться, способом, время от времени, отделяться от ужасов, которые становились непереносимы.

У стены уединенной, запертой на ключ комнаты, в которой протекло его детство, стоял прислоненный его собственными руками портрет, изменяющиеся

¹ *Фукузы* — шелковые вышитые салфеточки, в которые японцы заворачивают подарки.

² *Орарь* — принадлежность богослужебного облачения диакона и иподиакона — длинная узкая лента из парчовой или иной цветной ткани.

³ *Далматика* (от римской провинции Далмация) — деталь литургического облачения католического клирика. Верхняя расшитая риза.

⁴ *Воздухи-покровы* — матерчатые платы, которыми покрываются дискос и потир во время литургии.

⁵ *Антиминс* — четырехугольный, из шелковой или льняной материи, плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо православного мученика.

черты которого представляют ему действительное падение его жизни, и, словно занавесом, закрыл он его покровом из пурпура и золота.

По целым неделям не посещал он ее, пытаясь забыть отвратительную пisanую вещь, и, вернув себе свою легкость сердца, беззаботную радость, снова страстно окунался в жизнь.

Затем, в одну прекрасную ночь, он закатывался в ужасные вертепы Блюгейт Филдс¹ и оставался там дни и дни, покуда его не прогоняли. Возвратившись, он усаживался против портрета с отвращением к нему и к самому себе, хотя по временам и испытывал ту себялюбивую гордость, которая составляет половину обаяния греха, и с тайной радостью улыбался уродливой тени, несущей тяготу, предназначенную в сущности ему.

Через несколько лет он не мог уже подолгу жить не в Англии и продал виллу, которая принадлежала ему и лорду Генри, а также и маленький домик с белыми стенами в Алжире, где он провел не одну зиму. Он не мог выносить даже мысли о разлуке с картиной, которая занимала такое место в его жизни, и опасался, что в его отсутствие может кто-нибудь войти в комнату, несмотря на все затворы.

И, однако, он чувствовал, что этот портрет не откроет никому ничего, хотя он и сохраняет, не смотря на пошлость и безобразие черт, заметное сходство с ним. Что же может вывести из этого тот, кто его увидит? Он рассмеется, если его вздумают дразнить. Не он нарисовал его — какое ему дело до этой низости, до этого позора. Да и поверят ли ему, даже если бы он во всем сознался?

И тем не менее, вопреки всему, он чего-то боялся. По временам, когда он жил в своем доме в Нортин-Хэмшире, в обществе молодежи его класса, признанным главою которой он был, удивляя все графство непомерной роскошью и невероятным величием своего образа жизни, он вдруг покидал своих гостей и стремительно летел в город: узнать, не взломана ли дверь и там ли еще картина? Что, если ее украли? Эта мысль преисполняла его ужасом. Свет узнает его тайну... И, быть может, сейчас он уже знает ее...

Хотя он и очаровывал большинство людей, многие презирали его. Его чуть не забаллотировали в одном клубе на Вест-Энде, полноправным членом которого позволяло ему быть его происхождение и состояние. Рассказывали также, что однажды, когда он вошел с одним приятелем в курительную комнату Черчилль-клуба, герцог Бервик и еще один господин встали и вышли из комнаты так, что это было всеми замечено.

Когда ему минул двадцать пятый год, о нем распространились странные слухи. Утверждалось, что его видели в стычке с иностранными матросами в одной грязной таверне возле Уайтчепеля, что он водит знакомство с ворами и фальшивомонетчиками и знает тайны их ремесла.

Его странные отсутствия стали известны и, когда он снова появлялся в свете, по углам начинались перешептывания, на него посматривали с усмешкой

¹ *Блюгейт Филдс* — один из худших районов трущоб, которые когда-то существовали к северу от старых доков восточного Лондона в викторианскую эпоху.

или устремляли холодные и испытующие взгляды, как бы решив, наконец, узнать его тайну.

Он не обращал никакого внимания на эту назойливость и дерзости. Да и, по мнению большинства людей, его милые и приветливые манеры, его чудная юная улыбка, бесконечное изящество очаровательной молодости казались лучшим ответом на клеветы, как они говорили, которые ходили о нем.

Однако, было заметно, что казавшиеся его лучшими друзьями теперь чуждались его. Женщины, неистово обожавшие его и для него пренебрегавшие общественным мнением и приличиями, бледнели от стыда и ужаса, когда он появлялся в салонах, где они находились.

Но эти скандалы, передаваемые на ухо, для некоторых только, наоборот, увеличивали его странное и опасное очарование. Его огромное состояние обеспечивало ему безнаказанность. Общество, — по крайней мере, цивилизованное общество, — с трудом верит дурному о тех, кто и богат и красив. Оно инстинктивно сознает, что манеры гораздо важнее нравственности и, в его глазах, высочайшая безупречность менее ценна, чем хороший повар.

Может служить поистине жалким утешением сказать о человеке, угостившем вас скверным обедом или сомнительным вином, что его личная жизнь безупречна. Даже самая высокая добродетель не искупает *entrées*¹, поданных полухолодными, как заявил однажды лорд Генри по этому поводу, и, в самом деле, можно еще многое сказать об этом, так как правила хорошего общества те же или должны быть те же, что и искусства. Форма тут, безусловно, существенна. Она должна иметь всю торжественность обряда, наряду с ее призрачностью, и может смешивать в себе неискренность романтической пьесы с ее умом и красотой, которые нам так нравятся в подобных вещах. Разве неискренность — такая ужасная вещь? Я не думаю. Это просто способ умножить наши облики.

Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Он удивлялся убожеству психологии тех, кто представляет себе человеческое «я» как нечто простое, постоянное, достойное доверия и однородное по существу. Для него человек есть существо с мириадами жизней, с мириадами ощущений, сложное и многообразное творение, несущее в себе загадочное наследие страхов и сомнений, сама плоть которого заражена чудовищными болезнями умерших.

Он любил прогуливаться по холодной и узкой картинной галерее своего деревенского дома, рассматривая портреты тех, чья кровь текла в его жилах.

Там был Филипп Герберт², про которого Френсис Осборн говорит в своих «Мемуарах царствования королевы Елизаветы и короля Якова», что весь двор ухаживал за ним ради его прекрасного лица, красота которого недолго

¹ *Entrées* — Антре (*фр.*) — легкая закуска, подаваемая перед обедом.

² *Филипп Герберт* — фаворит короля Якова I в начале его царствования, во время гражданской войны встал на сторону парламента. Получил известность как покровитель искусства и коллекционер живописи. С ранней юности он отличался красивой внешностью.

сохранилась. Не жизнью ли молодого Герберта живет он иногда? Какой отравленный зародыш передавался из поколения в поколение вплоть до него? Не смутная ли тоска по той погубленной красоте и побудила его так внезапно и почти беспричинно произнести в мастерской Бэзила Холлуорда ту безумную молитву, что так изменила всю его жизнь?..

Вот здесь, в красном кафтане, шитом золотом, в мантии, покрытой драгоценными камнями, с брыжами и рукавичками, окаймленными золотом, стоит сэр Энтони Шерард со своими доспехами из серебра с чернью у ног. Какая наследственность перешла к нему от этих людей? Передал ли ему этот любовник Иоанны Неаполитанской¹ свой грех и позор? И его собственные поступки не были ли просто грезой этого покойника, которую тот не осмелился превратить в действительность?

С этого выцветшего полотна улыбается леди Элизабет де Вере, в газовом головном уборе, в вышитом жемчугом корсаже, в разрезных розового атласа рукавах. В правой руке она держит цветок, в левой — сжимает эмалевое ожерелье из белых дамасских роз. На столе около нее — мандолина и яблоко. На ее остроносых туфельках — пышные зеленые розетки. Он знал ее жизнь и странные вещи, которые рассказывали о ее возлюбленных. Не перешел ли отчасти ее темперамент к нему? Ее продолговатые глаза с тяжелыми веками, казалось, смотрели на него с любопытством.

А этот Джордж Уиллоуби, с его напудренными волосами и фантастическими мушками! Какой у него злой вид. Лицо его очень загорелое и мрачное, а чувственные губы вздернуты с презрением. На его желтые костявые руки ниспадают манжеты из драгоценных кружев. Он был один из щеголей восемнадцатого века и один из приятелей лорда Феррара.

Что думать об этом втором лорде Бекингеме, товарище Принца-Регента в его самые безумные дни и одним из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Каким он кажется красивым и гордым со своими каштановыми волосами и дерзкой позой! Какие страсти передал он ему? Свет считал его низким. Он руководил оргиями в Карлтон Хаусе. Звезда подвязки блистала на его груди...

Рядом с ним висел портрет его жены, бледного создания с тонкими губами в черном. И ее ведь кровь тоже есть в нем. Как все это странно!

А его мать, походившая на леди Гамильтон, его мать с влажными губами, красными, как вино! Он знает, что получил от нее. Она завещала ему свою красоту и свою любовь к красоте других. Она смеялась ему, одетая вакханкой, в волосах ее были виноградные листья, из чаши, которую она держала, лилась

¹ *Иоанна Неаполитанская (Джованна I, Иоанна I)* — королева Неаполя с 1343 года. Взойдя на трон, пятнадцатилетняя королева быстро попала под влияние своих теток, окупившись в атмосферу придворных интриг, забав и сомнительных удовольствий. По словам хрониста-современника Доменико из Гравины: „двор этой королевы напоминал скорее публичный дом на посмешище всем“.

пурпурная струя. Краски потускнели, но глаза все же остались удивительными по глубине и блеску. Ему казалось, что они двигаются.

Обладать можно предками также и в литературе, не только в роду, — быть может, даже более близкими по типу и темпераменту, и многие из них имеют такое влияние, которое вполне сознаешь. Дориану Грею казалось иногда, что история мира есть только история его жизни, не той, которую он действительно фактически пережил, а той, что создало для него его воображение из всего бывшего в его мозгу, в его страстях. Он чувствовал, что знает их всех, — эти странные и страшные образы, прошедшие по сцене мира и сделавшие грех столь соблазнительным, а зло — столь утонченным. Ему чудилось, что какими-то неисповедимыми путями их жизнь стала его жизнью.

Герой чудного романа, столь повлиявшего на всю его жизнь, тоже знал эти странные грезы. В седьмой главе он рассказывает, как увенчанный лавровым венком, который предохраняет от удара грома, он, как Тиберий, сидел в Капрейском саду и читал бесстыдные книги Элифантыды¹ в то время, когда павлины и карлики важно расхаживали вокруг него, а флейтщик издевался над человеком, раскачивавшим кадильницу... Подобно Калигуле, он бражничал с конюхами в зеленых одеждах и ужинал из яслей слоновой кости возле лошади с бляхой на лбу, украшенной драгоценностями... Как Домициан, он бродил вдоль коридоров с мраморными, блестящими как зеркало, стенами, с глазами, помутившимися от мысли о кинжале, который должен прервать его дни, больной той тоской, той «*taedium vitae*»², которая приходит к людям, которым жизнь ни в чем не отказала. Он любовался сквозь прозрачный изумруд на кровавую бойню цирка и в носилках из пурпура и жемчуга, влекомых среброковаными мулами, был несом по Гранатной Аллее в Золотой Дом и слышал при этом, как люди восклицали *Nero Caesar!*

Как Гелиогабал, он раскрашивал себе лицо и сидел среди женщин за прялкой, и велел доставить Луну из Карфагена, чтобы соединить ее с Солнцем мистическим браком.

Все вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующие главы, где, как на своеобразной стенной обивке или на искусно сделанной эмали, выступали страшные и прекрасные образы тех, кого Порок, Кровь и Утомление сделали чудовищными и безумными. Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и вымазал ее губы ядом для того, чтобы возлюбленный ее выпил смерть в поцелуе, данном праху той, которую боготворил. Венецианец Пьетро Барби, носивший имя Павла II, который в своем тщеславии хотел принять титул *Formosus* (Красивый), чья

¹ *Элифантыда* — греческая гетера, предположительно жившая в Александрии в III в. до н. э. Она была известна как автор эротических руководств самого откровенного содержания, которые во времена Римской империи уже слыли библиографической редкостью.

² *Taedium vitae* — пресыщение жизнью, усталость от жизни (лат.).

тиара, ценою в двести тысяч флоринов, была приобретена путем ужасающего греха. Джан Мария Висконти, который собаками травил людей и изуродованный труп которого был осыпан розами продажной женщиной, также любившей его! А Борджиа на белом коне и с ним рядом Братоубийца в мантии, запятнанной кровью Перотто. А Пьетро Риарио, молодой кардинал-архиепископ Флорентинский, сын и любимец Сикста VI, красота чья равнялась только его беспутству и который принял Элеонору Аррагонскую под балдахин из белого с алым шелка, с вытканными нимфами и кентаврами, лаская молодого вызолоченного мальчика, игравшего на празднествах роль Ганимеда или Гиласа. Эццелино, меланхолия которого проходила лишь от вида смерти, любивший кровь, как другие любят вино; Эццелино, сын дьявола, как его называли, обманувший своего отца, играя в кости, когда ставкой была его душа. А Джанбатиста Чибо, принявший в насмешку прозвище Невинного, в истощенные жилы которого доктором-жидом была перелита кровь трех юношей. Сиджизмондо Малатеста, возлюбленный Изотты и владетель Римини, изображение которого было сожжено в Риме, как врага и Бога, и людей, задушившего Полисену салфеткой, давшего выпить яд Джиневре д'Эсте из изумрудного кубка и построившего языческий храм с христианскими обрядами во славу гнусной страсти!

А Карл VI, который так дико любил жену своего брата, что один прокляженный предсказал ему сумасшествие, и который, будучи уже душевно больным, успокаивался только от вида сарацинских карт с нарисованными изображениями Любви, Смерти и Безумия.

Упоминался также в своем разукрашенном камзоле, в шляпе, усыпанной драгоценностями, с завитыми кудрями, словно акант, Грифонетто Бальоне, убивший Асторре и его невесту, Симонетто и его пажа, но красота которого была такова, что, когда он лежал умирающий на желтой площади Перузы, плакали даже те, кто его ненавидел, и проклинаявший его Аталанта благословил его.

Какое ужасающее очарование исходило от них всех. Он грезил о них днем и ночью: они дразнили его воображение. Ренессанс знал особые способы отравлять — посредством шлема или горящего факела, посредством вышитой перчатки или осыпанного бриллиантами весера, через золотой ящичек для благовоний или через цепь из янтаря.

Дориан Грей был отравлен посредством книги! Минутами он рассматривал Зло просто как необходимое средство для осуществления его представления о Красоте.



ГЛАВА XII

Это случилось девятого ноября, накануне его тридцать восьмой годовщины, как он часто вспоминал потом.

Он вышел от лорда Генри, у которого обедал, около одиннадцати часов, закутанный в тяжелые меха, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гросвенор Сквера и Соут-Одли Стрит, совсем близко мимо него прошел в тумане человек с поднятым воротком серого пальто. В руках он держал чемодан. Дориан узнал его. Это был Бэзил Холлуорд. Странное ощущение испуга, которого он не мог себе объяснить, овладело им. Он не подал вида, что узнал его, и торопливо продолжал свой путь домой.

Но Холлуорд увидал его. Дориан заметил, что он остановился. Затем он окликнул его, и через несколько мгновений рука его легла на плечо Дориана.

— Дориан! Какая необыкновенная удача! Я дожидался вас в вашей библиотеке с девяти часов... Наконец, я сжалился над вашим усталым лакеем и ушел, велел ему лечь спать. Я уезжаю в Париж с двенадцатичасовым поездом, и мне крайне необходимо поговорить с вами до моего отъезда. Так мне и показалось, что это вы, или я узнал ваши меха, когда мы столкнулись. Но все-таки я не был в этом убежден. А вы меня разве не узнали?

— Такой туман, милый мой Бэзил! Я с трудом различал Гросвенор Сквер. Я думаю, что мой дом где-то здесь, но совершенно в этом не уверен. Мне очень жаль, что вы уезжаете, так как я не видел вас целую вечность! Надеюсь, вы скоро вернетесь.

— Нет, я пробуду за границей месяцев шесть. Я собираюсь нанять мастерскую в Париже и поживу там до тех пор, пока не кончу задуманной мною большой картины. Однако, я хотел с вами поговорить вовсе не о себе. Вот мы и у ваших дверей. Впустите меня на минутку, мне нужно вам что-то сказать.

— Я в восторге. Но не опоздаете ли вы на поезд? — небрежно сказал Дориан Грей, всходя по ступенькам и отперев дверь своим ключом.

Свет фонаря боролся с туманом. Холлуорд вынул свои часы.

— Времени у меня достаточно. Поезд отходит в двенадцать с четвертью, а сейчас только около одиннадцати. Я шел в клуб, когда мы встретились. Вы видите, мне не придется ждать с багажом. Я его послал вперед. Со мной только чемоданчик, и до Виктории я легко доеду в двадцать минут.

Дориан с улыбкой посмотрел на него.

— Вот каковы сборы в дорогу модного художника. Чемодан à la Гладстон и ольстер¹! Входите же, не то туман наползет в дом. И не вздумайте говорить о серьезном. Теперь нет ничего серьезного, по крайней мере, ничего не должно быть.

Холлуорд покачал головой, входя, и последовал за Дорианом в библиотеку.

В камине ярко пылали поленья. Лампы были зажжены, и на столике наборной работы стоял открытый голландский погребец из серебра для ликеров, сифоны с содовой водой и большие стаканы из граненого хрусталя.

— Как видите, ваш слуга устроил меня совсем как дома, Дориан. Он мне предоставил все, что мне было нужно, в том числе и ваши лучшие папиросы с золочеными мундштуками. Чрезвычайно гостеприимное существо. Он мне гораздо больше нравится, чем ваш прежний, француз. Кстати, куда он девался?

Дориан пожал плечами.

— Мне думается, что он женился на горничной леди Рэдли и устроил ее в Париже в качестве английской портнихи. Там теперь, кажется, англomania в большом ходу. Это идиотство со стороны французов, не правда ли? Но он вовсе не плохой слуга. Я его не любил, но не могу на него пожаловаться. Часто ведь воображаешь себе всякий вздор. Он был мне очень предан и казался весьма удрученным, покидая меня. Не хотите ли еще бренди с содовой? Или предпочтете Рейнское с сельтерской водой? Я его всегда пью. Оно всегда есть в соседней комнате.

— Спасибо, ничего не хочу, — сказал живописец, снимая шляпу и пальто и бросив их на чемодан, который он поставил в угол. — А теперь поговорим серьезно. Не хмурьтесь так, вы мне только затрудните задачу...

¹ *Ольстер* — легкое пальто с накидкой.

— В чем дело? — вскричал с капризным видом Дориан, бросаясь на софу. — Надеюсь, что речь будет не обо мне. Сегодня вечером я устал от себя и мне хочется побывать в шкуре кого-нибудь другого.

— Но я должен говорить именно о вас самом, — серьезным и проникнутым тоном сказал Бэзил Холлуорд. — Это займет только с полчаса...

Дориан вздохнул, закурил папиросу и пробормотал:

— Полчаса!..

— Я ничего не буду у вас выпытывать, Дориан, но ваша же собственная польза требует, чтобы я вам кое-что сказал. Лучше вам знать про те ужасные вещи, что ходят по Лондону на ваш счет!

— Я ничего не хочу знать. Я люблю скандалы других, но те, что касаются меня, не интересны мне, — они не имеют достоинства новизны.

— Они должны быть вам интересны, Дориан. Каждый джентльмен интересуется своим добрым именем. Вы не хотите же, чтобы о вас говорили, как о ком-либо низком и гнусном. Положим, вы имеете известное общественное положение, состояние и так далее. Но и положение, и состояние — еще не все. Вы хорошо знаете, что я не верю этим толкам. Когда я смотрю на вас, я не могу им верить. Порок отражается и на лице человека. Его не скроешь. Говорят о тайных пороках — тайных пороков нет. Если человек развратен — это сказывается и в очертаниях его губ, и в припухлости его век, и даже в форме его рук. Некто, я вам его не назову, явился ко мне в прошлом году, чтобы я сделал его портрет. Я его никогда не видел раньше и еще ничего о нем не слышал. Только потом кое-что узнал. Он мне предложил сумасшедшую цену, но я отказался. В очертаниях его пальцев было что-то омерзительное для меня. Я теперь знаю, что в моих подозрениях я был вполне прав. Жизнь его была ужасна.

А вы, Дориан, с вашим чистым, ясным, невинным лицом, — я ничему не могу верить о вас! Но я вижу с вами так редко. Вы никогда не заходите больше в мою мастерскую, и, когда я слышу отвратительные вещи, которые шепотом передаются на ваш счет, я недоумеваю тогда, что сказать!

Как может случиться, Дориан, что такой человек, как герцог Бервик, покидает залу клуба, лишь только вы в нее входите? Почему столько людей в Лондоне не хотят больше бывать у вас и не приглашают вас к себе? Вы были другом лорда Стэвлей. На прошлой неделе я встретился с ним на одном обеде. О вас упомянули в разговоре по поводу тех миниатюр, что вы давали на выставку Дадли¹. Стэвлей сделал презрительную гримасу и заметил, что, быть может, у вас и очень много художественного вкуса, но что вы — человек, с которым не следует знакомить чистую девушку и присутствия которого не должна терпеть ни одна целомудренная женщина. Я ему напомнил, что я — ваш друг, и спросил, что он этим хочет сказать? И он сказал. Сказал в присутствии всех. Какой это был ужас! Почему ваша дружба, Дориан, так фатальна для молодых людей?.. Погодите... Этот бедный мальчик, гвардеец,

¹ *Дадли* — музей и художественная галерея Дадли, открыт в 1883 году.

покончивший самоубийством, был ведь вашим другом? А сэр Генри Эштон, которому пришлось покинуть Англию с опозоренным именем? Вы были неразлучны. А что сказать об Адриане Синглетоне и его трагическом конце? А об единственном сыне лорда Кента и его испорченной карьере? На Сент-Джеймс Стрит я встретил вчера его отца. Он разбит горем и стыдом. А молодой герцог Пертский? Как он теперь живет? Какой порядочный человек захочет быть с ним в дружбе?

— Перестаньте, Бэзил: вы говорите о вещах, о которых ничего не знаете, — сказал Дориан, кусая губы.

И с оттенком неуловимого презрения в голосе продолжал:

— Вы спрашиваете, почему Бервик вышел, когда я вошел? Да потому, что я многое знаю о его жизни, но вовсе не потому, чтобы ему было известно что-нибудь о моей. С той кровью, что течет в его жилах, как он может заслуживать доверия? Вы меня допрашиваете о Генри Эштоне и о молодом Перте? От меня ли первый выучился разврату, а второй — бесчинствам? И если этот глупый Кент подбирает себе жену с панели — причем здесь я? Если Адриан Синглетон подписывает векселя именами своих приятелей — разве я его сторож? Я знаю, как в Англии болтают. Мещане любят делать парад за десертом из своих нравственных предрассудков и шепотом переговариваются о том, что они называют разнужданностью высших классов, чтобы показать, насколько и они также к ней причастны, находясь будто бы в самых дружеских отношениях с теми, на кого клеветают. В этой стране достаточно человеку отличаться изысканностью и умом, чтобы злые языки напустились на него. Но как живут те самые, что рисуются добродетелью? Вы забываете, милый друг, что мы живем на родине лицемерия.

— Дориан, — вскричал Холлуорд, — вопрос не в этом! Англия достаточно плоха, я это знаю, и англичане повинны — в чем хотите. Вот потому-то у меня и есть потребность, чтобы вы были чисты. Но вы таким не были. Можно судить о человеке по тому влиянию, какое он имеет на своих друзей. Ваше — оказывается губительным для всего честного, доброго, чистого. Вы будите страсть к наслаждениям. И люди скатываются в пропасть, где вы их и покидаете. Да, вы покидаете их там и можете еще улыбаться, как улыбаетесь сейчас. Я знаю и худшее. Я знаю, что вы и Гарри неразлучны. И уж хоть по этой причине, если не по какой другой, вы должны были бы не делать имени его сестры предметом глумления.

— Берегитесь, Бэзил, вы заходите слишком далеко!

— Нужно, чтобы я высказался, и нужно, чтобы вы выслушали меня! И вы выслушаете! Когда вы познакомились с леди Гвендолин, дыхание злословия не коснулось ее даже. Найдется ли теперь хоть одна порядочная женщина в Лондоне, которая решится показаться в одном с ней экипаже в парке? Да что, даже ее детям не позволено с нею жить вместе! Затем есть еще и другое. Рассказывают, будто видели вас на рассвете выходящим из гнусных домов и, переодевшись, тайком, — пробирающимся в самые чудовищные вертепы Лондона. Правдивы ли они, могут ли быть правдивыми эти рассказы?

Когда я услышал это впервые, я расхохотался. Теперь же я выслушиваю — и содрогаюсь. Что такое этот ваш деревенский дом и что за жизнь вы там ведете? Дориан, вы не знаете, как об этом говорят! Не буду отрицать, что читаю вам проповеди. Я помню, Гарри однажды сказал, что всякий, берущий на себя роль проповедника, всегда много говорит в начале, но вскоре и сам спешит поступить наперекор своим словам. Но я хочу вам проповедовать. Я хочу, чтобы имя ваше было не запятнано и репутация — безупречна. Я хочу, чтобы вы отделались от общества этих людей. Не пожимайте плечами. Не будьте таким равнодушным. Вы можете так влиять на людей. Пусть же это послужит не злу, а добру. Говорят, что вы развращаете всех, с кем сближаетесь, и что едва вы входите в какой-нибудь дом, как все пороки следуют за вами. Не знаю — верно ли это или нет? Как могу я знать? Но так говорят. Мне рассказывали подробности, в которых невозможно сомневаться. Лорд Глостер был самым моим близким другом в Оксфорде. Он мне показывал письмо, которое его жена написала ему, умирая одинокой в своей ментонской¹ вилле. Ваше имя упоминалось в самой страшной исповеди, которую я когда-либо читал. Я сказал ему, что это безумие, что я вас хорошо знаю, и вы на подобные вещи неспособны. Я вас знаю? Хотел бы я вас знать! Раньше, чем ругаться в этом, мне следовало бы увидеть вашу душу.

— Увидеть мою душу! — пролепетал Дориан, поднявшись с софы и бледнея от ужаса.

— Да, — сказал Холлуорд серьезно, с глубоким волнением в голосе, — увидеть вашу душу!.. Но это может только один Бог!

Горький смех вырвался из уст молодого человека.

— Вы сами увидите ее сегодня вечером! — вскричал он, схватывая лампу. — Ступайте за мной! Это дело ваших собственных рук. Почему бы вам не увидеть ее? Вы можете это сейчас рассказать всем, если вам будет угодно. Если вам поверят, меня полюбят еще больше. Я знаю свое время лучше, чем вы, хотя вы и болтаете о нем много. Ступайте же за мной, говорю вам! Вы достаточно поболтали о разложении. Сейчас вы увидите его воочию!

Безумие гордости звучало в каждом его слове. Он топал ногою по своей дерзкой привычке. Он испытывал дикую радость при мысли, что другой разделит его тайну, и человек, написавший эту картину — источник его стыда, — всю жизнь будет удручен отвратительным воспоминанием о том, что он сделал.

— Да, — продолжал он, подойдя к нему и пристально глядя ему в его суровые глаза. — Я покажу вам свою душу! Вы увидите то, что, по вашим словам, дано видеть только Богу!..

Холлуорд попятился...

— Вы богохульствуете, Дориан, — вскричал он, — не следует так говорить! Такие вещи ужасны, но не значат ничего...

¹ *Ментона* — курортный город, на юго-востоке Франции на Лазурном Берегу Средиземного моря.

— Вы думаете? — и он снова рассмеялся.

— Я уверен в этом. Что же касается сказанного мною сейчас, — оно для вашего же блага. Вы знаете, что я всегда был вашим преданным другом.

— Не приближайтесь ко мне! Кончайте то, что вы начали...

Болезненная судорога исказила лицо живописца. Он замолчал, и горячее сочувствие овладело им. В самом деле, — какое право имеет он соваться в жизнь Дориана Грея? Если он сделал даже десятую часть того, что ему приписывают, как он должен страдать?

Тогда он выпрямился, подошел к камину и, усевшись возле огня, принялся смотреть на покрывавшиеся белым, словно иней, пеплом головы и на трепет пламени.

— Я жду, Бэзил, — сказал молодой человек жестко и громко.

Тот обернулся.

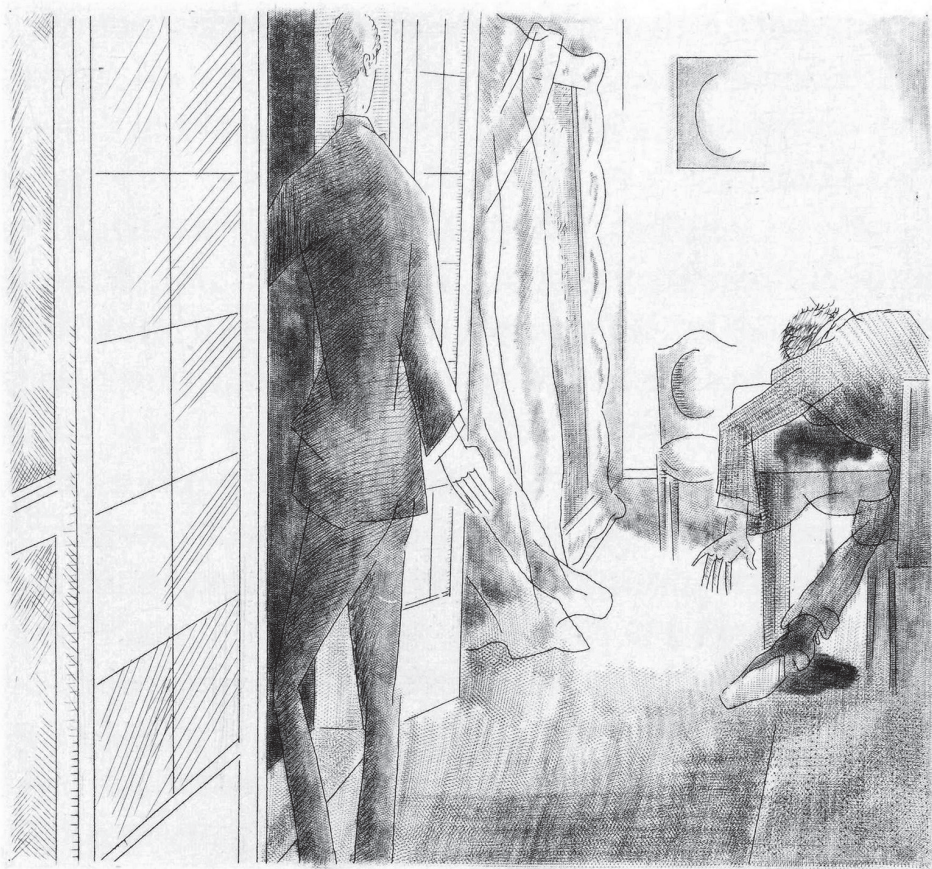
— Я должен вот чего требовать, — вскричал он. — Вы обязаны дать мне ответ на страшные обвинения, возводимые на вас. Если вы мне скажете, что они ложны от начала до конца, я поверю вам. Отвергните их, Дориан, отвергните их! Разве вы не видите — что со мной? Боже мой! Не говорите мне, что вы развратны, злы и покрыты стыдом!..

Дориан Грей усмехнулся. Губы его сжались с выражением удовлетворения.

— Поднимитесь со мною наверх, Бэзил, — сказал он спокойно. — Я веду дневник день за днем и никогда не выношу его из комнаты, где он находится. Я вам покажу его, если вы пойдете со мною.

— Я пойду с вами, Дориан, если вы хотите... Я вижу, что пропустил уже поезд. Что за беда: поеду завтра. Но не заставляйте меня читать что-нибудь сегодня вечером. Мне нужен только ответ на мой вопрос.

— Он будет вам дан мною там, наверху. Здесь я не могу этого сделать. Это недолго прочесть.



ГЛАВА XIII

Он вышел из комнаты и пошел вверх по лестнице. Бэзил последовал за ним. Они шли тихонько, как инстинктивно ходят ночью. От лампы падали фантастические тени на стены и на лестницу. Поднявшийся ветер хлопал окнами.

Когда они достигли верхней площадки, Дориан поставил лампу на пол, вынул ключ и всунул его в замок.

— Вы настаиваете, Бэзил, на том, чтобы узнать? — спросил он, понизив голос.

— Да!

— Я очень рад этому! — сказал он, улыбаясь.

И затем резко прибавил:

— Вы единственный человек в мире, имеющий право знать все, что меня касается. Вы играете большую роль в моей жизни, чем подозреваете.

И, взяв лампу, он открыл дверь и вошел. Холодная струя воздуха охватила их, и мигающий огонь принял на мгновение темно-оранжевый цвет.

Он содрогнулся...

— Заприте за нами дверь, — шепнул он и поставил лампу на стол.

Холлуорд огляделся кругом, глубоко удивленный.

Комната казалась неприбранной много лет. Выцветшие фламандские обои, картина, закрытая покрывалом, старый итальянский сундук и большой пустой библиотечный шкаф составляли всю меблировку, включая стол и стул. Когда он зажег полусгоревшую свечу, стоявшую на камине, то увидел, что вся комната покрыта пылью, а ковер — весь в клочьях. Испуганные мыши опрометью бросились убежать. Чувствовалась влажная сырость плесени.

— Итак, вы думаете, что только один Бог может видеть душу, Бэзил? Снимите занавес — и вы увидите мою.

Его голос звучал холодно и жестоко.

— Вы с ума сошли, Дориан, или ломаете комедию? — пробормотал художник, нахмурившись.

— Вы не смеете? Ну, так я сам покажу, — сказал молодой человек, срывая занавес с его прута и бросая на пол.

Крик смертельного ужаса вырвался у художника, когда он различил при недостаточном свете лампы омерзительное лицо, казалось, гримасничающее на полотне. В его выражении было нечто, переполнившее его отвращением и испугом. О, небо! Могло ли это быть лицом, собственным лицом Дориана Грея! И, как оно ни было сейчас омерзительно, дивная красота его погибла не вполне. Поредевшие волосы еще отливали золотом, и чувственные губы еще блистали пурпуром. Опухшие глаза сохранили еще немного своей ясной лазури, изящные изгибы тонко вычеканенных ноздрей и мощной шеи не окончательно исчезли. Да, это именно Дориан! Но кто это сделал? Ему показалось, что он узнает свою манеру письма. Да и рама та же, которую заказывал он сам. Мысль была чудовищна, он испугался ее и, схватив свечу, подошел к полотну. В левом углу, написанное чистой киноварью, стояло его имя.

Это была злобная пародия, подлая, гнусная сатира! Никогда он этого не писал! Тем не менее, это все-таки его собственная картина. Он ее знает, и ему казалось, что кровь, за минуту кипевшая, застыла у него в жилах. Его собственная картина. Что же это должно значить?.. Что это за перерождение? Он обернулся и посмотрел на Дориана безумными глазами. Его губы тряслись, язык пересох, и он не мог выговорить ни одного слова. Он провел рукою по лбу, покрытому холодным потом.

Молодой человек стоял, опираясь на доску камина, и смотрел на него с тем странным выражением, которое бывает на лицах людей, поглощенных созерцанием игры великого артиста. Это не была ни истинная радость, ни истинная печаль. Это было выражение глаз простого зрителя, быть может, с примесью торжествующего огонька. Он вынул цветок из петлички и усиленно нюхал его.

— Что все это значит? — вскричал, наконец, Холлуорд. Его голос прозвучал с силой, непривычной для его собственных ушей.

— Много лет тому назад, когда я был еще ребенком, — сказал Дориан Грей, смяв в руке цветок, — вы льстили мне и научили меня тщеславиться

своей красотой. Однажды вы познакомили меня с одним из ваших друзей, который объяснил мне чудо молодости, вы же написали мой портрет, который раскрыл мне чудо моей красоты. В момент безумия — о чем я даже сейчас не могу сказать, сожалею я или нет — я выразил желание, которое вы, может быть, назовете молитвой.

— Я припоминаю!.. О, я припоминаю это! Но это же невозможно! В этой комнате сыро, на полотне появилась плесень... В составе красок, которые я употребил, было что-нибудь недоброкачественное... Говорю вам, что это невозможно.

— Ах, есть ли что-нибудь невозможное! — прошептал молодой человек, подходя к окну и прислонясь лбом к ледяному стеклу.

— Вы мне говорили, что уничтожили его?

— Я ошибался. Это он меня уничтожил.

— Я не могу верить, что это моя картина!

— Не можете увидеть на ней вашего идеала? — спросил с горечью Дориан.

— Да, моего идеала, как вы его называете.

— Как вы его называли!

— И в нем не было ничего дурного, ничего позорного! Вы были для меня идеалом, которого я уже никогда больше не встретил... А это — лицо сатира!

— Это лицо моей души!

— Господи! Что я обожал! Ведь это глаза дьявола!

— Всякий из нас носит в себе небо и ад, Бэзил, — вскричал Дориан Грей с яростным жестом отчаянья.

Холлуорд повернулся к портрету и стал на него смотреть.

— Боже, — сказал он, — если все это верно и если вы это сделали из своей жизни, вы еще более растлены, чем могут представить себе те, которые против вас!

Он снова взял свечу, чтобы получше рассмотреть полотно. Поверхность его не подверглась никакому изменению: она была такова, какой он ее оставил. Очевидно, ужас и позор проступали изнутри. Силою какой-то тайной жизни проказа греха изуродовала это лицо. Разложение тела во мраке сырой могилы — вещь менее ужасная.

Рука его затряслась, свеча вывалилась из подсвечника и разбилась на ковре. Он наступил на нее ногой. Затем он упал в кресло и схоронил лицо в руках.

— Милость Божия! Какой урок, Дориан, какой ужасный урок!

Ответа не последовало, только слышны были рыдания молодого человека.

— Будем молиться, Дориан! Будем молиться! — прошептал он. — Что нас учили произносить в детстве? «Не введи нас во искушение... Прости нам долги наши, очисти согрешения наши»... Помолимся вместе. Молитва гордости вашей была услышана. Молитва раскаянья вашего тоже будет услышана. Я вас безмерно обожал! И я наказан... Вы были слишком любимы!.. Мы наказаны оба!

Дориан Грей медленно обернулся к нему и взглянул на него потемневшими от слез глазами.

— Поздно, Бэзил... — прошептал он.

— Никогда не бывает поздно, Дориан! Преклоним колени и попытаемся вспомнить слова молитвы. Разве нет псалма: «Омоешь меня щедротами твоими, и паче снега убелюсь».

— Теперь уже слова эти лишены для меня смысла!

— О, не говорите этого! Вы сделали в жизни довольно зла, Дориан!.. Разве вы не видите его, проклятого, что смотрит на нас?

Дориан Грей взглянул на портрет, и вдруг им овладело чувство, необъяснимое чувство ненависти к Бэзилу Холлуорду, словно внушенное этим образом, написанным на полотне, нашептанное этими искривленными губами... Дикий инстинкт затравленного зверя проснулся в нем, и он возненавидел этого сидящего у стола человека, как никогда ничего не ненавидел в своей жизни.

Он дико осмотрелся кругом... Один предмет блестел на расписном столе против него. Глаза его остановились на нем. Он сообразил, что это — нож, который он принес сюда несколько дней тому назад, чтобы перерезать какую-то веревку, и который он забыл отнести обратно. Он тихонько двинулся вперед и прошел мимо Холлуорда. Очутившись позади него, он схватил нож и огляделся. Холлуорд сделал движение, как бы желая встать... Дориан бросился на него, всадил ему нож позади уха и, перерезав сонную артерию, прижал голову к столу, продолжая наносить бешеные удары...

Послышался задушенный стон и страшный звук крови в горле. Трижды судорожно поднялись руки, безобразно мотая в воздухе скорченными пальцами. Он ударил еще два раза. Человек больше не двигался. Что-то зажурчало, стекая на пол. Он остановился, все время нажимая голову. Затем бросил нож на стол и прислушался.

Ничего не было слышно, кроме капелек, тихо падающих на потертый ковер. Он отпер дверь и вышел на площадку. В доме царила полная тишина. Не было ни души. Несколько мгновений он оставался перегнувшись через перила и желая проникнуть в глубокую и молчаливую пустоту тьмы. Потом вынул ключ, вошел и заперся в комнате.

Человек все сидел в креслах, распростершись на столе, с наклоненной головой, сгорбленными плечами и фантастически длинными руками. Если бы не было красной зияющей дыры на его шее и лужи запекшейся крови под столом, можно было бы подумать, что это спящий.

Как это быстро свершилось! Он чувствовал себя странно спокойным, подойдя к окну, открыл его и высунулся на балкон. Ветер разогнал туман, и небо казалось чудовищным павлиньим хвостом, усеянным мириадами золотых глазков. Он посмотрел на улицу и увидел делающего обход полицейского, который направлял лучи света своего фонаря на двери молчаливых домов. Красный свет фонарей проехавшего купе блеснул на углу и скрылся. Какая-то женщина, завернувшись в платок, медленно скользнула вдоль решетки сквера. Она пошатывалась. Время от времени она останавливалась, оглядываясь. Потом затягивала фальшивым голосом песню. Полисмен

подбежал и заговорил с нею. Она удалилась, спотыкаясь и раздражаясь смехом. Из сквера потянуло резким холодом. Газовые рожки мигали, темнея, и обнаженные ветви деревьев ударялись друг о дружку с сухим шумом.

Он вздрогнул и запер окно.

Подойдя к двери, он повернул ключ в замке и открыл ее. Он даже не взглянул на убитого. Он чувствовал, что эта тайна ничего не изменит в его положении. Друг его, нарисовавший этот портрет, который виновен во всех его несчастиях, удален из его жизни. Вот и все...

Потом вспомнил о лампе. Она была оригинальной мавританской работы, сделанная из массивного серебра, инкрустирована арабесками из вороненой стали и украшена большими сапфирами. Слуга может заметить ее отсутствие и начнет спрашивать. Он колебался с минуту, затем вернулся и взял ее со стола. Он не мог не взглянуть на мертвеца: как он спокоен, как страшно бледны его длинные руки. Какое ужасное восковое лицо!

Заперев за собой дверь, он спокойно спустился по лестнице. Ступеньки скрипели под его ногами, как бы издавая стоны.

Он останавливался несколько раз и ждал... Все было спокойно... Это только его шаги...

Когда он вошел в библиотеку, он заметил чемодан и пальто в углу. Надо их спрятать. Он отпер секретный шкаф, скрытый резьбой, и спрятал их туда. Потом свободно можно это счесть. Он взглянул на часы. Было без двадцати два.

Он уселся и принялся размышлять. Ежегодно, почти ежемесячно, в Англии вешают людей за то, что он сделал. В воздухе было разлитое безумие убийства.словно какая-нибудь красная звезда слишком приблизилась к Земле.

Какие доказательства можно иметь против него? Бэзил Холлуорд ушел от него в одиннадцать часов. Никто не видел, что он вернулся. Большинство слуг были в Селби-Рояль. Лакей спал. Париж! Да! Бэзил уехал в Париж с двенадцатичасовым поездом, как он и собирался. С его привычкой к скрытности — пройдут месяцы, прежде чем подозрения смогут зародиться. Целые месяцы! Все может быть уничтожено гораздо раньше...

Внезапная мысль пронизала его мозг. Он надел шубу и шапку и вышел из подъезда. Затем он стал, прислушиваясь к тяжелым и медленным шагам полицейского по противоположному тротуару и смотрящего на свет своего глухого фонаря, который скользил по стенам домов. Он ждал его, задерживая дыхание.

Через несколько мгновений он открыл засов, выскользнул на улицу и запер потихоньку за собой дверь. Затем позвонил. Минуть через пять появился его слуга, полуодетый и весь заспанный.

— Мне очень досадно, что я вас разбудил, Френсис, — сказал он, входя, — но я забыл мой ключ. Который час?

— Два, сэр, и десять минут, — ответил человек, посмотрев на часы и моргая глазами.

— Два часа десять минут! Я страшно запоздал. Завтра меня надо разбудить в девять, у меня есть дело.

— Слушаю, сэр.

— Никого вечером не было?

— Заходил мистер Холлуорд, сэр. Он оставался до одиннадцати и отправился на поезд.

— О! Как досадно, что я его не видел. Не оставил ли он записочки?

— Нет, сэр. Он сказал, что напишет вам из Парижа, если не застанет вас в клубе.

— Хорошо, Френсис. Не забудьте же разбудить меня завтра в девять.

— Не забуду, сэр.

И человек исчез в коридоре, шлепая туфлями.

Дориан бросил шубу и шляпу на стол и вошел в библиотеку. В продолжение часа он шагал взад и вперед, размышляя. Затем он взял с полки синюю книгу и стал перелистывать.

«Алан Кэмпбелл, 152, Хартфорд Стрит, Мейфер». Да, этот именно тот человек, который ему нужен!



ГЛАВА XIV

На следующий день в девять часов утра слуга вошел к нему с чашкой кофе на подносе и открыл ставни. Дориан спокойно спал на правом боку, подложив руку под щеку. Он похож был на ребенка, утомленного играми или ученьем.

Лакей должен был два раза тронуть его за плечо, чтобы он проснулся. Слабая улыбка проявилась на его губах, как будто после чего-то восхитительного во сне. Однако, ему ровно ничего не снилось. Его ночь не была обеспокоена никакими видениями — ни горя, ни наслаждений.

Но молодость улыбается беспричинно — это одно из ее прелестнейших преимуществ.

Он повернулся, приподнялся на локте и принялся отпивать маленькими глоточками свой шоколад. Бледное ноябрьское солнце заливало его комнату. Небо было чисто, в воздухе чувствовалась приятная теплота. Мало-помалу события истекшей ночи вернулись ему на память, бесшумно подходя кровавыми шагами. Они восстанавливались сами собой с ужасающей точностью.

Он содрогнулся от воспоминания обо всем, что он выстрадал, и то же самое непонятное чувство ненависти к Бэзилу Холлуорду, которое побудило его убить его, когда он сел в кресло, переполнило его и охватило холодной дрожью. Мертвец ведь еще там, наверху, и его тоже теперь озаряет яркий солнечный свет. Это страшно! Такие отвратительные вещи сделаны для ночи, а не для дня.

Он почувствовал, что если будет продолжать раздумывать об этом, то сойдет с ума или заболеет. Есть грехи, которые очаровательнее в воспоминании, чем на деле, — странное торжество, которое удовлетворяет больше гордость, чем страсти и дает уму большее наслаждение, чем может когда-либо дать чувству. Но этот случай был не таков. Это было воспоминание, которое хочется изгнать из памяти, одурманить маками, задушить, чтобы оно не задушило его самого.

Когда пробил полчас, он провел рукою по лбу и поспешно встал. Он оделся тщательнее обыкновенного, долго выбирал галстук, булавку и несколько раз переменял кольца.

Он употребил много времени на завтрак, отвеживая разных блюд, болтая со слугою о новой ливрее, которую он хочет заказать для прислуги в Селби, и пересматривал почту.

Одно письмо заставило его улыбнуться, три другие показались ему скучными. Одно из них он перечитал несколько раз, затем разорвал его с легким выражением утомления: «ужасная вещь — память женщины, говорит лорд Генри», — прошептал он.

Допив чашку черного кофе, он вытер губы салфеткой, сделал знак слуге подождать и сел за стол — написать два письма. Одно он сунул себе в карман, другое протянул слуге.

— Отнесите это на Хартфорд Стрит, 152, Френсис, и если мистера Кэмпбелла нет в Лондоне, узнайте его адрес.

Оставшись один, он закурил папиросу и принялся рисовать на бумаге, набрасывая цветы, архитектурные мотивы, затем человеческие лица. Но вдруг обратил внимание, что каждый фантастический облик, который он намечал, имел странное сходство с Бэзилом Холлуордом. Он содрогнулся, встал, пошел в библиотеку и схватил первую попавшуюся книгу. Дориан решил, что будет думать о последних событиях лишь постольку, поскольку это окажется необходимым.

Растянувшись на диване, он посмотрел заглавие. Это было издание Шарпантье¹ на японской бумаге — «Эмали и Камеи» Готье, украшенное офортом Жакмара². Переплет был из лимонно-желтой кожи, с тисненой золотой решеткой, усеянной гранатами. Книгу эту ему подарил Адриан Синглетон.

¹ *Жорж Шарпантье* — французский издатель XIX в., который стал известен как защитник писателей-натуралистов: Эмиля Золя, Гюстава Флобера и Ги де Мопассана.

² *Жюль Фердинанд Жакмар* — французский акварелист и гравер, на офорте Камея с портретом Теофиля Готье.

Перелистывая страницы, он остановился на поэме о руке Ласенера, желтой и холодной руке, «с которой еще не смыты следы мучительства», обросшей рыжей шерстью и «пальцами фавна». Он взглянул на собственные белые и тонкие пальцы и слегка задрожал. Он продолжал перелистывать книгу и остановился на чудных стансах о Венеции:

Во хроматической гамме,
Со струисто-жемчужною грудью
Венера Адриатики
Выходит из волн — вся бело-розовая.
Купола на лазурных волнах,
Как четко вычеканенная фраза,
Вздыхаются, словно упругие груди,
Колеблемые вздохом любви.
Гондола причаливает и высаживает.
Закинув веревку за колонну,
Перед розовым фасадом
На мраморную лестницу.

Как это мило! Прямо кажется, когда это читаешь, что скользишь по зеленым лагунам ее, цвета роз и жемчуга, сидя в черной гондоле с серебряной кормой и опущенными занавесками. Эти простые строки напоминали ему те длинные бирюзовые полосы, что медленно чередуются на горизонте Лидо¹. Внезапные вспышки красок представлялись ему теми птицами с шейкой опалово-ирисового цвета, что летают вокруг высокой колокольни, трубчатой, как медовый сот, или прохаживаются с такой грацией под мрачными и пыльными аркадами. Он откинулся, полузакрыв глаза и повторяя про себя:

Перед розовым фасадом
На мраморную лестницу...

Вся Венеция в этих двух строчках... И он вызвал в памяти осень, которую он там прожил и волшебную любовь, толкавшую его на восхитительно горячие сумасбродства. Она полна романов. Но Венеция, подобно Оксфорду, остается настоящей рамкой для романа и всего романического, а рамка — ведь это все. Бэзил пробыл с ним некоторое время и ошалел от Тинторетто! Бедный Бэзил, какая ужасная смерть!

Он снова задрожал и принялся за книгу, усиливаясь забыть. Он прочел еще чудесные стихи о ласточках маленького смиренного кафе, которые влетают и вылетают, в то время как сидящие там хаджи перебирают зерна своих четок из амбры, а купцы в тюрбанах курят свои длинные трубки с кистями и важно беседуют между собой. И еще те, где обелиск на площади Согласия оплакивает гранитными слезами свое изгнание в бессолнечную страну, изнемогая от невозможности вернуться к знойному Нилу, покрытому лотосами,

¹ *Лидо* — узкий остров, протяженностью 12 км., отделяющий Венецианскую лагуну от Средиземного моря.

к сфинксу, к розовым и красным ибисам, к белым коршунам с золотыми когтями, к крокодилам с маленькими берилловыми глазками, барахтающимся в зеленом дымящемся иле. Он замечтался о стихах, воспевающих мрамор, запятнанный поцелуями, и рассказывающих нам о таинственной статуе, которую Готье сравнивает с голосом контральто, о «*monstre charmant*»¹, чудовище, находящемся в порфировой зале Лувра.

Но скоро книга выпала из его рук... Он начинал нервничать, его охватывал ужас. Что если Алана Кэмпбелла нет сейчас в Англии? До его возвращения может пройти много дней. Быть может, он еще откажется приехать. Что тогда? Каждая минута — вопрос жизни или смерти. Они были большими друзьями пять лет тому назад, почти неразлучными в самом деле. Потом их близость вдруг оборвалась. Когда они встречались в свете, улыбался только Дориан Грей, но Алан Кэмпбелл — никогда больше.

Это был очень неглупый молодой человек, хотя и вовсе не ценил пластического искусства, несмотря на некоторое понимание красот поэзии, целиком позаимствованное им у Дориана Грея. Преобладающей страстью его была наука. В Кембридже большую часть своего времени он проводил в лаборатории и занял видное место среди обучавшихся естествознанию. Он также много занимался химией, имел собственную лабораторию, где запирался на целые дни к великому отчаянию матери, которая мечтала для него о местечке в Парламенте и питала смутную уверенность в том, что химик — это человек, прописывающий рецепты. Кроме того, он был хороший музыкант и играл на скрипке и рояле лучше многих любителей. Музыка-то и сблизила их. Музыка и та неуловимая притягательность, которую Дориан мог проявлять всякий раз, когда этого желал, и часто тогда, когда не желал этого сознательно. Они встретились у леди Беркшир в тот вечер, когда у нее играл Рубинштейн, и с тех пор их всегда видели вместе в опере и везде, где была хорошая музыка.

Эта близость продолжалась восемнадцать месяцев.

Кэмпбелл постоянно был или в Селби-Рояль, или на Гросвенор Сквере. Для него, как и для многих других, Дориан являлся олицетворением всего чудесного и увлекательного в жизни. Поссорились ли они потом — никто этого не знал. Но замечали, что они почти не разговаривали друг с дру-

¹ *Monstre charmant* — прекрасный монстр, скульптура „Спящий гермафродит“. Римская копия II в. н. э.

В музее древнего познания
Лежит над мраморной скамьей
Загадочное изваянье
С тревожащею красотой...

О, как ты мил мне, тембр чудесный,
Где юноша с женою слит,
Контральто, выродок прелестный,
Голосовой гермафродит!

Перевод Н. Гумилева

гом при встречах и что Кэмпбелл всегда рано уезжал с собраний, на которых присутствовал Дориан Грей.

Он изменился. Он впал в странную грусть, казалось, возненавидел музыку, не играл больше сам, когда его просили, и, ссылаясь, в качестве извинения, на научные занятия, которые так его поглощают, что не оставляют ему времени упражняться. И это было верно. Каждый день он все больше интересовался биологией, имя его несколько раз было упомянуто в научных журналах по поводу научных опытов.

Этого человека Дориан и ожидал. Ежеминутно он взглядывал на часы. И по мере того, как минуты проходили, он делался все возбужденнее. Он встал и заметался по комнате, как птица в клетке. Походка у него была нервная, а руки — странно холодны.

Ожидание делалось нестерпимым. Время, казалось ему, двигается черепашьим шагом, а себя самого он чувствовал словно подхваченным чудовищным ураганом и очутившимся на краю зияющей бездны. Он знал, что его ждет, он видел это, он влажными руками прижимал свои горящие веки, как бы желая уничтожить зрение или вдавить свои глаза глубоко-глубоко в орбиты... Но тщетно!.. Его мозг питался собственными запасами, и видение уродливого ужаса, извиваясь в судорогах, тягостно безобразное, танцевало перед ним, как чудовищное чучело, меняющее свои гримасничающие личины. Тогда вдруг время для него остановилось, и эта слепая сила с медленным дыханием прекратила свое движение... Ужасные мысли в эти мертвые мгновения представляли ему омерзительное будущее. Созерцая его, он проникался отчаяньем...

Наконец, дверь открылась, и вошел слуга. Он устремил на него блуждающий взор.

— Мистер Кэмпбелл, сэр, — сказал человек.

Вздых облегчения вырвался из пересохших уст молодого человека, и румянец вернулся на его щеки.

— Просите, Френсис.

Он чувствует, что овладевает собою. Припадок малодушия прошел.

Слуга поклонился и вышел. Через минуту вошел Алан Кэмпбелл, суровый и бледный, с бледностью, которая казалась особенно сильной от его черных волос и бровей.

— Алан!.. Это очень любезно с вашей стороны... Благодарю вас, что пришли...

— Я решил никогда не переступать вашего порога, Грей, но так как вы говорите, что это вопрос жизни или смерти...

Голос его был жесток и холоден. Он говорил медленно. В его уверенном и испытующем взгляде, уставленном на Дориана, был оттенок презрения. Он держал руки в карманах своего каракулевого пальто и делал вид, что не замечает оказанного ему приема.

— Да, это вопрос жизни и смерти, Алан, и более, чем для одного лица.

Кэмпбелл сел на стул возле стола, Дориан — напротив него. Глаза их встретились. Бесконечное сожаление читалось в глазах Дориана. Он знал, что то, что он собирается сделать — ужасно!

После тяжелого молчания, он наклонился над столом и спокойно заговорил, подстергая впечатление, производимое его словами на лице того, кого он призвал:

— Алан, в запертой на ключ комнате наверху этого дома, в комнате, которую не посещает никто, кроме меня, сидит у стола мертвый человек. Он мертв вот уже десять часов. Не двигайтесь и не смотрите на меня так... Кто этот человек, как и почему он умер — это вас не касается. Все, что вы можете тут сделать...

— Стойте, Грей!.. Я ничего больше не хочу знать. То, что вы мне сказали, правда это или нет, — меня не касается. Я безусловно отказываюсь быть причастным к вашей жизни. Храните про себя ваши страшные тайны. Они меня не интересуют больше.

— Алан, они должны вас интересовать. Это вас заинтересует. Я жестоко огорчен за вас, Алан. Но я ничего тут не могу поделать. Вы единственный человек, который может меня спасти. Я вынужден вас вмешивать в это дело. У меня нет выбора, Алан, вы — ученый. Вы знаете химию и все, что с ней соприкасается. Вы делали опыты. То, что вы должны сейчас сделать, это уничтожить тело там наверху, так уничтожить, чтобы не осталось никакого следа. Никто не видел, как этот человек вошел в дом. Все считают, что он сейчас в Париже. Целые месяцы никто не спохватится об его исчезновении. А когда спохватятся — не останется никаких следов от его пребывания здесь. Вы же, Алан, должны превратить его со всем, что у него есть, в горсть пепла, которую я смогу развеять по ветру.

— Вы помешались, Дориан.

— А! Я ждал, что вы назовете меня Дорианом!

— Вы помешаны, говорю я, помешаны, ожидая, что я хоть пальцем шевельну, чтобы вам помочь, помешаны, признаваясь мне в подобной вещи! Я не хочу иметь ни малейшего касательства к этой истории. Неужели вы думаете, что я рискну собою для вас? Какое мне дело до дьявольской штуки, которую вы проделали!

— Он сам покончил с собой, Алан...

— Это было бы лучше... Но кто его затащил туда? Я полагаю — вы?

— Так вы отказываетесь сделать это для меня?

— Конечно, отказываюсь. Я совершенно не желаю этим заниматься. Меня несколько не трогает позор, который вас ожидает. Вы его заслуживаете. Мне не будет неприятно, если вы будете обесчещены, публично обесчещены. Как вы осмеливаетесь обратиться ко мне, не к кому другому, а именно ко мне, чтобы я впутался в это ужасное дело? Я полагал бы, что вы лучше должны понимать характеры. Ваш друг лорд Генри Эштон мог получше поучить вас психологии, кроме того прочего, чему он вас выучил. Ничто не заставит меня

решиться сделать хоть шаг, чтобы спасти вас! Вы обратились не по адресу. Попросите кого-нибудь другого из ваших присных. Не обращайтесь ко мне!..

— Алан, это убийство... Я убил!.. Вы представить себе не можете, что он заставил меня выстрадать. Каково мое существование — большее моей гибели следует приписать ему, чем бедному Гарри. Возможно, что он этого не хотел, но последствия те же...

— Праведное небо! Убийство! Так вы дошли до этого, Дориан! Я не донесу на вас, это не мое дело. Но даже и без моего вмешательства вас, наверное, арестуют. Никто не совершает убийства, не сделав какой-нибудь неосторожности. Но мне здесь делать нечего...

— И все-таки нужно, чтобы здесь что-нибудь подделали... Погодите! Погодите минутку, выслушайте меня... Только выслушайте, Алан. Все, чего я от вас требую — это произвести научный опыт. Вы же ходите в госпитали и в морги, и ужасы, которые вы там проделываете, не волнуют вас. Если бы вы нашли в одной из этих вонючих лабораторий или секционных зал человека на свинцовом стуле, окруженном желобками, куда стекает кровь, вы просто посмотрели бы на него, как на великолепный объект... Ни один волос не шелохнулся бы на вашей голове... Вы бы и не представили себе, что делаете что-то дурное. Наоборот, вы бы думали, что работаете на пользу человечеству, что обогащаете научную сокровищницу мира, что удовлетворяете умственную любознательность, или что-нибудь в этом роде. Я прошу у вас только того, что вы уже делали так часто. Подумайте: этот труп — единственное доказательство, которое существует против меня. Если его найдут — я погиб, а его, наверное, найдут, если вы не поможете мне!..

— Я не имею ни малейшего желания вам помочь. Вы забываете это. Я просто равнодушен к этому делу. Оно не занимает меня.

— Алан, заклинаю вас! Подумайте, в каком я положении! Когда вы пришли — я был близок к обмороку от ужаса... Быть может, наступит день, когда вы сами познаете этот ужас. Но нет, не думайте об этом. Смотрите на вещи с чисто научной точки зрения. Разве вы всегда справляетесь, откуда берутся трупы, служащие вам для опытов? Не справляетесь и об этом. Я вам и так слишком много сказал. Умоляю вас сделать это! Мы были друзьями, Алан!

— Не говорите об этих днях, Дориан. Это умерло.

— Мертвые иногда медлят. Человек, что там, наверху, — не уйдет... Он сидит за столом, нагнув голову и вытянув руки. Алан! Алан! Если вы не поможете мне, я погиб! О! Ведь они меня повесят, Алан! Понимаете? Они меня повесят за то, что я сделал!

— Бесполезно продолжать эту сцену. Я категорически отказываюсь вмешаться в это. Безумие с вашей стороны просить меня об этом!

— Вы отказываете?

— Да.

— Умоляю вас, Алан!

— Это бесполезно!

Прежний взгляд жалости появился у Дориана Грея. Он протянул руку, взял бумажку и написал на ней несколько слов. Он перечитал это дважды, старательно сложил клочок и бросил ее на стол. Затем встал и отошел к окну.

Кэмпбелл с удивлением посмотрел на него, потом взял бумажку и развернул. По мере прочтения ужасающая бледность покрыла его черты. Он откинулся на спинку кресла. Сердце его билось, готовое разорваться.

После двух или трех минут ужасающего молчания Дориан обернулся, подошел сзади к нему и положил ему на плечо руку.

— Я огорчен за вас, Алан, — шепнул он, — но вы не оставили мне другого исхода. Я уже приготовил письмо, вот оно. Посмотрите на адрес. Если вы мне не поможете, я его отошлю. Если вы мне не поможете — необходимо, чтобы я отослал его. Но вы мне поможете. Вы не можете мне отказать теперь. Я пытался избавить вас от этого. Вы по справедливости должны признать это. Вы были суровы, грубы, оскорбительны. Вы со мной так обращались, как не осмеливался ни один человек, то есть живой человек, по крайней мере. Я все перенес. Теперь моя очередь ставить условия.

Кэмпбелл закрыл лицо руками. Он дрожал.

— Да, теперь моя очередь ставить условия, Алан. Вы их знаете. Это все очень несложно. Не доводите себя до лихорадки. Нужно, чтобы вещь была сделана. Признайте это и сделайте это.

Из уст Кэмпбелла вырвался стон, он начал дрожать всем телом. Тиканье часов на камине, казалось ему, разделяет время на последовательные атомы агонии и каждый из них так тяжел, что его трудно вынести. Ему казалось, что железный обруч сжимает его лоб и что позор, которым ему угрожают, уже достиг его. Рука, лежащая на его плече, нестерпимо давила его, словно свинцом. Ему казалось, что она раздавливает его.

— Итак, Алан!.. Вы должны решиться!

— Не могу! — сказал тот машинально, как будто эти слова могли изменить его положение.

— Надо. У вас нет выбора... Не медлите!

Тот поколебался мгновение.

— Есть ли там огонь, наверху?

— Да. Там есть газовый прибор с асбестом.

— Я должен сходить к себе за некоторыми приборами из лаборатории.

— Нет, Алан, вы не уйдете отсюда. Напишите на листке, что вам нужно, слуга возьмет кеб и привезет сам.

Кэмпбелл нацарапал несколько слов, прижал пропускной бумагой и подписал на конверте адрес своего помощника. Дориан внимательно проверил написанное, затем позвонил и приказал своему слуге вернуться так скоро, как только возможно, и привезти требуемые вещи.

Когда дверь на улицу захлопнулась, Кэмпбелл нервно вскочил и подошел к камину. Казалось, его трясло в лихорадке. Более двадцати минут никто из них не произносил ни слова. Только муха глухо жужжала в комнате, да

часы отбивали свое тик-так, словно стучал молоток. Пробил час. Кэмпбелл обернулся, взглянул на Дориана и увидел, что глаза у него полны слез. Что-то такое чистое и благородное было в этом полном отчаянья лице, что это вывело его из себя.

— Вы мерзавец, совершенный мерзавец, — пробормотал он.

— О! Алан!.. Вы спасли мне жизнь! — сказал Дориан.

— Вашу жизнь! Праведное небо!.. Какую жизнь? От порока к пороку вы дошли до преступления. Делая то, что я делаю, — или, вернее, что вы заставляете меня делать, — я забочусь не о вашей жизни!

— Ах, Алан! — вздохнул Дориан, — желал бы, чтобы вы имели ко мне тысячную долю той жалости, которая у меня к вам...

Говоря это, он повернулся к нему спиной и отошел снова к окну в сад.

Кэмпбелл не ответил ничего.

Спустя минут десять постучали в дверь. Вошел слуга, неся большой ящик красного дерева, полный разных снадобий, катушку с платиной и стальной нитью и два железных крюка странной формы.

— Поставить это здесь, сэр? — спросил он у Кэмпбелла.

— Да, — сказал Дориан, — и мне нужно кое-что еще поручить вам, Френсис. Как зовут человека из Ричмонда, который поставляет орхидеи в Селби?

— Харден, сэр.

— Да, Харден... Вы должны сейчас же отправиться в Ричмон: увидите самого Хардена и скажите ему, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем заказано, и белых как можно меньше. Погода чудная, и Ричмонд — великолепная местность, иначе я не затруднял бы вас поручением.

— Никакого затруднения, сэр. К которому часу я должен вернуться?

Дориан взглянул на Кэмпбелла.

— Сколько времени потребует ваш опыт, Алан? — спросил он тихим и равнодушным тоном, как будто присутствие третьего лица придавало ему неожиданного мужества.

Кэмпбелл вздрогнул и закусил губы.

— Около пяти часов...

— Вы можете, значит, возвратиться около семи с половиною, Френсис. Или даже вот как: приготовьте мне одеться. Вы будете свободны весь вечер. Я обедаю не дома и, следовательно, не буду совсем иметь в вас надобности.

— Благодарю, сэр, — сказал слуга, выходя.

— Теперь, Алан, не будем терять ни минуты. Какой тяжелый ящик! Я его понесу, берите остальное.

Он говорил быстро, как бы приказывая. Кэмпбелл чувствовал, что им управляют. Они вместе вышли.

Придя на площадку последнего этажа, Дориан вынул ключ и вложил в замок. Затем остановился, задрожав, с помутившимися глазами.

— Я не смогу войти, Алан! — прошептал он.

— Это мне все равно. Я в вас не нуждаюсь, — холодно сказал Кэмпбелл.

Дориан приоткрыл дверь. И в тоже мгновение при ярком солнечном свете он увидел глаза портрета, устремленные на него. Перед ним, на полу, валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что в прошлую ночь он первый раз в жизни забыл закрыть роковую картину. Ему захотелось убежать, но, весь трепеща, он сдержался.

Что это было за омерзительное красное пятно на одной из его рук, как будто полотно запачкано кровью! Как это было ужасно! Ужаснее, как показалось ему на минуту, чем эта неподвижная и безмолвная масса, налетшая на стол. Эта уродливая и отвратительная масса, тень которой падала на измятый ковер, показывая, что она не двинулась с места и все время тут, где он ее оставил...

Он испустил глубокий вздох, отпер дверь шире и, полузакрыв глаза и отвернув голову, быстро вошел, решив не бросить даже взгляда на труп... Затем, схватив ткань из пурпура и золота, набросил ее на картину.

Затем он остался неподвижным, устремив глаза на рисунок узора, который был перед ним. Он слышал, как входит Кэмпбелл, втаскивая тяжелый ящик и металлические предметы, необходимые для его ужасной работы. Он спрашивал себя — не встречались ли когда-нибудь Кэмпбелл с Бэзилем Холлуордом и что они, в таком случае, думали друг о друге.

— Оставьте меня теперь, — сказал жесткий голос позади него.

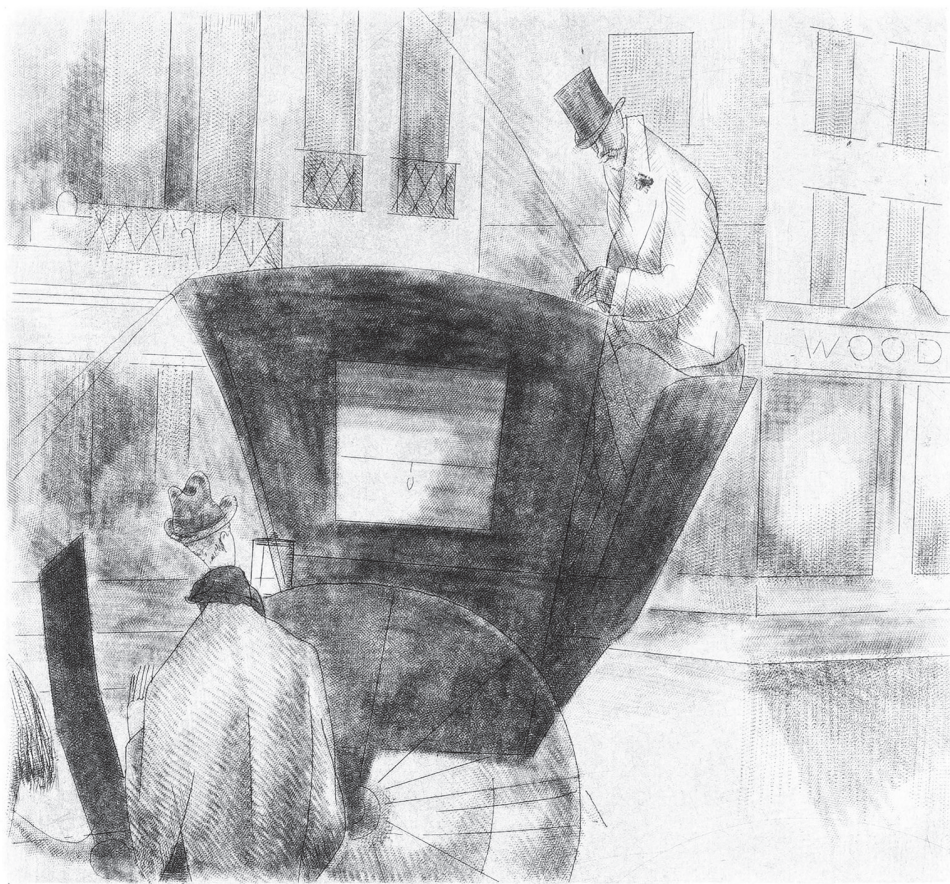
Он повернулся и поспешно вышел, смутно разглядев труп, откинутый на спинку кресла, и Кэмпбелла, глядящего ему в желтое лоснящееся лицо. Уходя, он услышал щелканье ключа в замке. Алан заперся.

Было гораздо больше семи часов, когда Кэмпбелл вошел в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.

— Я сделал, что вы требовали, — пробормотал он. — Теперь прощайте! Мы больше не увидимся никогда!

— Вы мне спасли жизнь, Алан, — сказал Дориан просто. — Я никогда этого не забуду.

Как только Кэмпбелл ушел, он поднялся наверх. Отвратительный запах азотной кислоты наполнял комнату. Но предмет, сидевший утром у стола, исчез.



ГЛАВА XV

В тот же вечер, в половине девятого, великолепно одетый, с букетом пармских фиалок в петличке, Дориан Грей был введен в салон к леди Нарборо почтительно склоняющимися слугами.

Жилы на его висках бешено стучали, он был в состоянии дикого возбуждения, но изящный поклон, с которым он подошел к руке хозяйки дома, был так же безукоризнен, как обыкновенно — быть может, и чувствуешь себя легче всего, когда играешь комедию. Уж, наверное, никто из присутствующих и подозревать не мог, что он пережил такую страшную драму, что подобной ей нет в нашу эпоху. Эти тонкие пальцы не могли вонзить нож, эти улыбающиеся губы не могли богохульствовать. Помимо себя самого, он не мог не удивляться своему спокойствию и глубоко ощущал ужасающее наслаждение жить двойной жизнью.

Это был маленький интимный вечерок, скоро превратившийся в сутолоку самой леди Нарборо, женщины чрезвычайно умной, о которой лорд Генри выражался, что она сохранила остатки «замечательного безобразия». Она была превосходной супругой одного из самых скучных наших посланников и, прилично схоронив своего мужа в мраморном мавзолее, рисунок которого

дала сама, затем, выдав дочерей за богатых, солидных людей, она предалась с тех пор наслаждениям французским искусством, французской кухней и французским остроумием, насколько могла его достигнуть.

Дориан был ее большим любимцем. Она ему всегда повторяла, что счастлива, что не была с ним знакома в молодости.

— Так как, мой милый друг, я уверена, что безумно влюбилась бы в вас, — поясняла она, — и пустилась бы из-за вас во все тяжкие! К счастью, тогда еще не думали даже! Кроме того, наши чепчики были так противны, а мельницы так заняты выжиданием ветра, что я никогда так и не пофлиртовала ни с кем. Кроме того, виноват был Нарборо. Он был так близорук, что не стоило обманывать мужа, который не мог этого заметить.

Гости в этот вечер были довольно неинтересные. Пока она беседовала с Дорианом, прикрывшись стареньким всеером, приехала одна из ее замужних дочерей и, в довершение несчастья, привезла с собой мужа.

— Это очень невежливо с ее стороны, — шепнула она ему на ухо. — Конечно, я провожу с ними каждое лето, возвращаясь из Гамбурга, но нужно же старой женщине, как я, подышать немного чистым воздухом. Я встряхиваю их немного. Вы не можете себе представить, что за жизнь они ведут. Самую настоящую деревенскую. Они рано встают, потому что у них столько дел, и ложатся так рано, потому что им не о чем думать... Со времен королевы Елизаветы там не случилось ни одного скандала, так что они спят даже после обеда. Не садитесь возле них. Останьтесь подле меня и развлекайте меня!

Дориан пробормотал любезность и посмотрел вокруг себя. Несомненно — это было прескучное собрание. Двух присутствующих он не знал, а остальные были — Эрнест Харроуден, одна из тех посредственностей неопределенного возраста, столь обычных в лондонских клубах, у которых нет врагов и которых так терпеть не могут их друзья, леди Рэкстон, особа лет сорока семи, в кричащем туалете, со вздернутым носом, всю жизнь пробующая прослыть скомпрометированной, но такая неинтересная, что никогда никто не пожелал, к ее великому огорчению, поверить в возможности злословия на ее счет, миссис Эрлинн, с рыжими, венецианского оттенка волосами, сдержанная, восхитительно заикающаяся, леди Элис Чэпмен, дочь хозяйки, кислая и плохо одетая, образец тех ординарных британских наружностей, которых потом не можешь вспомнить, и ее, наконец, муж — существо с красными щеками, седыми бакенбардами, который, как и все его сорта, воображал, что избыток жизнерадостности может заменить полное отсутствие мысли.

Дориан почти сожалел уже, что пришел, как вдруг леди Нарборо взглянула на часы на камине, задрапированном тканью цвета тауве, и вскричала:

— Как дурно со стороны Генри Эштона запаздывать! Я к нему нарочно посылала сегодня утром, и он обещал непременно быть у меня!

Для него было утешением узнать, что Гарри придет, и когда открылась дверь и он услышал его нежный, мелодический голос, придающий очарование даже неискренним любезностям, скука оставила его.

За столом он, однако, ничего не ел. Блюда следовали одно за другим, но он не отвеживал их. Леди Нарборо непрерывно на него ворчала за то, что она называла «оскорблением Альфонсу, составлявшему меню специально для вас». По временам на него взглядывал лорд Генри и удивлялся его молчанию и поглощенному виду. Лакеи то и дело пополняли его бокал шампанским, он усердно пил, и жажда его, казалось, только увеличивалась.

— Дориан, — сказал, наконец, лорд Генри, когда подали *chaud-froid*¹, — что с вами сегодня? Вы, по-видимому, не в своей тарелке...

— Он влюблен, — воскликнула леди Нарборо, — и боится мне признаться, чтобы я не приревновала. И он прав: я непременно приревную...

— Дорогая леди Нарборо, — пробормотал Дориан, улыбнувшись, — я не влюбляюсь уже с тех самых пор, как мадам Ферроль покинула Лондон.

— Как только мужчины могут влюбляться в эту женщину, — вскричала старая дама. — Я этого совершенно не могу понять!..

— Это потому, что она вам напоминает ваши детские годы, леди Нарборо, — заявил лорд Генри. — Она — единственное звено между нами и вашими короткими платьицами!

— Она мне вовсе не напоминает моих коротких платьев, лорд Генри. Но я хорошо помню, что видывала ее в Вене лет тридцать назад... Ну, уж и бывала она тогда *decolletée*...

— Она и теперь *decolletée*, — сказал тот, беря булавку своими длинными пальцами, — и когда она одевается парадно, она похожа на роскошное издание плохого французского романа. Она поистине необыкновенна и полна неожиданностей. Ее любовь к семье просто удивительна — после смерти ее третьего мужа волосы ее сделались совершенно золотистыми от горя!

— Как можно говорить это, Гарри!.. — вскричал Дориан.

— Объяснение вполне романтическое! — улыбнулась хозяйка.

— Ее третий муж, лорд Генри?.. Не хотите ли вы сказать, что Ферроль — четвертый?..

— Именно так, леди Нарборо!..

— Не верю нисколько!

— Спросите тогда у мистера Грея... Он весьма близкий ее друг...

— Правда ли это, мистер Грей?

— Она мне так говорила, леди Нарборо, — сказал Дориан. — Я у нее спрашивал — не носит ли она, подобно Маргарите Наваррской, их набальзамированные сердца у пояса. Она мне отвечала, что не носит, так как у них сердец не было.

— Четыре мужа!.. Могу сказать — *trop de zèle*!..²

— *Trop d'audace*³, сказал я ей, — заметил Дориан.

¹ *Chaud-froid* — заливное из дичи (фр.).

² *Trop de zèle* — много рвения (фр.).

³ *Trop d'audace* — много смелости (фр.).

— Ну, она достаточно смела... А каков Ферроль? Я с ним незнакома.

— Мужья хороших женщин принадлежат к классу преступников, — сказал лорд Генри, прихлебывая вино.

Леди Нарборо хлопнула его своим веером.

— Лорд Генри, не удивляюсь, что свет вас считает крайне злым!

— Почему бы свет мог это находить? — спросил лорд Генри, поднимая голову. — Разве еще тот свет... А с этим — мы в превосходных отношениях.

— Все, кто вас знает, считают вас очень злым, — вскричала старая дама, покачав головой.

Лорд Генри стал на минуту серьезен.

— Это просто чудовищно — эта теперешняя манера говорить за спиною человека вещи, которые... безусловно верны, — сказал он наконец.

— Он неисправим! — воскликнул Дориан, откидываясь на спинку кресла.

— Я думаю! — сказала, смеясь, хозяйка. — Но если, в самом деле, вы все так смехотворно обожаете мадам Ферроль — вижу я, что и мне надо выйти замуж, чтобы войти в моду!

— Вы никогда не выйдете опять замуж, леди Нарборо, — прервал лорд Генри, — вы были слишком счастливы в первый раз. Когда женщина вторично выходит замуж, это всегда значит, что она была несчастлива с первым мужем. А когда мужчина женится вторично — значит он обожал свою первую жену. Женщина ищет счастья, мужчина любит рисковать своим.

— Нарборо не был совершенством! — вскричала старая дама.

— Если бы он им был, вы бы не обожали его, — последовал ответ, — женщины любят нас за наши недостатки. Если их у нас изрядное количество, они прощают нам все, даже ум. Боюсь, что вы не станете больше приглашать меня, леди Нарборо, но это истинная правда!

— Конечно, это верно, лорд Генри! Если бы мы, женщины, не любили вас и с недостатками — что бы с вами было! Ни один из вас не мог бы жениться. И вы превратились бы в кучу несчастных холостяков! Хотя, откровенно сказать, от этого немного бы изменилось — теперь все женатые люди живут как холостяки, а все холостяки — как женатые люди.

— *Fin de siècle*!¹ — пробормотал лорд Генри.

— *Fin du globe*!² — ответила хозяйка.

— Я хотел бы, что бы это был лучше *fin du globe*, — вздохнул Дориан. — Жизнь — одно великое разочарование.

— Ну, милый друг! — вскричала леди Нарборо, надевая перчатки. — Не говорите мне, что вы исчерпали жизнь. Когда человек говорит это, он этим доказывает, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри очень зол, совсем как я. Но вы — вы сделаны быть добрым, вы так прекрасны. Я найду для вас красивую жену. Лорд Генри, не находите ли вы, что мистеру Грею следует жениться?

¹ *Fin de siècle* — конец века (фр.).

² *Fin du globe* — конец света (фр.).

— Я ему всегда это говорил, леди Нарборо, — согласился, поклонившись, лорд Генри.

— Хорошо, так мы займемся приисканием для него подходящей партии. Сегодня вечером я просмотрю «*Debrett*»¹ и отмечу там всех невест...

— И их возраст, леди Нарборо? — спросил Дориан.

— Конечно, и их возраст, тщательно проверив. Но ничего не нужно делать второпях. Я хочу того, что *Morning Post* называет избранным союзом, я хочу, чтобы вы были счастливы!

— Что за глупости говорятся о счастливых браках! — воскликнул лорд Генри. — Человек может быть счастлив с какой угодно женщиной, пока ее не полюбит!

— Ах, какой вы ужасный циник! — сказала старая дама, вставая и делая знак леди Рэкстон. Нужно, чтобы вы почаще приходили ко мне обедать. Вы — превосходное тоническое средство, гораздо лучшее, чем те, что мне прописывает сэр Эндрю. Скажите мне также — с кем бы вы хотели у меня встречаться... я хочу сделать самый лучший выбор.

— Я люблю мужчин, у которых есть будущее, и женщин, у которых есть прошлое, — ответил лорд Генри. — Не находите ли вы, что они могут составить приятную компанию?

— Боюсь, что да! — сказала она, смеясь и направляясь к двери. — Простите, милая леди Рэкстон, я и не заметила, что вы не закурили вашей папиросы.

— Не беда, леди Нарборо, я курю слишком много. Я буду впредь курить меньше...

— Не делайте этого, леди Рэкстон, — сказал лорд Генри, — «в меру» — так же скучно, как обыкновенный обед, «чересчур» — так же хорошо, как целое празднество.

Леди Рэкстон посмотрела на него с любопытством.

— Вы должны прийти ко мне как-нибудь после полудня, разъяснить мне это, лорд Генри. Ваша теория показалась мне увлекательной, — шепнула она, величественно удаляясь.

— Теперь не затевайте слишком длинных разговоров о политике и скандалах, — крикнула им леди Нарборо у двери, — иначе мы поссоримся.

Мужчины разразились смехом, а мистер Чэпмен встал с конца стола и занял почетное место. Дориан Грей поместился возле лорда Генри. Мистер Чэпмен принялся очень громко говорить о положении вещей в Палате Общин и громко хохотал, называя своих противников.

Слово «доктринер»² — ужасное слово для британского ума — время от времени слышалось-таки в разговоре. Часто повторяемое прилагательное есть одно из украшений ораторского искусства. Он поднимал английское знамя

¹ „*Debrett*“ — издательство, выпускающее ежегодно список дворян с родословными.

² „Доктринер“ — человек, который придерживается строго установленных правил, идеи.

на шпиле Мысли. Наследственная тупость расы, которую он жизнерадостно называл здравым смыслом, была истинным устоем общества — как об этом можно было судить по нему самому.

Тонкая улыбка появилась на губах лорда Генри.

— Лучшее вам, друг мой? — спросил он. — У вас за обедом был такой плохой вид.

— Мне совсем хорошо, Гарри, я только немного утомлен, вот и все.

— Вчера вы были очаровательны. Маленькая герцогиня без ума от вас. Она сказала, что поедет в Селби...

— Да, она обещала приехать двадцатого.

— И Монмут будет тоже?

— Да.

— Он мне надоел ужасно, почти столько же, как и герцогине. Она умна, слишком умна для женщины. Ей недостает этого неуловимого очарования слабости. Глиняные ноги и делают ценным золотого идола. Ее ноги очень красивы, но они вовсе не глиняные, скорее фарфоровые. Они прошли через огонь, а то, что огонь не разрушает, он закаляет... У нее были приключения...

— С тех пор, как она замужем? — спросил Дориан.

— С начала мира, как сказала мне она, судя по гербовой книге — этому уже лет десять, а десять лет с Монмутом могут считаться на целую вечность. Кто будет еще?

— О! Виллоутби, лорд Регби с женой, наша хозяйка, Джеффри Клэстон, постоянные гости... Я пригласил еще лорда Гротриана.

— Он мне нравится, — сказал лорд Генри. — Он не всем по вкусу, но я нахожу его очаровательным. Он платится за свою преувеличенную изысканность и за свое, слишком совершенное, воспитание. Очень современная фигура!

— Он еще не знает, сможет ли он быть. Ему, быть может, придется поехать с отцом в Монте-Карло.

— Ах, как это досадно! Попробуйте устроить, чтобы он явился. Кстати, Дориан, вы очень рано ушли вчера. Что вы делали? Неужели отправились прямо домой?

Дориан быстро взглянул на него.

— Нет, Гарри, — сказал он, наконец, — я вернулся к себе около трех.

— Вы были в клубе?

— Да, — ответил он. Он закусил губы. — То есть, я хочу сказать нет, я не был в клубе. Я гулял. Я уже не помню, что я делал. Как вы нескромны, Гарри! Вы всегда все хотите знать, я же всегда хочу забыть, что я делал. Я вернулся домой в половине второго, если вы хотите знать точно. Я забыл мой ключ, и слуга должен был мне отпереть. Если хотите, спросите у него.

Лорд Генри пожал плечами.

— Это мне безразлично, мой друг! — воскликнул он, — пойдемте в залу. Нет, благодарю, мистер Чэпмен, не хочу больше хересу... С вами что-то приключилось, Дориан. Скажите, вы сам не свой сегодня вечером.

— Не беспокойтесь обо мне, Гарри, я раздражителен, нервен. Завтра или послезавтра я побываю у вас. Извинитесь за меня перед леди Нарборо. Я не войду туда. Я отправлюсь к себе. Я должен быть дома.

— Отлично, Дориан. Надеюсь видеть вас на чае. Будет герцогиня.

— Я постараюсь, Гарри, — сказал он, уходя.

Вернувшись домой, он почувствовал, что смертельный ужас, который он прогнал было, снова охватил его. Непредвиденные расспросы лорда Генри заставили его на минуту потерять хладнокровие, а ему необходимо еще было самообладание. Оставались еще опасные предметы, которые нужно было уничтожить. Но ему была возмутительна одна мысль о том, чтобы прикоснуться к ним.

Однако, надо это сделать. И когда он заперся в библиотеке, он сейчас же открыл секретный шкаф, куда он бросил чемодан и пальто Бэзила Холлуорда. В камине пылал яркий огонь. Он подбросил еще поленьев. Запах жженого сукна и обуглившейся кожи был нестерпим. Понадобилось около трех четвертей часа, чтобы сгорело все. К концу он совершенно ослабел, почувствовал себя почти больным. Он зажег алжирские ароматические горелки на сквозных медных треножниках и освежил себе руки и лоб мускусным туалетным уксусом.

Вдруг он задрожал. Глаза его странно загорелись, и он принялся лихорадочно кусать губы. Между двумя окнами находился большой флорентийский шкаф черного дерева, инкрустированный слоновой костью и ляпис-лазурью. Он смотрел на него, как на вещь, способную пугать и приводить в восхищение одновременно, словно в нем была вещь, которой он и желал и боялся. Он задыхался. Безумное желание овладело им. Он закурил папиросу, но бросил. Веки его опустились, и длинная бахрома ресниц бросила тень на его щеки. Он взглянул еще раз на шкаф. Наконец, он встал с дивана, на котором лежал, подошел к шкафу, отпер его и нажал пуговку, скрытую в углу. Медленно выдвинулся треугольный ящичек. Его пальцы ощупью опустили в него и вынули маленький полированный ящик старинного золота, изящно отделанный. Его бока были украшены маленькими выпуклостями и шелковыми шнурками, заканчивающимися шариками из металлической нити и бисера. Он открыл коробочку. В ней было зеленоватое тесто, похожее на воск и издававшее сильный пронизывающий запах.

Он колебался с минуту со странной усмешкой на губах.

Он дрожал, хотя в комнате было необычайно жарко, потом он потянулся и взглянул на часы. Было без двадцати двенадцать. Он положил коробочку обратно, запер шкаф и пошел в свою комнату.

Когда двенадцать ударов разнеслось в глухой ночи, Дориан Грей, плохо одетый, с шарфом на шее, выскользнул из дому. На Бонд Стрит он встретил кэб, запряженный доброй лошадей. Он подозвал его и тихим голосом дал ку-черу адрес.

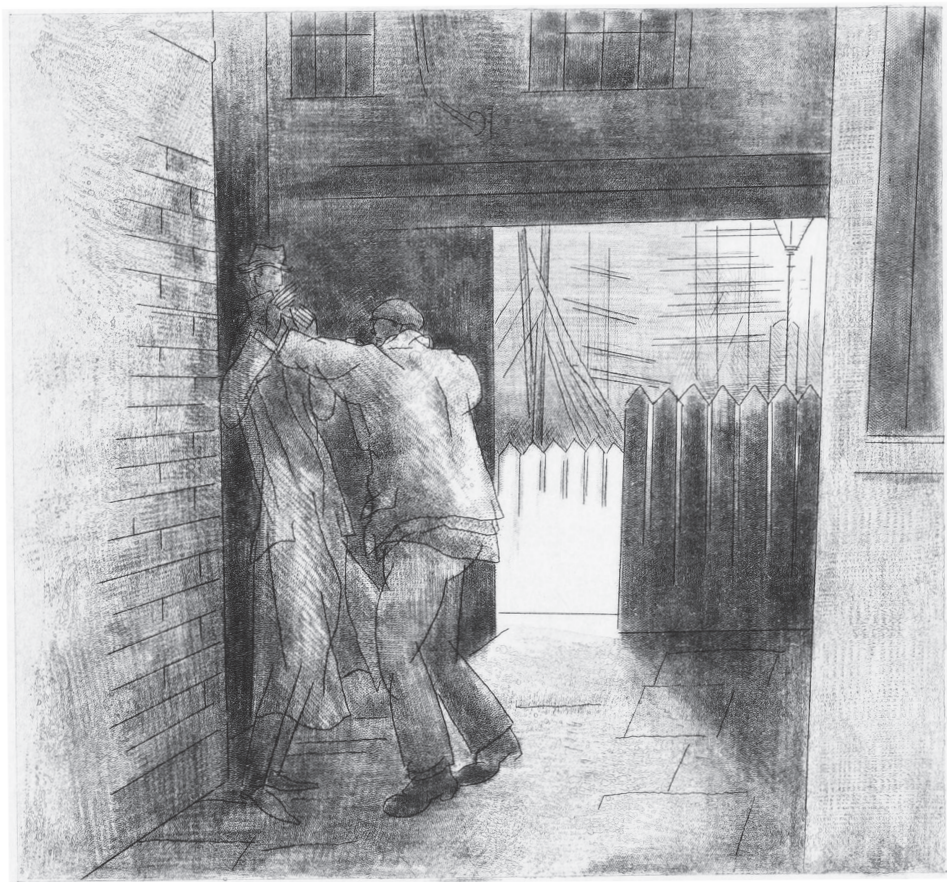
Человек покачал головой.

— Это слишком далеко для меня, — проворчал он.

— Вот вам совершен, — сказал Дориан, — если вы будете ехать быстро — вы получите и другой.

— Очень хорошо, сэр, — сказал кучер, — через час вы там будете.

И сунув деньги в карман и повернув лошадь, быстро помчался по направлению к реке.



ГЛАВА XVI

Начался холодный дождь, и фонари призрачно мигали в серой мгле. Питейные заведения закрывались, и подозрительные кучки мужчин и женщин рассеивались по окрестностям. Омерзительные взрывы смеха вырывались из какой-нибудь харчевни. В другой — ссорились и кричали пьяные...

Вытянувшись в своем *hansom*¹, со шляпой на затылке, Дориан равнодушными глазами созерцал порочность большого города. Он повторял про себя слова лорда Генри, сказанные им в день их первого знакомства: «надо душу лечить посредством чувств, а чувства — посредством души»... Да, весь секрет в этом. Он уже частенько это пробовал, попробует и еще. Есть лавки с опиумом, где можно купить забвение, ужасающие трущобы, где память о старых грехах уничтожается безумием свершаемых вновь.

Луна низко стояла в небе, похожая на желтый череп. Время от времени тяжелая бесформенная туча закрывала ее, как длинная рука. Фонари попадались все реже, а улицы — все мрачнее и теснее. Одно время кучер потерял дорогу

¹ *Hansom* — разновидность кэба.

и должен был около полумили ехать обратно. От лошади, шлепающей по лужам, валил пар. Стекла hansom'a были заслонены серой тьмой...

«Лечить душу при помощи чувств, а чувства — при помощи души». Эти слова странно звучали в его ушах... Да, душа его смертельно больна. Верно ли это, что чувства могут ее исцелить?.. Пролита неповинная кровь. Как искупить это?.. Нет искупления... Но если прощение невозможно — возможно забвение. И он твердо решил забыть это, навсегда искоренить само воспоминание, раздавить его, как давят укусившую нас гадюку. В самом деле — по какому праву Бэзил так с ним разговаривал? Кто его поставил судьей над другими? Он наговорил вещей ужасающих, страшных, которых немисливо вынести...

Hansom плелся кое-как вперед и, казалось, все медленнее и медленнее. Дориан отпустил дверцу и велел человеку поторопиться... Отвратительная жажда опиума начинала его глотать. Горло горело, и нежные руки конвульсивно сжимались. Он яростно ударил лошадь палкой.

Кучер осклабился и подстегнул ее хлыстом. Он рассмеялся в свою очередь, и кучер умолк.

Дорога казалась бесконечной, а улицы были похожи на черную паутину, раскинутую невидимым пауком. Это однообразие становилось нестерпимым, и он испугался, увидев, что туман сгущается.

Они проехали мимо одиноких кирпичных заводов. Туман как бы разределся, и он мог различить странные бутылкообразные трубы, из которых вылетали всеорообразные оранжевые языки огня.

Когда они проезжали мимо, залаяла собака, а где-то вдали кричала чайка. Лошадь набрела на колею, сделала поворот и помчалась галопом.

Через минуту они покинули немошеную дорогу, и экипаж задребезжал по скверной мостовой. Окна домов не были освещены, но там и сям на занавесках обрисовывались фантастические тени. Он с любопытством наблюдал их. Они двигались как чудовищные марионетки, которые вдруг сделались живыми. Он ненавидел их. Сердце его было полно мрачного бешенства.

На одной улице какая-то женщина что-то прокричала им из раскрытой двери, а два человека бежали за ними более ста ярдов. Кучер ударил их кнутом.

Признано, что страсть заставляет нас возвращаться к одним и тем же мыслям. С отвратительной настойчивостью искусанные губы Дориана повторяли и повторяли все те же обманчивые слова, говорившие о душе и чувствах до тех пор, пока он не нашел в них полного соответствия своему настроению и не почувствовал себя оправданным, по интеллектуальному суждению, в чувствах, которые властвовали над ним. Из одной клеточки мозга в другую переходила та же мысль. Дикая жажда жизни, самый страшный из всех человеческих appetitов, напрягали каждый нерв, каждую фибру его организма. Уродство, которое он ненавидел за то, что реальные вещи уродливы, стало ему дорогим по этой же причине. Уродство ведь единственная реальность.

Отвратительные драки, гнусные таверны, бесшабашный разгул беспорядочной жизни, низость воров и всяких отбросов — были более подлинны по силе действительности производимого впечатления, чем все изящные формы искусства, чем грезы, навеваемые музыкой... Не это ли ему было нужно для забвения... Через три дня он будет свободен...

— Это где-то тут, сэр? — спросил хриплый голос кучера через дверцу.

Дориан вздрогнул и огляделся.

— Должно быть, — ответил он. И, торопливо выйдя из кэба и дав кучеру обещанную монету, он быстро пошел по направлению к набережной. То там, то сям мигал фонарь на мачте купеческого судна. Свет прыгал и разбивался в воде. Красный свет шел от стимера¹ дальнего плавания, который разводил пары. Скользящая мостовая имела вид намокшего дождевого плаща.

Он поспешил налево, по временам оглядываясь, не преследует ли его кто-нибудь. Через шесть или семь минут он добрался до небольшого низенького домика, словно сдавленного по бокам двумя, жалкого вида, заводами. Он остановился и постучал особенным стуком.

Несколько мгновений спустя послышались по коридору шаги, и забренчала дверная цепь. Дверь тихо приотворилась, и он вошел, не сказав ни слова смутной тени, которая посторонилась, давая ему дорогу. В глубине коридора висела прорванная зеленая занавеска, которая колебалась от ветра, потянувшего с улицы. Отодвинув ее, он вошел в большую низкую комнату, которая имела вид танцкласса третьего разряда. Кругом по стенам горели газовые рожки, распространяя ослепительный свет, отражающийся в загаженных лучами зеркалах. Грязноватые жестяные рефлекторы позади их казались дрожащими кругами света. Пол был покрыт желтым песком цвета охры, смешанным с грязью и испятнанным пролитыми напитками.

Присев на корточки у маленькой печки с древесным углем, малайцы играли в кости и, разговаривая, показывали белые зубы. В углу, на столе, прикрыв голову скрещенными руками, лежал, растянувшись, матрос, а перед стойкой, раскрашенной кричащими красками и тянувшейся вдоль целой стены, две, мрачного вида женщины, издевались над стариком, который, с видом отвращения, чистил рукава своего пальто.

— Он думал, что по нему ползают красные муравьи, — сказала одна из них, когда мимо них проходил Дориан.

Человек с ужасом посмотрел на них и принялся охать.

В конце комнаты была маленькая лестница, ведущая в темный чулан. Когда Дориан поднялся по трем расшатанным ступенькам, его охватил тяжелый запах опиума. Дориан глубоко вздохнул, и ноздри его затрепетали от наслаждения.

Когда он вошел, молодой человек с гладкими белокурыми волосами, собиравший у лампы длинную тонкую трубку, посмотрел на него и нерешительно поклонился.

¹ *Стимер* — пароход, от англ. *steam* — „пар“.

— Вы здесь, Адриан, — пролепетал Дориан.

— Где же мне быть, — отвечал тот беззаботно, — никто теперь меня не хочет знать...

— Я думал, что вас нет в Англии.

— Дарлингтон не хочет ничего делать. Мой брат уплатил, наконец, по векселю... Жорж со мною больше не разговаривает... Это мне все равно, — сказал он со вздохом. — Когда имеешь это снадобье — не нуждаешься в друзьях... А у меня его больше, чем требуется...

Дориан отступил и посмотрел на отвратительно-смешных людей, покоившихся в фантастических позах на матрасах, изорванных в клочья. Эти разметавшиеся члены, эти разинутые рты, эти полуоткрытые остекленевшие глаза привлекали его. Он знал, в какие небесные муки они погружены и какие адские бездны научили их новым радостям. Они были лучше него, заключенные в одну мысль. Воспоминание, словно тяжкая болезнь, глотало его душу. По временам ему мерещились глаза Бэзила Холлуорда, устремленные на него... И, однако, здесь он не может оставаться. Присутствие Адриана Синглетона его смущало. Ему надо было, чтобы его никто не знал... Он хотел бы даже убежать от самого себя.

— Я пойду в другое место, — сказал он после минутного молчания.

— На набережной?

— Да.

— Эта помешанная тоже там будет. Ее здесь не хотят больше.

Дориан поднял плечи.

— Я просто болен женщинами, которые любят. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. А это снадобье — лучше их всех...

— Это то же самое...

— Я предпочитаю это. Пойдемте, что-нибудь выпьем. Мне ужасно хочется.

— Мне же... мне уже ничего не хочется, — прошептал молодой человек.

— Ничего не значит.

Адриан Синглетон лениво поднялся и последовал за Дорианом в буфет.

Муларт в изорванном тюрбане и грязном ольстере¹ прогримасничал отвратительные приветствия и поставил перед ними бутылку бренди и два стакана. Тихо подошли женщины и принялись с ними заговаривать. Дориан повернул им спину и тихим голосом сказал что-то Адриану Синглетону.

Распутная улыбка искривила губы одной из них.

— Кажись, вы сегодня очень горды, — проговорила она.

— Не обращайтесь ко мне, ради Бога, — вскричал Дориан, топнув ногой. — Что вам надо? Денег? Возьмите... Но не обращайтесь ко мне.

Две красные искры сверкнули в опухших глазах женщины и потухли; взгляд ее снова сделался стеклянным и мрачным. Она дернула головой и жадно сгребла с прилавка монету. Ее подруга завистливо посмотрела на нее.

¹ *Ольстер* — распространенное в викторианской Англии пальто с пелериной.

— Не стоит делать усилия, — вздохнул Адриан Синглтон. — Я не хлопчу о возврате назад. К чему мне это послужит?.. Мне и здесь хорошо...

— Вы мне напишите, если вам что-нибудь понадобится, — сказал Дориан минуту спустя.

— Может быть.

— Итак, доброго вечера.

— Доброго вечера, — ответил молодой человек, всходя по ступенькам и вытирая пересохшие губы платком.

Дориан направился к двери с печальным лицом. Когда он отдергивал занавеску, омерзительный смех вырвался из накрашенных губ женщины, взявшей деньги.

— Это дьявольский торг, — икнула она срывающимся голосом.

— Проклятие! — крикнул он. — Не говорите мне этого!

Она затрещала пальцами.

— Вы любите, чтобы вас называли Прекрасным Принцем, не правда ли? — провизжала она вслед ему.

Славший матрос при этих словах вскочил на ноги и дико огляделся кругом. Он услышал стук захлопывающейся двери и, в свою очередь, бегом бросился прочь.

Дориан спешил вдоль набережной под мелко морсящим дождем.

Его встреча с Адрианом Синглтоном странно взволновала его. Его удивляло, что гибель этой молодой жизни — дело его рук, как ему высказал уже это Бэзил Холлуорд в такой оскорбительной форме. Он кусал губы, и взгляд его опечалился на минуту. Но, в конце концов, что ему до этого? Жизнь слишком коротка, чтобы нести на себе еще тяжесть заблуждений других людей. Всякий человек живет собственной жизнью и платит за нее свою цену. Единственное несчастье только в том, что имеют чем заплатить чаще всего только за одну ошибку, а приходится платить еще и еще... В этих расчетах с человеком — судьба никогда не допускает его погасить свои долги.

Психологи утверждают, что когда страсть к пороку, или к тому, что люди считают пороком, овладевает нами — каждая фибра тела, каждая клеточка мозга делается полны ужасающего возбуждения. Женщины и мужчины теряют власть над собою. Они подвигаются к страшному концу как автоматы. У них отнята возможность выбора, совесть их мертва, а если и живет еще, то лишь только затем, чтобы сделать возмущение притягательным и придать очарование непокорности. Когда гордый Ангел, утренняя звезда¹, упал с неба, он упал как мятежник!

Закоренелый, сосредоточенный на зле, с загрязненным умом, с душою, полной мятежного огня, Дориан Грей все более и более ускорял шаги.

Когда он проходил под одной мрачной аркадой, — что он имел привычку делать для сокращения пути к тем подозрительным местам, которые он

¹ Утренняя звезда — Денница, Люцифер, Падший Ангел — синонимы дьявола.

посещал, — он почувствовал вдруг, что его кто-то схватил сзади, и, прежде, чем он мог успеть защищаться, — был яростно брошен об стену, и чья-то грубая рука схватила его за горло.

Он бешено защищался и отчаянным усилием оторвал от себя душившие его пальцы. Тогда он услышал щелканье револьверного курка, различил блеск полированного дула, направленного на его голову, и смутные очертания мужской фигуры, короткой и коренастой.

— Что вам нужно? — пролепетал он.

— Лежать тихо! — сказал человек. — Если только шевельнетесь, я вас убью!

— Вы с ума сошли! Что я вам сделал?

— Вы погубили Сибил Вэйн, а Сибил Вэйн — моя сестра! Она сама покончила с собой, я знаю... Но ее смерть — дело ваших рук, и клянусь, что я убью вас! Я искал вас целые годы — без помощи, без следа. Две личности, знавшие вас, теперь мертвы. Я не знал о вас ничего, кроме имени, которым она вас звала. Случайно я услышал его сегодня вечером... Примиритесь с Богом, так как сегодня вы умрете.

Дориан был близок к обмороку от ужаса.

— Я ее никогда не знал, я даже никогда ничего не слышал о ней, вы помешаны!

— Вы лучше сделаете, если исповедуетесь в своих прегрешениях. Так же верно, как то, что я — Джим Вэйн, что вы сейчас умрете!

Минута была ужасная. Дориан не знал, что сказать, что сделать.

— На колени! — закричал Джим Вэйн. — Я вам даю одну минуту, исповедаться, — не более... Завтра я уезжаю в Индию, и мне надо раньше покончить с этим. Одну минуту, не более! — Руки Дориана упали. Парализованный страхом, он не мог больше думать... И вдруг горячая надежда вспыхнула в его душе.

— Пойдите! — закричал он. — Сколько времени как умерла ваша сестра? Скорее, скажите мне...

— Восемнадцать лет прошло, — сказал человек, — зачем этот вопрос... Время тут не причем...

— Восемнадцать лет тому назад, — повторил Дориан с торжествующим смехом. — Восемнадцать лет! Проводите меня к фонарю и взгляните в мое лицо...

Джим Вэйн одно мгновение был в нерешимости, не понимая, что бы это могло значить, потом он схватил Дориана Грея и потащил из-под аркады.

Хотя свет фонаря был тускл и слаб, но и его было достаточно, чтобы доказать ему, как он думал, его ужасную ошибку, так как лицо человека, которого он собирался убить, блистало всей свежестью юности, всей ее незапятнанной чистотой. На вид ему, казалось, не более двадцати лет... Он был не старше его сестры, которую он оставил столько лет назад. Было очевидно, что он не мог быть человеком, сгубившим ее.

Он выпустил его и попятился.

— Боже мой! Боже мой! — вскричал он. — И я вас чуть не убил!

Дориан Грей перевел дух.

— Вы чуть не совершили ужасного преступления, мой друг, — сказал он, строго поглядев на него, — пусть это послужит вам предостережением — не продолжать ваших мстительных замыслов...

— Простите меня, сэр, — пробормотал Джим Вэйн. — Меня обманули. Одно словечко, которое я услышал в этой проклятой таверне, пустило меня по ложному следу.

— Лучшее, что вы можете сделать — это пойти к себе и убрать этот револьвер, который может навлечь на вас неприятности, — сказал Дориан, повернувшись на каблуках и медленно спускаясь вниз по улице.

Джим Вэйн остался на тротуаре, исполненный ужаса и трясаясь с головы до ног. Он не замечал черной тени, которая с минуту уже скользила вдоль запотевшей стены, появилась на миг в освещенной полосе и неслышно подкралась к нему. Он почувствовал, что до него дотронулась рука, обернулся и вздрогнул. Это была одна из женщин, выпивавших в таверне.

— Почему ты его не убил? — прошипела она, приближая к нему свое злобное лицо. — Я знала, что вы пойдете за ним, когда вы выскочили за ними от Доли... Сумасшедший! Вы должны были его убить! У него много денег и он гадкий, гадкий человек!

— Но он не тот человек, которого я искал, — ответил он, — мне не нужно его денег. Мне нужна только жизнь одного человека! Тому, кого я хочу убить, около сорока лет. Этот — еще совсем молокосос. Слава Тебе, Господи! Я не обагрил своих рук его кровью!

Женщина горько рассмеялась.

— Почти молокосос? — крикнула она. — Вот уже восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал из меня то, что я есть...

— Вы лжете! — сказал Джим Вэйн.

— Клянусь Богом, я говорю правду! — воскликнула она.

— Клянется Богом!

— Пусть я сейчас онемею, если это не так. Этот — хуже всех, что шляются сюда. Говорят, что он продался дьяволу, чтобы сохранить свою красоту! Я встретила с ним восемнадцать лет тому назад. Он почти не изменился с тех пор. Это верно, то, что я вам говорю! — добавила она с печальным взглядом.

— Вы клянетесь?

— Да, клянусь, — повторили ее губы, — но не выдавайте меня, — простонала она, — я его боюсь... И дайте мне немного денег, чтобы я могла переночевать где-нибудь...

Он с проклятием бросился вниз по улице, но Дориан Грей уже исчез, а когда повернул назад — женщины уже также не было видно.



ГЛАВА XVII

Неделю позже, Дориан Грей сидел в оранжерее в Селби Рояль, разговаривая с хорошенькой герцогиней Монмут, которая вместе со своим мужем, человеком шестидесяти лет и изнуренного вида, была в числе его гостей. Был час вечернего чая, и мягкий свет большой лампы, стоявшей на столе и покрытой кружевным абажуром, отражался на изящном фарфоре и серебре сервиза.

Хозяйничала герцогиня.

Ее белые ручки мило двигались между чашек, и ее губки кроваво-красного цвета весело смеялись тому, что Дориан ей нашептывал на ушко. Лорд Генри смотрел на них, расположившись в ивовом кресле, отделанном шелком. На диване персикового цвета леди Нарборо слушала, или делала вид, что слушает описание, делаемое герцогом, бразильского скарабея, которым он недавно обогатил свою коллекцию.

Трое молодых людей в изысканных смокингах предлагали дамам сладкие пирожки.

Общество состояло из двенадцати человек, а на следующий день ждали еще многих других.

— О чем вы разговариваете? — спросил лорд Генри, наклоняясь к столу и ставя на него свою чашку. — Надеюсь, что Дориан знакомит вас с моим планом вновь окрестить все. Это превосходная мысль, Глэдис.

— Но я вовсе не имею надобности быть вновь окрещенной, Гарри, — ответила герцогиня. — Я очень довольна своим именем и вполне уверена, что мистер Дориан доволен своим.

— Милая Глэдис, я ни за что на свете не пожелал бы изменить ни одного из ваших имен. Они оба великолепны... Я думал больше о цветах... Вчера я сорвал орхидею для моей петлички. Это был прелестный пятнистый цветок, грешный, как семь смертных грехов. Я рассеянно спросил у садовника, как его зовут. Он мне ответил, что это великолепная разновидность Робинзонианы, или чего-то в этом роде... Надо сознаться в грустной истине, что мы потеряли способность давать вещам подходящие имена. Имя — все. Я никогда не спорю о фактах. Я всегда исключительно спорю о словах. Вот почему в литературе я ненавижу вульгарный реализм. Человек, способный назвать лопату лопатой, заслуживает таскать эту лопату с собой, — это единственное, чего он достоин!

— Итак: — как же нам звать вас? — спросила она.

— Его имя — принц Парадокс, — сказал Дориан.

— Я бы узнала его по такому определению, — воскликнула герцогиня.

— Я ничего не хочу слушать, — сказал лорд Генри, пересаживаясь в другое кресло. — Трудно отделаться от церемониала — я отказываюсь от титула.

— Величества не могут отречься, — предостерегли хорошенькие губки.

— Так вы хотите, чтобы я защищал свой трон?

— Да!

— Я примусь изрекать завтрашние истины.

— Я предпочитаю ваши сегодняшние ошибки, — возразила герцогиня.

— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — вскричал он.

— Я отнимаю у вас щит, но не метательный дротик...

— Я не сражаюсь против красоты, — сказал он, делая любезный жест рукой.

— И, поверьте мне, напрасно. Вы ставите красоту слишком высоко.

— Как вы можете это говорить! Я убежден, сознаюсь, что лучше быть красивым, чем добрым. Но, с другой стороны, — никто больше меня не склонен признать, что лучше быть добрым, чем красивым.

— Значит, уродство — по-вашему, один из семи смертных грехов? — вскричала герцогиня. — Что же вытекает из вашего сопоставления с орхидеями?

— Уродство есть одна из семи смертных добродетелей, Глэдис. Вы, как добрая тори, не должны отнестись к этому неуважительно.

— Пиво, Библия и семь смертных добродетелей — сделали из нашей Англии то, что она есть.

— Вы, значит, не любите свою страну.

— Я могу жить только здесь.

— Вы порицаете то, что есть у нее лучшего!

- Хотите ли вы, чтобы я привел мнение о вас Европы?
- Что же она о нас говорит?
- Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл там свою лавочку.
- Это о вас, Гарри?
- Предоставляю это вам. Это слишком верно.
- Не бойтесь. Наши соотечественники никогда не увидят себя в описаниях.

— Они практичны.

— Они более хитры, чем практичны. Когда они подводят свои итоги, они всегда уравнивают низость состоянием, а порок — лицемерием.

- Однако, мы свершали великие вещи.
- Великие вещи мы вынуждены были сделать, Глэдис.
- Мы несли всю тяжесть их!
- Не дальше, как до денежной конторы.

Она покачала головой.

- Я верю в расу, — вскричала она.
- Она благоприятствует выживанию плутов.
- Она идет по пути развития.
- Упадок меня интересует больше.
- Что же такое искусство? — спросила она.

- Болезнь.
- А любовь?
- Иллюзия.
- А религия?
- Вещь, премило заменяющая веру.
- Вы скептик.
- Никогда! Скептицизм — начало веры.
- Что же вы такое?

- Определить, значит ограничить.
- Дайте мне путеводную нить.

- Все нити порваны. Вы заблудитесь в лабиринте.
- Вы меня сбиваете с толку. Поговорим о другом.

— Наш хозяин — отличная тема. Он окрещен уже долгие годы именем Волшебного Принца.

- Ах, не напоминайте мне этого! — вскричал Дориан.

— Наш хозяин сегодня что-то не очень мил, — весело заметила герцогиня. — Мне кажется, он думает, что мой муж, сообразно своим научным принципам, женился на мне только как на лучшей разновидности современной бабочки, какую он мог найти.

— Надеюсь, однако, что у него не явится мысль проткнуть вас булавкой, герцогиня, — улыбнулся Дориан.

- О! Это берет на себя моя горничная... Когда я ее рассержу.
- Чем вы можете ее рассердить, герцогиня?

— Самыми пустыми вещами, уверяю вас. Чаще всего потому, что, являясь в без десяти девять, я сообщаю ей, что мне необходимо быть одетой к половине девятого.

— Непонятно с ее стороны! Вы должны ее отослать прочь.

— Не смею, мистер Грей! Подумайте только, она придумывает для меня шляпки. Помните ту, в которой я была на вечере у леди Хильстон? Я знаю, что вы не помните, но с вашей стороны очень мило делать вид, что помните! Ну вот — она была сделана просто из ничего. Все красивые шляпки делаются из ничего.

— Как и добрые слова, Глэдис, — вставил лорд Генри. — Всякое впечатление, которое вы производите, делает вам врага. Чтобы стать популярным — нужно быть посредственностью.

— Не с женщинами, — сказала герцогиня, подняв голову, — а ведь женщины правят миром! Могу вас уверить, что мы не выносим посредственности. Мы, женщины, любим ушами, как вы, мужчины, — глазами, если только вы вообще можете любить...

— Мне кажется, что мы ничего другого никогда и не делаем, — пробормотал Дориан.

— А! Тогда, значит, вы, в действительности, никогда и не любили, мистер Грей! — сказала герцогиня тоном печальной насмешки.

— Дорогая Глэдис, — воскликнул лорд Генри, — как вы можете это говорить! Страсть живет повторением, а повторение делает наклонность — искусством. Наконец, каждый раз, когда любят — это и есть единственный раз, что любят. Перемена объекта не меняет искренности чувства, она только усиливает его. Мы не можем иметь в жизни больше, чем один великий опыт, и тайна жизни состоит в том, чтобы его как можно чаще повторять!

— Даже когда этот опыт нанес вам рану, Гарри? — спросила герцогиня после молчания.

— В особенности тогда, когда он нанес рану! — ответил лорд Генри.

Со странным выражением во взгляде герцогиня обернулась к Дориану:

— Что скажете вы об этом, мистер Грей?

Дориан колебался один миг, затем закинул голову назад и рассмеялся.

— Я всегда согласен с Генри, герцогиня.

— Даже когда он неправ?

— Гарри не бывает неправ, герцогиня.

— И его философия дает вам счастье?

— Я никогда не искал счастья... Кому нужно счастье? Я всегда искал наслаждения.

— И находили его, мистер Грей?

— Часто, слишком часто...

Герцогиня вздохнула.

— Я ищу мира, — сказала она, — и если не пойду переодеваться — я не найду его сегодня вечером.

— Позвольте мне сорвать для вас несколько орхидей, — воскликнул Дориан, вставая и направляясь в оранжерею.

— Вы флиртуете с ним на слишком близком расстоянии, — сказал лорд Генри своей кузине, — берегитесь. Он притягателен.

— Если бы не так — не было бы никакой битвы.

— Итак — греки против греков?

— Я на стороне троянцев, они сражались за женщину.

— Они были разбиты.

— Бывают вещи хуже поражения, — ответила она.

— Вы скачете сломя голову.

— Жить можно только таким образом.

— Я запишу это в моем дневнике сегодня вечером.

— Что именно?

— Что обжегшийся ребенок любит огонь.

— Я даже не думала обжигаться. Мои крылья целы.

— Вы ваши крылья пустите в дело для чего угодно, только не для бегства.

— Мужество перешло от мужчины к женщине. Это для нас — новый опыт.

— У вас есть соперница.

— Кто?

— Леди Нарборо, — шепнул он, смеясь, — она его обожает.

— Вы меня пугаете. Напоминание об античной старине — фатально для нас, романтиков...

— Романтиков! Вы вполне владеете научным методом.

— Нас учат мужчины.

— Но не изучили еще вас.

— Определите же нас, — бросила она вызов.

— Вы — сфинксы без тайны.

Она посмотрела на него, улыбаясь.

— Как мистер Грей медлит, — сказала она. — Пойдемте ему помочь. Я не сказала ему цвета моего платья.

— Вы должны будете подобрать платье к его цветку, Глэдис.

— Это будет преждевременная уступка.

— Романтическое искусство ведет дело постепенно.

— Я оставляю за собой возможность отступления.

— На манер парфян?

— Они нашли безопасность в пустыне. Я этого не смогу.

— Женщинам не всегда приходится выбирать, — заметил он.

Как только он окончил эту угрозу — из глубины оранжереи послышался заглушенный стон, затем стук от падения тяжелого тела. Все вздрогнули. Герцогиня застыла от ужаса. Полные боязни глаза лорда Генри устремились к висячим пальмам. Дориан Грей лежал там лицом вниз на кирпичном полу бесчувственный, словно мертвый. Его внесли в голубую залу и положили на диван. Через несколько минут он пришел в себя и огляделся кругом с испуганным видом.

— Что случилось? — спросил он. — О! Помню, помню... В безопасности ли я здесь, Гарри?

Им овладела дрожь.

— Мой милый Дориан, — ответил лорд Генри. — Это простой обморок, больше ничего. Вы, вероятно, переутомились. Лучше вам не сходить к обеду. Я заменю вас.

— Нет, я приду к обеду, — сказал он, вставая. — Я предпочитаю это. Я не хочу быть один.

Он пошел к себе и оделся.

В обращении его была какая-то дикая и беззаботная веселость. Но время от времени трепет ужаса пробежал по нему, когда он вспоминал о белом, как платок, прижавшемся к стеклу оранжереи лице Джима Вэйна, который его подкарауливал!



ГЛАВА XVIII

На следующий день он не выходил и провел большую часть времени у себя в комнате, больной от безумного страха смерти и, однако, равнодушный к жизни. Боязнь, что его выслеживают, охотятся на него, травят его, начала овладевать им окончательно. Он вздрагивал, когда движение воздуха шевелило занавески. Желтые листья, которые ветер гнал мимо окон со свинцовым переплетом, ему казались похожими на его рассеявшиеся добрые намерения, на его горячие сожаления... Когда он закрывал глаза, он снова видел лицо матроса, смотрящее на него сквозь стекло оранжереи, и страх еще раз сжимал его сердце.

Но, быть может, это просто его взволнованный ум сам вызвал эту картину мести впотьмах и нарисовал перед его глазами этот отвратительный образ мстителя. Реальная жизнь хаотична, но есть роковая, неумолимая последовательность в воображаемом. Ведь — воображение-то и помогает угрызениям отыскать грех по его следу. Воображение-то и делает так, что преступление несет в себе тайное наказание. В мире простых фактов злые

никогда не наказаны, а добрые — не награждены. Успех дается сильным, неуспех — слабым, вот и все.

Наконец, если кто-нибудь посторонний и бродил возле оранжереи — сторожа или прислуга увидели бы его.

Решительно, это пустая фантазия. Брат Сибил Вэйн не являлся его убивать. Он уехал на своем судне и утонет где-нибудь в полярном море. Он-то ему, во всяком случае, не страшен. Этот человек даже не знал — кто он, не мог узнать. Маска молодости спасла его.

Однако, если даже предположить, что это фантазия, — не ужасно ли думать, что совесть может вызывать подобные призраки, давать им видимые формы, заставляя их двигаться. Что это было бы за существование, если бы день и ночь тени его преступлений стали бы смотреть на него из всех молчаливых углов, издеваясь над ним из своего тайника, шепча ему на ухо во время пиров и прикосновением холодных пальцев пробуждая его ото сна. От этой мысли, забравшейся в его мозг, он весь побледнел и воздух в комнате показался ему холоднее.

О! Страшный час безумия, когда он убил своего друга! Как бесконечно ужасно одно воспоминание об этом событии! Он видит его снова! Перед ним вставала мельчайшая подробность, увеличивая ужас.

Из мрачной пропасти времен, страшный, окутанный кроваво-красным, виднелся образ его преступления!

Когда лорд Генри зашел к Дориану около шести часов, он нашел его рыдающим, как будто его сердце хотело разорваться.

Только на третий день он решился выйти. Что-то такое было в ясном и холодном воздухе зимнего утра, напоенном ароматом сосны, что вернуло ему охоту жить. Но не только физические условия обстановки причинили эту перемену. Его собственная природа возмутилась против избытка муки, которая стремилась нарушить, испортить полноту его покоя. Так всегда бывает с темпераментами слишком утонченными, и их сильные страсти должны или подчиниться ему, или раздавить их. Если они не умирают, они убивают человека. Посредственные печали и маленькая любовь — выживают. Великая любовь и великое горе гибнут от собственной полноты.

Он убедил себя, что был жертвою собственного воображения, пораженного страхами, и думал об этих страхах не без сочувствия к себе самому с некоторой долей презрения.

После утреннего завтрака он около часу прогуливался с герцогиней по саду, затем он в экипаже проехал через парк, чтобы встретить охотников.

Скрипящий под ногами иней был рассыпан по лужайке словно песок. Небо казалось опрокинутой чашей голубого металла. Легкий слой льда окаймлял спокойную поверхность озера, заросшего кругом камышами.

В одной стороне леса он заметил сэра Джеффри Клэстона, брата герцогини, выбрасывавшего из ружья две выстрелянные гильзы. Он выскочил из своего экипажа, велел груму отвести кобылу в замок и направился к гостю по опавшим сучьям и низкому кустарнику.

— Хорошо поохотились, Джеффри? — спросил он.

— Не особенно. Птицы на равнине. Я полагаю, что лучше после завтрака выехать на поле...

Дориан шел рядом с ним. Воздух был холодный и душистый, коричневые и красные стволы деревьев были освещены солнцем. Раздавались хриплые крики загонщиков, сухие звуки ружейных выстрелов следовали один за другим. Все это занимало его и наполняло ощущением восхитительного довольства. Беззаботное счастье и высокомерная радость равнодушия овладела им.

Вдруг с маленькой, поросшей травой, возвышенности, шагах в двадцати от них, с черными кончиками насторожившихся ушей и длинными задними ногами, выскочил заяц. Он направился к ольхам. Сэр Джеффри вскинул свое ружье, но в движениях зверька было что-то такое красивое, что Дориан закричал:

— Не стреляйте, Джеффри! Пусть он живет!

— Что за глупости, Дориан! — сказал его спутник, смеясь. И пока заяц не успел скрыться в чаще, он выстрелил.

Раздалось два крика — один раненого животного, прозвучавший ужасно, и крик смертельно раненого человека, что еще ужаснее!

— Боже мой! Я ранил загонщика, — вскричал сэр Джеффри. — Что за осел этот субъект — становится под выстрел! Перестаньте стрелять! — закричал он во всю силу легких. — Человек ранен!

Прибежал главный сторож с палкой.

— Где, сударь? — закричал он. — Где он?

В ту же минуту огонь прекратился по всей линии.

— Здесь, — взбешенно отвечал сэр Джеффри, бегом направляясь к ольхам. — Почему вы не удерживаете ваших людей назад... Вы мне испортили мою сегодняшнюю охоту.

Дориан смотрел, как они вошли в ольховник, раздвигая ветви... Через минуту они вышли оттуда, вынося тело на солнце... Он отвернулся, пригвожденный ужасом... Ему казалось, что несчастье следует за ним по пятам. Он услышал вопрос сэра Джеффри — действительно ли человек мертв — и утвердительный ответ. Лес показался ему как бы наводненным живыми образами, слышался топот бесчисленных ног и глухой ропот голосов... Большой, с золотистой шеей фазан вылетел из ветвей над ними.

После нескольких мгновений, которые ему показались, в его смятении, бесконечными часами боли, он почувствовал, что на его плечо легла рука. Он вздрогнул и оглянулся.

— Дориан, — сказал лорд Генри, — лучше будет, если я объявлю прекращение охоты на сегодня.

— Я хотел бы, чтобы она была прекращена навсегда, Гарри, — горько ответил Дориан. — Это гнусная и жестокая вещь. Разве этот человек...

Он не мог кончить!

— Да, я боюсь, — вымолвил лорд Генри. — Он получил весь заряд в грудь. Он, несомненно, умер в то же мгновение. Пойдемте домой...

Они прошли рядом, по дороге к дому, не разговаривая на протяжении добрых пятидесяти ярдов.

Наконец, Дориан повернулся к лорду Генри и сказал ему с глубоким вздохом:

— Это предвещание, Гарри, очень плохое предвещание!

— Что именно? — спросил он. — Ах, понимаю, этот случай! Мой милый, ничего не поделаешь... Это вина самого человека. Зачем становиться под выстрел? Это нас не касается. Конечно, это несчастливо для Джеффри. Не резон стрелять по загонщикам. Это заставляет считать его плохим охотником, тогда как он вовсе не плох и стреляет отлично... Но зачем говорить об этом?

Дориан покачал головой.

— Плохое предвещание, Гарри! Я думаю, что с кем-нибудь из нас случится что-нибудь ужасающее... Например, со мной!

Он провел рукою по глазам страдальческим жестом.

Лорд Генри разразился смехом.

— Единственная ужасающая вещь на свете — это скука, Дориан. Это единственный грех, для которого не существует прощения. Насчет же этого происшествия — я полагаю, что оно не повлечет за собою неприятностей, только бы загонщики не наболтали за обедом. Я запрещу им об этом говорить. Что до предвещаний — их не существует. Судьба не высылает к нам герольдов. Она слишком мудра... Слишком жестока для этого. Наконец, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может желать человек на этом свете. Кто не желал бы поменяться с вами своим положением?

— Нет никого, с кем бы ни поменялся я, Гарри!.. Не смейтесь! Жалкий крестьянин, который только что умер, был счастливее меня. У него вовсе не было страха смерти. Меня ужасает приход смерти. Страшные крылья ее, мне кажется, парят надо мной!.. Боже мой! Не видите ли вы за этими деревьями человека, который ждет меня, подстерегает меня?..

Лорд Генри посмотрел по направлению, указанному ему дрожащей рукою, затаенной в перчатку.

— Да, — сказал он рассмеявшись. — Я вижу ожидающего вас садовника! И думаю, что он хочет узнать — какими цветами вы пожелаете сегодня вечером убрать ваш стол. В самом деле, вы стали нервны, мой милый. Вам необходимо повидать врача, когда вы вернетесь в город...

Дориан облегченно вздохнул, глядя на приближающегося к ним садовника. Человек снял шляпу, с нерешимостью покосился в сторону лорда Генри, вынул письмо и протянул его своему господину.

— Ее милость велела мне подождать ответа.

Дориан сунул письмо в карман.

— Скажите Ее милости, что я возвращаюсь домой, — сказал он холодно. Человек сделал полуоборот и побежал к дому.

— Как женщины любят делать опасные вещи, — сказал, смеясь, лорд Генри. — Это качество, которым я в них больше всего восхищаюсь. Женщина может флиртовать с кем угодно до тех пор, пока на это смотрят другие.

— Как вы любите говорить опасные вещи, Гарри... Но сейчас вы заблуждаетесь... Я глубоко уважаю герцогиню, но не люблю ее...

— Герцогиня, наоборот, очень вас любит, но уважает несколько меньше — вот и можно сказать, что вы чудесно подходите друг к другу.

— Вы скандалезно разговариваете, Гарри... В наших же отношениях нет оснований для скандального.

— Основания для всего скандального — в безнравственной уверенности, — сказал лорд Генри, закуривая папиросу.

— Вы, Гарри, можете чем угодно пожертвовать для эпиграммы.

— Люди идут к алтарю по собственному желанию, — было ответом.

— Хотел бы я полюбить! — воскликнул Дориан с глубоким выражением в голосе, — но мне кажется, что я утратил эту способность и не могу больше желать. Я слишком сосредоточился в себе самом. Личность моя стала для меня нестерпимой тяжестью, мне надо уйти куда-нибудь, уехать в путешествие, забыть... Смешно, что я вздумал очутиться здесь... Я, пожалуй, телеграфирую Гарвею, чтобы приготовил яхту. На яхте я почувствую себя в безопасности...

— В безопасности от чего, Дориан?.. Вас что-нибудь заботит? Почему бы не сказать мне... Вы знаете, что я вам помогу...

— Я не могу вам сказать, Гарри, — грустно вымолвил Дориан. — Это просто одна из моих причуд. Меня взволновал этот ужасный случай. У меня сильное предчувствие, что и со мной случится нечто подобное...

— Что за безумие!

— Конечно!.. Но я не могу помешать себе думать об этом. А! Вот и герцогиня!.. У нее вид Артемиды в костюме *tailleur*¹... Вот и мы, герцогиня!

— Я узнала, что случилось, мистер Грей, — сказала она. — Бедняга Джеффри страшно расстроен... Вы умоляли его не убивать зайца!.. Как это странно!

— Да, пожалуй... Я даже не знаю — почему я это делаю. Так, каприз... Этот заяц казался мне самой красивой из живых вещей... Но я недоволен, что до вас дошло об этом случае... Это такая неприятная тема...

— Это просто скучная тема, — прервал лорд, — она не имеет никакой психологической ценности. Да, если бы Джеффри сделал это умышленно — это было бы интересно... Хотел бы я знать человека, который совершил бы настоящее убийство...

— Как дурно говорить такие вещи! — воскликнула герцогиня. — Не правда ли, мистер Грей?.. Гарри!.. Мистеру Грею еще нехорошо... Он нездоров...

Дориан с усилием выпрямился и улыбнулся.

— Это пустяки, герцогиня, — пробормотал он. — Мои нервы перевозбуждены, вот и все... Боюсь, что я не могу идти далеко этим утром... Я не слышал, что сказал Гарри, что-нибудь злое? Вы мне скажете это в другой раз. Я думаю, что лучше всего мне — пойти лечь. Вы извините меня, не правда ли?

¹ *Tailleur* — «портной» (*фр.*), т. е. в сшитом на заказ костюме.

Они взошли на ступеньки лестницы, ведущей из оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь заперлась за Дорианом, лорд Генри устремил на герцогиню свои усталые глаза.

— Вы сильно его любите? — спросил он.

Она не сразу ответила, занятая созерцанием пейзажа.

— Я сама хотела бы это знать, — сказала она, наконец.

Он покачал головой.

— Это знание было бы роковым. Вас очаровывает именно неуверенность.

Туман делает вещи более чудесными.

— В тумане можно потерять дорогу.

— Все дороги ведут к одному, дорогая Глэдис...

— К чему?

— К разочарованию.

— Это мой первый шаг к жизни, — пробормотала она.

— Вы делаете его в короне.

— Она утомляет меня.

— Она к вам идет.

— Только когда я в публике.

— Вы пожалеете о ней.

— Она останется при мне.

— У Монмута есть уши.

— Старость туга на ухо.

— Он никогда не ревновал?

— Хотела бы я, чтобы он приревновал.

Он осмотрелся кругом, как бы ища чего-то.

— Что вы ищете? — спросила она.

— Камень из вашей короны, — ответил он. — Вы его потеряли...

— Осталась его оправа, — рассмеялась она.

— Она вас достаточно украшает!

Она снова рассмеялась. Блеснули ее зубки, подобные белым зернышкам в красной мякоти плода...

Наверху в своей комнате, на диване, лежал Дориан Грей с ужасом в каждой содрогающейся фибре его тела. Жизнь вдруг стала для него слишком тяжким бременем. Ужасная смерть несчастного загонщика, убитого в чаще, как дикий зверь, казалась ему прообразом его собственной смерти. Ему стало почти дурно, когда лорд Генри случайно заговорил о том с такой циничной шутливостью. В пять часов он позвонил лакею, велел ему уложить вещи к вечернему поезду и распорядиться, чтобы экипаж был готов к половине девятого. Он решил не провести больше ни одной ночи в Селби Рояль — это было место похоронных предвестий. Здесь смерть шествовала при свете солнца. Трава в лесу испитана кровью.

Дориан написал несколько слов лорду Генри, сообщая ему, что он едет в город посоветоваться с доктором, и прося его развлекать гостей до его

возвращения. Когда он заклеивал конверт, в дверь постучали и слуга сказал ему, что главный сторож хочет с ним поговорить. Он нахмурился и закусил губу.

— Пусть войдет, — сказал он после короткого колебания.

Когда человек вошел, Дориан вынул чековую книжку, и, открыв ее, сказал:

— Я полагаю — вы пришли насчет случая сегодня утром, Торнтон? — сказал он, берясь за перо.

— Да, сэр, — сказал лесничий.

— Что же — этот бедняга был женат? Есть у него семья? — спросил Дориан скушающим тоном. — Если это так — я не оставляю ее в нужде и пошлю им денег, сколько вы сочтете нужным.

— Мы не знаем, кто он, сэр. Вот почему я взял на себя смелость побеспокоить вас.

— Вы не знаете, кто он? — спросил рассеянно Дориан. — Что это значит? Разве он не был один из ваших людей?

— Нет, сэр. Никто его не видел раньше. Он похож на моряка.

Перо выпало из рук Дориана. Ему показалось, что сердце его внезапно перестало биться.

— Моряк! — воскликнул он. — Вы говорите, моряк?

— Да, сэр. У него, в самом деле, такой вид, как будто он служил во флоте... У него татуированы обе руки.

— Что-нибудь нашли на нем? — спросил Дориан, наклоняясь к человеку и пристально глядя за него. — Что-нибудь такое, откуда было бы можно узнать его имя?

— Ничего, кроме небольшой суммы денег и шестизарядного револьвера... Мы не узнали имени... Вид приличный, но грубоватый. Что-то вроде матроса, мы думаем...

Дориан вскочил на ноги... Ужасная надежда пронизала его... Он безумно за нее ухватился.

— Где тело? — вскричал он. — Я хочу его увидеть.

— Оно лежит в пустой конюшне при ферме. Люди не любят иметь подобную вещь у себя в доме. Они говорят, что труп приносит несчастье.

— На ферме... Подождите меня... Велите конюху подать мне лошадь. Нет, не надо. Я сам пройду к конюшням. Это будет скорее.

Менее чем через четверть часа Дориан Грей во всю прыть скакал верхом по аллее. Деревья мелькали мимо него призрачной вереницей, и враждебные видения перебежали ему дорогу. Вдруг кобыла споткнулась и чуть не выбила его из седла. Он стегнул ее рукояткой хлыста, и она разрезала воздух как стрела, только камни посыпались из-под копыт...

Наконец, он у фермы. Два человека разговаривали во дворе. Он соскочил с седла и передал поводья одному из них. В самой отдаленной конюшне блеснул свет. Что-то сказало ему, что тело там. Он поспешно направился к двери и положил руку на щеколду.

Он мгновение колебался, чувствуя, что стоит на грани открытия, которое или облегчит, или исковеркает навсегда его жизнь. Затем толкнул дверь и вошел.

В глубине, на куче мешков, лежал труп человека в грубой рубахе и синих штанах. Испачканный кровью платок закрывал его лицо. Простая свечка, воткнутая в бутылку, мигала возле него.

Дориан Грей задрожал, он почувствовал, что не сможет снять платка. Он позвал мальчика с фермы.

— Уберите эту вещь с лица, я хочу его увидеть, — сказал он, опираясь о косяк двери.

Когда мальчик сделал, что ему велели, он подошел. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в чаше — был Джим Вэйн.

Несколько минут он смотрел на труп.

Когда он скакал обратно домой, глаза его были полны слез. Он знал, что жизнь его спасена.



ГЛАВА XIX

— Зачем вы говорите мне, что хотите стать хорошим? — вскричал лорд Генри, обмакивая свои белые пальцы в чашу из красной меди, где была розовая вода. — Вы совершенство. Не меняйтесь, сделайте одолжение...

Дориан Грей поднял голову.

— Нет, Гарри, я наделал в своей жизни столько омерзительных вещей... Я больше не хочу их делать. Я начал мои добрые дела со вчерашнего дня.

— Где вы вчера были?

— В деревне, Гарри... Я останавливался в маленькой харчевне.

— Милый друг! В деревне легко быть хорошим, — сказал, улыбаясь, лорд Генри, — там нет искушений... Вот почему население, живущее не в городах, совершенно не цивилизовано. Цивилизованности не так-то легко достигнуть — и для этого существует лишь два способа: культура и разврат. Люди в деревне не имеют возможности приобщиться ни к тому, ни к другому. Оттого-то там и застой...

— Культура и разврат... Я знаю немного и то и другое. Теперь я нахожу ужасным, что эти два слова можно соединять... У меня теперь новый идеал, Гарри... Я хочу измениться. Я даже думаю, что уже начал изменяться...

— Но вы мне еще не сказали — в чем состоит ваш добрый поступок. Или, быть может, вы совершили даже больше, чем один? — спросил его собеседник, насыпая себе в тарелку гору красной душистой земляники и посыпая ее снежной сахарной пылью из серебряной ложки в виде раковины.

— Я скажу вам, Гарри. Но я не мог бы это рассказать кому-нибудь другому. Я пощадил женщину... Это может показаться хвастовством, но вы понимаете, что я хочу сказать. Она была очень красива и удивительно походила на Сибил Вэйн. Я думаю, что это и привлекло меня к ней. Вы припоминаете Сибил, не правда ли? Каким все это кажется мне далеким! Хетти — вовсе не нашего круга. Она — простая деревенская девушка. Но я любил ее. Я убежден, что я ее действительно любил! В продолжение всего этого чудного мая, у меня была привычка навещать ее раза два-три в неделю. Вчера она встретила меня в маленьком садике. Цвет яблоки осыпался ей на голову, и она смеялась. Сегодня на заре мы должны были бежать. И вдруг я решил оставить ее — таким же чистым цветком, как она и была.

— Я предпочитаю думать, что новизна ощущения должна была доставить вам трепет истинного наслаждения, — прервал его лорд Генри. — Теперь я могу закончить вместо вас вашу идиллию. Вы надавали ей добрых советов и... разбили ей сердце. Это и было началом вашего исправления?

— Гарри, как вы злы! Вы не должны говорить таких отвратительных вещей! Сердце Хетти вовсе не разбито. Она только поплачет немного, вот и все. Но она не обесчещена. Она может жить, как Пердита в своем саду, где растут мята и ноготки.

— И оплакивать неверного Флоризеля¹, — прибавил лорд Генри, смеясь и откидываясь на спинку кресла. — Мой милый Дориан, в вас еще столько детского! Неужели вы думаете, что теперь эта девушка удовольствуется кем-нибудь из своего сословия? Наверное, она когда-нибудь выйдет за грубого извозчика или неуклюжего мужика. То, что она встретила вас, любила вас — заставит ее питать отвращение к мужу, она будет несчастна. И с нравственной точки зрения — я не предвижу ничего хорошего от вашего отречения. Даже, как начало, это жалко. Между прочим, уверены ли вы, что тело Хетти не плавает теперь в каком-нибудь мельничном пруду, озаренное звездным сиянием, окруженное лилиями, словно Офелия?

— Я не хочу думать об этом Гарри! Вы издеваетесь над всем, и это толкает людей к самым страшным трагедиям. Мне очень жаль, но я должен вас предупредить, что не стану вас больше слушать. Я знаю, что поступил хорошо. Бедная Хетти! Когда я сегодня ездил верхом на ферму, я видел ее в окне, бледную, как цветы жасмина. Не будем больше об этом говорить, и не требуйте меня убедить, что первое мое доброе дело за многие годы, мое первое маленькое самопожертвование в жизни — род греха. Я чувствую потребность стать лучшим. Я делаюсь лучшим... Расскажите мне лучше о себе... Что говорят в городе?.. Я уже не был в клубе несколько дней.

¹ *Пердита, Флоризель* — персонажи пьесы Шекспира «Зимняя сказка».

— Все еще говорят об исчезновении Бэзила.

— А мне казалось, что это уже всем надоело, — сказал, слегка нахмурившись, Дориан, наливая себе немного вина.

— Милый друг: об этом говорят не дольше шести недель, а английская публика не в силах менять тему для разговоров чаще, чем каждые три месяца. А сейчас у нее были еще и другие вещи — мой развод и самоубийство Алана Кэмпбелла... Теперь же прибавилось и исчезновение одного артиста. В Скотланд-Ярде думают, что человек в сером ольстере, который выехал из Лондона в Париж девятого ноября с поездом в двенадцать часов ночи, был бедный Бэзил, а парижская полиция заявляет, что Бэзил в Париж не приезжал. Я полагаю, что недели через две разнесется слух, что его видели в Сан-Франциско. Это странно; однако тех, кто исчезает, всегда почему-то видят в Сан-Франциско. Это, должно быть, восхитительный город! Он обладает всей притягательностью того света.

— Как вы думаете — что же могло случиться с Бэзилом? — спросил Дориан, рассматривая на свет свое бургундское и сам восхищаясь спокойствием, с каким он касался этого предмета.

— Я ничего не думаю. Если Бэзилу хочется скрываться, это не мое дело. Если он умер — с какой стати я буду об этом думать? Смерть — единственная вещь, которая всегда ужасала меня! Я ненавижу ее!

— За что? — лениво спросил Дориан.

— За то, — ответил лорд Генри, поднося к носу открытый флакончик с духами, — за то, что человек в наше время все может пережить, кроме смерти. Смерть и пошлость — только два явления в девятнадцатом веке, которых нельзя объяснить... Пойдемте пить кофе в гостиную, Дориан. Вы мне поиграете Шопена. Господин, с которым сбежала моя жена, удивительно играл Шопена... Бедная Виктория!.. Я очень ее любил... В доме грустно без нее; супружеская жизнь — привычка, дурная привычка. Но всегда сожалеют о нарушении своих даже дурных привычек, а об этой — более чем о всякой другой. Привычки — существеннейшая часть индивидуальности.

Дориан ничего не сказал, встал из-за стола и прошел в соседнюю комнату. Усевшись у рояля, он заиграл.

Когда принесли кофе, он остановился и, взглянув на лорда Генри, спросил его:

— Гарри, вам никогда не приходило в голову, что Бэзил мог быть убит?

Лорд Генри зевнул:

— Бэзил был очень известен и всегда носил часы Уотербери¹... Зачем же было его убивать? Он вовсе не был настолько ловок, чтобы иметь врагов. Я не

¹ *Уотербери* — американские дешевые карманные часы, которые первоначально продавались за 3,5 доллара. У них был никелированный корпус без крышки и в начале, только часовая стрелка. Поскольку часы были такими недорогими, производители одежды и другие предприниматели раздавали их в качестве премиальных бесплатно.

касаюсь его чудного художественного таланта. Но человек может рисовать как Веласкес и быть невозможно скучным. Бэзил был немножко-таки скучноват. Он меня однажды только заинтересовал, признавшись мне много лет тому назад в диком обожании к вам и в том, что вы — преобладающий мотив его искусства.

— Я очень любил Бэзила, — сказал Дориан с выражением грусти. — И нигде не высказывалось предположение, что он убил?

— Высказывалось кое-где в газетах... Но это кажется мне невероятным. Я знаю, что в Париже есть подозрительные места, но Бэзил был не такой человек, чтобы их посещать. Он был не любопытен — это его главный недостаток.

— А что бы вы сказали, Гарри, если бы я заявил вам, что я убил Бэзила? — спросил Дориан, внимательно наблюдая за ним, пока говорил.

— Я бы сказал, что вы представляетесь тем, кем вы никогда не могли бы быть в действительности. Всякое злодейство есть пошлость, равно как и пошлость — настоящее злодейство. Вам было бы не к лицу убийство. Я в отчаянии, что, быть может, задеваю выше тщеславие, говоря таким образом, но уверяю вас, что это правда. Преступления совершаются исключительно низшими классами. И я их не осуждаю. Для них преступление то же, что для нас искусство — просто способ доставить себе сильные ощущения.

— Доставить себе сильные ощущения? Разве вы думаете, что человек, однажды совершивший преступление, может повторить что-нибудь в том же самом роде!.. Не рассказывайте пустяков!..

— Всякая вещь делается удовольствием, если привыкнешь ее повторять, — со смехом сказал лорд Генри.

— Это одна из самых важных тайн нашего существования. Но я полагал бы, что убийство всегда будет ошибкой — никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать после обеда. Но не будем больше говорить об этом. Желал бы я думать, что он кончил так романтически, как вы рисуете, но не могу. Может быть, он вывалился из омнибуса в Сену и кондуктор об этом никому не сообщил... Да, таков именно и был, вероятно, его конец. Я так и вижу его лежащим на спине под грязно-зеленой водой, с тяжелыми лодками, которые проплывают над ним, с водорослями в волосах. Знаете ли вы, я не верю, чтобы он уже создал что-нибудь в будущем. Вот уже лет десять, как его живопись очень пошла вспять...

Дориан вздохнул, а лорд Генри подошел приласкать прекурьюзного яванского попугая, большую серую птицу с зеленого цвета хохолком и хвостом, которая качалась на бамбуковом кольце. Когда его тонкие пальцы прикоснулись к нему, он замигал белыми веками глаз, похожих на черное стекло, и начал сильнее раскачиваться взад и вперед.

— Да, — сказал лорд Генри, отходя и вынув платок из кармана, — его живопись окончательно шла вспять. Как будто он что-то утратил. Он утратил свой идеал. Когда вы с ним перестали быть великими друзьями, он перестал быть великим артистом... Что разъединило вас? Я думаю, он вам

наскучил... Если это было так, то он вас никогда не забывал. Такова привычка всех скучных людей. Кстати — что случилось с дивным портретом, который он с вас написал? Я его так и не видел с тех пор, как он бросил последний мазок. Ах, да, припоминаю: вы рассказывали мне несколько лет тому назад, что вы отправили его в Селби, и что он где-то затерялся дорогой, или его украли. Вы так его и не разыскали? Какое несчастье. Это был истинный *chef d'oeuvre*¹! Я помню, что хотел его купить. Лучше бы я его купил! Он принадлежал к лучшей поре Бэзила. С тех пор произведения его представляют любопытную смесь плохой живописи и добрых намерений, что делает человека вполне заслуживающим получить название представителя английского искусства. Печатали вы объявления о пропаже? Вы должны были это сделать.

— Право, не помню уже, — сказал Дориан. — Я думаю, что да. Но я его не любил никогда. Я сожалею, что позировал для этого портрета. Мне омерзительно даже воспоминание об этом. Он мне постоянно приводит на память один стих — из «Гамлета», кажется:

Like the painting of a sorrow,
A face without a heart.
(Словно образ печали,
Бессердечное лицо)

— Да, именно так...

Лорд Генри рассмеялся.

— Если человек смотрит на свою жизнь как артист — его мозг служит ему сердцем, — сказал он, усаживаясь в кресло.

Дориан Грей покачал головой и взял несколько аккордов на рояле:

— Словно образ печали,

Бессердечное лицо... — повторил он.

Лорд Генри смотрел на него полузакрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла.

— Кстати, Дориан, — спросил он. — Какую пользу обретет человек, если он приобретет весь мир, и потеряет — ах, черт возьми, как это там! — свою душу?

Рояль зазвучал фальшиво. Дориан остановился и посмотрел на своего друга.

— Почему вы спрашиваете это у меня, Гарри?

— Милый друг, — ответил лорд Генри, поднимая брови с удивленным видом. — Я спрашиваю вас потому, что рассчитываю получить ответ. Вот и все. В последнее воскресенье я был в парке и, проходя около Мраморной Арки, наткнулся на сборище плохо одетых людей, слушавших какого-то бродячего проповедника. Проходя мимо, я и услышал, как этот человек поставил своей аудитории этот вопрос. Он меня поразил, как нечто весьма драматическое.

¹ *Chef d'oeuvre* — шедевр, дословно — главный труд, основное произведение.

Лондон богат подобными картинками.

Дождливое воскресенье, странный христианин в макинтоше. Бледные и болезненные лица вокруг под неровной крышей зонтиков, с которых течет вода. Великолепная фраза, вырвавшаяся, как истерический крик. Все это было очень красиво в своем роде и очень внушительно. Мне хотелось сказать проповеднику, что душа есть только у искусства, но что у человека души нет. Но я боюсь, что он бы меня совершенно не понял.

— Нет, Гарри, — душа есть ужасная действительность. Можно ее продать, купить, торговать ею. Ее можно отравлять или делать совершенной. У каждого из нас есть душа. Я знаю это.

— Вы верите этому?

— Безусловно, верю.

— А! Это и значит, что она — иллюзия. Тех вещей, в которые верят, никогда не бывает в действительности. Это — рок всякой веры и любви. Как вы торжественны! Не будьте таким серьезным. Что общего можем иметь я и вы с суеверием нашего времени! Ничего... Мы освободились от веры в душу. Сыграйте мне лучше что-нибудь, Дориан. Сыграйте мне ноктюрн и, играя, расскажите мне потихоньку, как вы сохранили свою молодость. Вы должны обладать каким-нибудь секретом. Я не более как на десять лет старше вас, а уже изношен, сморщен, желт. Вы поистине великолепны, Дориан. Вы никогда не были очаровательнее на вид, чем сегодня. Вы мне напоминаете первый день, когда я вас увидел. Вы были так застенчивы, с круглыми щеками — такой необыкновенный! Вы, конечно, изменились, но не по виду. Я бы очень желал, чтобы вы мне сказали ваш секрет. Чтобы вернуть молодость, я сделал бы все на свете, кроме гимнастики, раннего вставания и почтенности. О, молодость! Ничто не имеет такой цены! Пусть не говорят о невежестве молодости. Единственные люди, мнения которых я выслушиваю с почтением, — это те, что моложе меня. Они идут впереди меня. Жизнь раскрывает перед ними свои последние чудеса. Я всегда противоречу старикам. Я делаю это по принципу. Если вы спросите их мнение о вчерашних событиях, они важно изложат вам господствующие взгляды двадцатых годов, когда носили длинные чулки, верили решительно во все и не знали ровно ничего! Какая прелесть — отрывок, что вы играете. Я представляю себе, что Шопен должен был написать его на Майорке, в то время, как вокруг его виллы стонало море и забрызгивало соленой пеной окна. Это восхитительно романтически. Поистине, это прелесть, что нам еще оставлено хоть одно искусство, которое не является подражательным! Не переставайте. У меня потребность в музыке сегодня вечером. Вы мне представляетесь Аполлоном, а я — слушающий вас Марсий. И у меня есть свои печали, Дориан, о которых вы ничего не знаете. Драма старости — не в том, что человек стар, а в том, что он остается молод. Я иногда поражаюсь моей собственной искренности! Ах, Дориан, как вы счастливы! Как восхитительна ваша жизнь! Вы подолгу отведывали от всего. Вы дали виноград собственными устами. Ничто не утаилось от вас. И все это было для вас музыкальный звук — это не задело вас. Вы все тот же.

— Я не тот же, Гарри!

— Да, вы тот же! Рисую себе — чем будет остаток ваших дней. Не портите его никаким отречением. Сейчас — вы совершенное существо. Вы — без недостатков. Не качайте головой, вы это сами знаете. Однако не делайте себе иллюзий. Жизнью управляет не воля и не решения. Это вопрос нервов, фибр, клеточек — там прячется мысль и страстные мечты. Вы можете быть сильным и крепким. Но от тона краски в комнате утреннее небо, известный запах, который вы некогда любили и который будит в вас воспоминания, стих из поэмы, пришедший на память, музыкальная фраза, давно не игранная вами, вот от этого всего, Дориан, зависит подчас наше существование, уверяю вас. Об этом пишет где-то Браунинг¹, но мы и наши чувства легко подтверждают это. Есть минуты, когда мне чудится запах *Lilas blanc*² — и тогда мне кажется, что я вновь переживаю самые странные месяцы моей жизни. Хотел бы я поменяться с вами, Дориан. Свет вопил против нас обоих, но вас он обожал, и всегда будет обожать. Вы тип, который нашей эпохе необходим и которого она боится найти. Я счастлив, что вы никогда ничего не создали: ни статуи, ни картины, ни какой-либо другой вещи, кроме себя самого. Искусством была ваша жизнь. Вы сами себя положили на музыку. Ваши дни — это ваши сонеты.

Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам.

— Да, — пробормотал он, — жизнь моя была великолепна... Но я больше не хочу жить такой жизнью, Гарри! И вы мне не должны больше говорить экстравагантностей. Вы меня не знаете вполне... Если бы знали все — я уверен, что вы отвернулись бы от меня. Вы смеетесь? Не смейтесь!..

— Почему вы перестали играть, Дориан? Садитесь за рояль снова и сыграйте еще один ноктюрн. Взгляните на эту медвяного цвета луну, которая поднимается по темному небу. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее. Если вы заиграете, она придвинется к земле... Не хотите? Тогда в клуб? Вечер был очарователен — надо его достойно закончить. Есть кое-кто в *White's*³, кто бесконечно жаждет познакомиться с вами — молодой лорд Пуль, старший сын Борнему-та. Он уже подражает вашим галстукам и просил, чтобы я вам его представил. Он очарователен и напомнил мне о вас.

— Надеюсь, что нет, — сказал Дориан с грустным взглядом, — я утомлен, Гарри. Я не пойду, уже около одиннадцати, и я раньше лягу.

— Нет!.. Вы никогда так хорошо не играли, как сегодня. В вашей игре было что-то волшебное, что-то такое, чего я еще не слышал...

— Это потому, что я хочу сделаться хорошим, — улыбнулся Дориан. — Я уже немножко изменился...

— Вы не должны меняться ко мне, Дориан, — сказал лорд Генри. — Мы будем всегда друзьями.

¹ *Браунинг Роберт* — английский поэт и драматург XIX в.

² *Lilas blanc* — белая сирень.

³ *White's* — джентльменский клуб в Лондоне.

— И, однако, однажды вы меня отравили книгой. Я этого никогда не забуду, Гарри, обещайте мне никогда никому не давать этой книги... Она тлетворна.

— Милый друг, вы начинаете морализировать. Вы скоро начнете, как некоторые новообращенные, проповедовать против грехов, которыми пресытились сами. Вы слишком прекрасны, чтобы делать это. Да это ничему и не служит. Мы — то, что мы есть и будем тем, чем сможем. Но чтобы быть отравленным книгой, этого еще не видел никто. Искусство не имеет никакого влияния на поступки, оно уничтожает желание действовать, оно чудесно бесплодно. Те книги, что свет называет безнравственными книги, которые показывают свету его безнравственность. Вот и все. Но не будем спорить о литературе. Будьте у меня завтра, в одиннадцать я поеду верхом. Мы сделаем прогулку вместе, и я поведу вас завтракать к леди Бренксом: это прелестная женщина, она хочет посоветоваться с вами насчет одной обивки, которую она хочет купить. Будете? Или позавтракаем у нашей маленькой герцогини? Она говорит, что вас совсем не видно. Но, быть может, Глэдис вам наскучила?.. Мне это казалось. Склад ее ума вам действует на нервы... Во всяком случае — будьте здесь в одиннадцать.

— Но разве нужно, чтобы и я поехал, Гарри?

— Разумеется. Парк очарователен в это время. Мне кажется, никогда еще так не цвела сирень с тех пор, как я с вами познакомился...

— Хорошо, я буду здесь в одиннадцать, — сказал Дориан. — До свиданья, Гарри.

Дойдя до двери, он колебался мгновение, как будто собираясь что-то сказать, но вздохнул и вышел.



ГЛАВА XX

Была дивная ночь, такая теплая, что он взял свою накидку на руку и даже не надел фуляр на шею. Когда он, дымя папироской, подходил к дому, мимо него прошло двое молодых людей в вечерних костюмах. Он услышал, как один из них шепнул другому: «Это — Дориан Грей». Он вспомнил, как он когда-то радовался, когда люди таким образом показывали на него, смотрели на него, разговаривали о нем. Теперь же его утомляло слышать свое имя. Половину удовольствия, которое он испытывал, живя в деревне, которую так часто в последнее время посещал, состояло в том, что его там никто не знал.

Он постоянно говорил девушке, которая его полюбила, что он беден — и она поверила этому. Однажды он сказал ей, что он дурной человек. Она принялась смеяться и ответила, что дурные люди всегда очень стары и очень безобразны. Какой у нее был красивый смех, похожий на песню жаворонка. Как она была мила в своих бумажных платьях и огромных шляпках! Она ничего не знала о жизни, но обладала всем, что он утратил.

Его слуга ждал его. Он отослал его спать, бросился на диван в библиотеке и принялся размышлять о некоторых вещах, которые ему говорил лорд Генри.

Верно ли, что человек не может перемениться?.. Он почувствовал страстную, дикую тоску по беспорочной чистоте своей юности — розовой и белой юности, как однажды назвал лорд Генри. Он вполне отдавал себе отчет в том, что он запятнал свою душу, развратил свой ум и дал пищу страшным угрызаниям совести, что он имел на других губительное влияние, и что это доставляло ему злобную радость. И что из всех жизней, с которыми ему пришлось соприкоснуться, его собственная была наиболее прекрасна и наиболее многообещающая...

Непоправимо ли это? Неужели для него нет надежды?

О, эта страшная минута гордости и страсти, когда он пожелал, чтобы тяжесть проступков его жизни пала на портрет, а он чтобы мог сохранить нетронутой, во всем ее великолепии, юность свою навек!

Все несчастье из этого! Не лучше ли было бы, если бы грех нес за собою быстрое и неизбежное наказание? В наказании есть нечто очистительное. Молитвою людей к праведному Богу должно было бы быть не «прости нам прегрешения наши», а «накажи нас за наши мерзости».

Оригинально сделанное зеркало, которое ему когда-то подарил лорд Генри, лежало на столе, и амуры из слоновой кости его оправы смеялись, как и прежде. Он взял его, как в ту ночь ужасов, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, и взглянул полными слез глазами в его полированный овал.

Однажды, некто, любивший его ужасающей любовью, написал ему в горячем письме следующие слова боготворения: «Свет изменился, потому что вы созданы из золота и слоновой кости. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира».

Эта фраза пришла ему на память, и он несколько раз повторил ее.

Отвращение к своей красоте овладело им. Он схватил зеркало, бросил его на пол и раздробил его каблуком. Его погубила красота, эта красота и эта юность, о которой он так молился — без них его жизнь могла остаться незапятнанной. Но красота его была только маской, а юность — насмешкой.

И что такое юность, в конце концов! Зеленый и быстротекущий миг, время изменчивых построений духа, болезненных помыслов... Почему захотел он таскать ее обличье? Юность погубила его.

Но лучше не думать о прошлом, его ничто не может изменить, надо подумать о будущем, о себе самом... Джим Вэйн покоится в безымянной могиле на кладбище Селби. Алан Кэмпбелл убил себя однажды ночью в своей лаборатории, не открыв никому тайны, которую его он заставил узнать. Волнение, возбужденное слухами об исчезновении Бэзила Холлуорда, скоро уляжется, оно уже уменьшается. Сейчас он вне каких бы то ни было подозрений.

Сказать правду — вовсе не смерть Бэзила Холлуорда удручала его, нет, мучила его собственная душа — живой мертвец.

Бэзил написал портрет, который исковеркал его жизнь. Он не может этого простить — портрет виною всему... Бэзил наговорил ему нестерпимых вещей, и он выслушивал их терпеливо. Убийство это было минутным помешательством. Что же касается Алана Кэмпбелла — раз он покончил с собой, значит сам хотел этого, никто за это не ответственен.

Новая жизнь!.. Вот чего он ждет!.. Вот чего он жаждет! Возможно, что она уже началась! Он пощадил невинное существо, он никогда больше не посягнет на чистоту, он будет добрым...

Подумав о Хетти Мертон, он спросил себя — не изменился ли хоть немного портрет в запертой комнате. Пожалуй, он уже теперь не так ужасен, как был. Быть может, если жизнь его очистится, он достигнет того, что с его лица там исчезнут следы всех дурных страстей. Быть может, эти следы зла начинают уже сходить. Что, если он уверится в этом!

Он взял лампу и поднялся наверх. Когда он отпирал дверь, улыбка радости озарила его поразительно юное лицо и задержалась на нем мгновение... Да, он станет добрым, и омерзительная вещь, которую он прячет от людских глаз, не будет больше для него источником ужаса. Ему показалось даже, что он уже избавлен от тяжелой ноши.

Он вошел спокойно, запер за собою дверь, как всегда привык делать, и сдернул пурпурную завесу, скрывавшую портрет.

Крик ужаса и негодования вырвался у него. Он не заметил никакой перемены, разве искру хитрости в глазах и складку лицемерия, легшую возле губ!

Портрет стал отвратительнее, если это только возможно, чем был раньше. Алое пятно на руке стало еще ярче, словно от свежепролитой крови!..

Он затрепетал. Так это было простое тщеславие, что побудило его совершить добрый поступок, или жажда нового ощущения, как подсказал ему лорд Генри со своим ироническим смехом. Или — потребность сыграть роль, которая заставляет нас делать вещи более прекрасные, чем мы сами. Или, быть может, все это вместе?

Почему кровавое пятно больше, чем было? Оно расплылось, как язва некоей страшной болезни, по морщинистым пальцам. Кровь была даже на ногах портрета, как будто он истекал ею! Кровь была даже на руке, в которой он не держал ножа.

Исповедаться в своем преступлении? Но знает ли он, что значит — исповедаться? Это значит обречь себя, самому обречь себя, на смерть. Он рассмеялся... Какая чудовищная мысль!

Если он даже исповедался бы — кто ему поверит? Ведь от убитого человека не осталось ни малейшего следа. Все, что ему принадлежало, уничтожено. Он сам это сжег. Свет просто скажет, что он сошел с ума. Если он будет настаивать на своих уверениях — его запрут. Однако — долг его исповедаться, выстрадать это перед всеми, понести публичное наказание. Существует Бог, который понуждает людей сказать свои грехи и здесь, на земле,

не только на небе. Чтобы он ни делал, ничто его не очистит, пока он не сознается в преступлении.

Его преступление! Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда мало беспокоила его. Он думал о Хетти Мертон. Это было неверное зеркало — то зеркало его души, в которое он смотрелся. Тщеславие? Любопытство? Лицемерие?

Так в его отречении не было ничего другого? Нет, он читал там кое-что побольше. Так он думал, по крайней мере. Но кто может сказать это... Нет, там ничего больше не было. Он пощадил ее из гордости. Он надел маску доброты. Он не пробовал отречения из любопытства. Он теперь признает это.

Но это убийство будет ли мучить его всю жизнь?

Всегда ли будет тяготить его прошлое?.. Должен ли он исповедаться?.. Никогда!.. Против него существует только одно доказательство. Это доказательство — портрет. Он уничтожит его! И зачем он хранил его эти долгие годы! Он хотел иметь удовольствие следить за его изменениями, за тем, как он старел... Но он не давал ему спать. Когда он уходил из дома, его не покидал страх, что чьи-нибудь другие глаза могут его увидеть. Он набросил тень меланхолии на его страсти. Одно воспоминание о нем отравило ему столько радостных минут. Он был чем-то вроде его совести. Да, он был — его совестью. Он уничтожит ее.

Он осмотрелся кругом и увидел кинжал, которым он поразил Бэзила Холлуорда. Он его много раз чистил, так что на нем не было никакого пятна. Он так и блестел. Как он убил живописца, так убьет он и его произведение и все, что оно обозначает! Он убьет прошлое, и когда прошлое умрет — он станет свободен! Он уничтожит чудовищный портрет своей души и, избавленный от его отвратительных обличий, обретет, наконец, спокойствие. Он схватил нож и вонзил его в картину.

Раздался громкий вопль, и что-то упало.

Этот вопль агонии был так страшен, что перепуганные слуги повскакали со своих постелей и вышли из своих комнат. Два господина, проходившие мимо, по скверу, остановились и посмотрели на большой дом. Затем они пошли искать полицейского и привели его с собою. Тот позвонил несколько раз, но никто не откликнулся на звонок. За исключением одного освещенного окна на верхнем этаже, весь дом был погружен в темноту. Тогда он отошел, остановился у ворот и принялся ждать.

— Чей это дом, констебль? — спросил старший из двух господ.

— Мистера Дориана Грея, сэр, — ответил полицейский.

Они ушли, переглянувшись с улыбкой: один из них был дядей лорда Генри Эштона.

В людских полуодетая прислуга разговаривала шепотом. Старая мистрис Лэф рыдала, ломая руки. Френсис был бледен, как смерть! Четверть часа спустя он поднялся наверх, взяв с собою кучера и одного из лакеев. Они постучали, но им никто не ответил. Они стали кричать — все оставалось безмолвным.

Тогда, после бесплодной попытки взломать дверь, они пробрались на крышу и спустились через балкон. Окна подались легко, задвижки были старые.

Когда они вошли, они увидели у стены великолепный портрет своего хозяина, как они его всегда знали — во всем блеске его удивительной молодости и красоты.

Вытянувшись на паркете, лежал мертвый человек в вечернем костюме, с кинжалом в сердце. Лицо у него было морщинистое, изношенное, отталкивающее! Только по кольцам на руках они могли узнать его!



СТАТЪИ
И
ПИСЬМА
ОСКАРА УАЙЛЪДА

в защиту «Портрета Дориана Грея»

Перевод: С. А. Бердяева

THIS NUMBER CONTAINS

The Picture of Dorian Gray.

By OSCAR WILDE.

COMPLETE.



MONTHLY MAGAZINE

CONTENTS

THE PICTURE OF DORIAN GRAY	Oscar Wilde	1-100
A UNIT	Elizabeth Stoddard	101
THE CHEIROMANCY OF TO-DAY	Edward Heron-Allen	102
ECHOES	Curtis Hall	110
KEELY'S CONTRIBUTIONS TO SCIENCE	Mrs. Bloomfield-Moore	111
ROUND-ROBIN TALKS.—II.	Thomas P. Ochiltree, Moses P. Handy, Richard Malcolm Johnston, Thomas Nelson Page, Senator W. C. Squire, J. M. Stoddard, and others.	124
CONTEMPORARY BIOGRAPHY: JOHN J. INGALLS	J. M. S.	141
WAIT BUT A DAY!	Rose Hawthorne Lathrop	149
THE POWERS OF THE AIR	Felix L. Oswald	150
BOOK-TALK	Julian Hawthorne Melville Phillips	154
NEW BOOKS		157
WITH THE WITS. (Illustrated by leading artists)		i-viii

PRICE TWENTY-FIVE CENTS

J:B:LIPPINCOTT:CO:PHILADELPHIA:

LONDON: WARD, LOCK & CO.

PARIS: BRENTANO'S, 17 AVENUE DE L'OPÉRA.

Copyright, 1890, by J. B. Lippincott Company.. Entered at Philadelphia Post-Office as second-class matter.

Обложка июльского выпуска 1890 г. ежемесячного журнала
Липпинкотта, где впервые был опубликован „Портрет Дориана Грея“

ПИСЬМА О ДОРИАНЕ ГРЕЕ

«СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ МИСТЕРА УАЙЛЬДА».
(St.-James Gazette, 26 июня 1890 г.)

Издателю St.-James Gazette.

Сэр, я прочел ваш критический разбор моего произведения «Портрет Дориана Грея». Едва ли нужно оговариваться, что я не собираюсь спорить с вами о его достоинствах и недостатках или о его персонажах и мировоззрениях этих персонажей. Англия — свободная страна, и английская критика вольна и совершенно свободна также. Должен, однако, заявить, что по причине ли моего темперамента, или ума, а то, пожалуй, и обоих вместе, я окончательно неспособен понять — как художественное произведение может быть рассматриваемо с точки зрения морали. Область искусства и область морали — совершенно раздельны и различны. Спутыванию этих двух областей мы и обязаны существованием миссис Грюнд, этой забавной старой леди, единственного самобытного юмористического образа, который дали средние классы нашей страны.

Но против чего я сильно протестую — это против расклейки вами по всему городу плакатов, на которых огромными буквами напечатано:

ПОСЛЕДНЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ МИСТЕРА УАЙЛЬДА.

Странная История.

К чему собственно относятся последние слова — к моей ли книге или настоящему положению правительства — не могу понять. Но как неумно и неуместно это слово «оповещение». Думаю, что могу сказать без тщеславия — хотя я и не хочу выставять себя человеком без всякого тщеславия — вряд ли есть в Англии другой человек, который меньше меня нуждался бы в оповещениях. Я до смерти устал от оповещений обо мне и чувствую себя дурно, когда вижу в газете свое имя. Хроника меня совершенно не интересует. Я написал эту книгу для собственного удовольствия, и мне доставляло огромное удовольствие писать. Получила ли она распространение или нет, мне абсолютно безразлично. Боюсь, сэр, что настоящим оповещением о ней является ваша столь умно написанная статья. Английская публика ведь считает произведение искусства неинтересным, если оно не прославляет безнравственным, и ваша реклама, нисколько не сомневаюсь, весьма поспособствует сбыту книги. Об этом усиленном сбыте думаю с грустью — денежно от этого я ничего не выиграю.

Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой,

Оскар Уайльд.

II

СНОВА О МИСТЕРЕ УАЙЛЬДЕ

Сэр, в вашем сегодняшнем номере вы заявляете, что мое коротенькое письмо, помещенное на столбцах вашей газеты, служит лучшим ответом на вашу статью о «Дориане Грее».

Это не так. Я не предполагал там вступать в спор по существу, но лишь ограничился заявлением, что статья вашего критика полна самых несправедливых нападок, какие были когда-либо сделаны на писателя за много последних лет. Написавший ее был совершенно не в силах скрыть личной злобы, что значительно повредило впечатлению, которое он желал произвести, и, по-видимому, он не имеет ни малейшего представления о том, что к суждению о художественной вещи следует приступать спокойно. Говорить, что моя книга должна быть «брошена в огонь» — глупо. Скорее, так следует поступить с газетами. Что же касается ценности псевдо-этической критики художественного произведения — я уже высказался раньше. Но, так как автор статьи в вашей газете рискнул все-таки выступать на опасной почве литературной критики, то прошу предоставить мне, во имя справедливости, не только ко мне одному, но и ко всем, вообще, людям, для которых литература — высокое искусство, сказать несколько слов о его критическом методе.

Он начинает с весьма забавного ожесточения, с которым набрасывается на меня за то, что главные персонажи моей вещи — молокососы. Они молокососы. Я нахожу, что молокососы чрезвычайно интересны — как с художественной, так и с психологической точки зрения. Они, безусловно, кажутся мне более интересными, чем дураки. И я того мнения, что сэр Генри Уоттон является превосходной поправкой к тому скучному идеалу, что мрачной тенью блуждает в полутеологическом романе нашего времени.

Критик делает туманные и нерешительные намеки насчет моей грамматики и образования. В смысле грамматики — я держусь того, что правильность всякой прозы должна быть подчинена художественному дефекту и музыкальному ритму. Некоторые синтаксические особенности, могущие встретиться в «Дориане Грее», допущены мною вполне обдуманно, именно для того, чтобы показать на деле ценность моей художественной теории. Автор статьи не приводит примеров таких особенностей, не думаю, чтобы он способен был их подметить. Что же касается образования, то часто даже самый скромный из нас забывает, что и другой может знать что-нибудь так же хорошо, как и он. Сознаюсь откровенно, что не в силах вообразить — как эта случайная ссылка на Светония, или Петрония Арбитра, может быть перетолкована, как явное желание поразить безобидную и малообразованную публику, приписав себе высшие знания. А я бы думал, что самый заурядный ученик прекрасно знаком с «Жизнеописаниями Цезарей» и «Сатириконом». Во всяком случае, «Жизнеописание Цезарей» составляет часть оксфордской программы по факультету *Litterae*



„Хиллз энд Сондерс“. Портрет Оскара Уайльда. Оксфорд, 2 июня 1875 г.

Humaniores. Что же до «Сатирикона», то он известен всякому встречающему, хотя я и полагаю, что только в переводе.

Автор статьи также заявляет, что я, подобно великому и благородному художнику графу Толстому, получаю интерес к предмету только, когда он опасен. По поводу этого можно сказать вот что:

Романтическое искусство имеет дело с исключениями и с индивидуальным. Хорошие люди, как им и должно, принадлежат к нормальному, следовательно часто повторяющемуся типу и поэтому не представляют художественного интереса. Плохие люди, с художественной точки зрения, представляют увлекательный объект изучения. В них есть красочность, разнообразие, необычность. Добрые люди — раздражают наш ум, дурные — волнуют наше воображение. Ваша критика, если уж я должен дать ей это почтенное название, утверждает, что люди, выведенные в моей вещи, взяты не из жизни, что они, по вашему сильному, но несколько вульгарному выражению, — «Лишь громовое описание того, чего не существует». Совершенно верно. Если бы они существовали, я бы не написал о них ни слова. Функция художника — творить, а не списывать. Если бы они существовали, я бы не захотел о них писать. Жизнь своим реализмом всегда портит предмет искусства. Высочайшее наслаждение в литературе — реализовать несуществующее. Наконец, скажу следующее: вы воспроизвели в газетной области комедию «Много шума из ничего» и, конечно, испортили ее. Бедная публика, услышав от такого авторитета, как вы, что моя книга — вещь нечестивая и должна быть изъята и уничтожена правительством тори, несомненно набросится на нее и станет читать. Но, увы, она увидит, что это — произведение с моралью. А мораль такова: все излишества, даже в добре — как, например, полное самоотречение — несут наказание в самих себе. Художник Бэзил Холлуорд, боготворя физическую красоту слишком сильно, как и большинство художников, умирает от руки того, в чьей душе он зародил чудовищное и нелепое тщеславие. Дориан Грей, проведя жизнь только в наслаждениях, пытается убить свою совесть, но этим убивает самого себя. Лорд Генри стремится к одному: быть только зрителем жизни. И он находит, что не принимающие участия в ее битвах часто бывают тяжело ранены, чем непосредственно участвующие. В Дориане Грее есть грозная мораль, которой не в силах найти убеждение, но легко открывающаяся всякому здоровому уму. Не есть ли это художественный грех? Боюсь, что да. Это — единственный грех книги.

Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой,

Оскар Уайльд.



Оскар Уайльд в традиционном греческом костюме. Апрель 1877 г.

III

ЗАЩИТА МИСТЕРА УАЙЛЬДА

(St.-James Gazette, 28 июня 1890 г.)

Издателю St.-James Gazette.

Сэр, вы все еще продолжаете, хотя и в более мягкой форме, ваши нападки на меня и на мою книгу и тем даёте мне не только право, но и обязанность отвечать вам. Вы говорите, что я ложно истолковываю вас, когда привожу ваши слова, что моя книга нечестива и что правительство тори должно бы ее изъять и уничтожить. Теперь же вы не только предлагаете, но прямо внушаете ему это. Когда вы говорите, что не знаете, думает ли правительство предпринять что-нибудь против моей книги, а затем прибавляете, что прежде авторы более или менее нечестивых книг преследовались законом, — внушение тут очевидно. Ваша жалоба на ложное истолкование, как видно, не вполне правильна. Однако же, я нисколько не встревожен и не придаю этому подстрекательству никакого значения. Но чему я, действительно, придаю значение — это тому, что издатель газеты, подобной вашей, может являться сторонником чудовищной теории исполнения правительством цензорского дела по отношению к изящной словесности. Это такая теория, против которой и я, и все литературные люди, каких я только знаю, — сильнейшим образом протестуем. И всякая критика, способная допустить разумность этой теории, тем самым показывает, что она не в состоянии понимать, что такое литература и какими правами она обладает. Государство столь же может пытаться научить художника — как писать, скульптора — как лепить, сколько может вмешиваться в стиль, обработку и предмет литературного произведения. Не писатель, как бы славен или скромн он ни был, даст свою санкцию теории, которая гораздо более может унижить литературу, чем какие бы то ни было книги — дидактические, или, так называемые, безнравственные.

Затем, вы выражаете удивление — как «такой опытный литературный господин» мог вообразить, будто ваша критика проникнута чувством личного озлобления против него. Выражение «литературный господин» — гнусное выражение, но уж пусть его! Я очень охотно принимаю ваше уверение, что ваш критик лишь оценил мою вещь тем способом, какого она заслуживает, но все же чувствую себя правым, оставаясь при собственном мнении о том, что много написано.

Он начинает свою статью грубой личной выходкой против меня. Это уж я позволю себе назвать непростительной погрешностью критического вкуса — этого ничем нельзя оправдать, только личной злобой. И вы, сэр, не должны были санкционировать этого. Критика обязана уметь разбирать художественное произведение без ссылок на личность самого автора. С этого начинается настоящая критика. Однако — не только его личная выходка заставляет меня думать, что критик действовал под влиянием злобы. Меня вполне утвердили в моем первом впечатлении его частые повторения, что моя книга скучна и

нелепа. Если бы я сам критиковал свою книгу, написанную мной с известными намерениями, то я прежде всего счел бы своим долгом указать на слишком большое нагромождение в ней сенсационных случайностей и слишком много парадоксов, из которых, собственно говоря, и состоит вся разговорная часть. Вот — истинные недостатки произведения с художественной точки зрения. Но «скучным и нелепым» его назвать нельзя.

Ваш критик отвергает обвинение в злобе. Его и ваших уверений вполне для меня достаточно. Но он молчаливо признает, что, действительно, не обладает критическим чутьем, а это по отношению к литературе, осмелюсь скромно заметить, составляет более серьезную вину, чем злоба, какого бы рода она ни была. Наконец, сэр, позвольте мне сказать следующее. Статьи, подобные напечатанной вами, заставляют меня сомневаться в возможности существования в Англии какой бы то ни было культуры. Будь я французским писателем и выйди моя книга в Париже, ни один литературный критик какого бы то ни было французского издания с известным значением не стал бы думать во время критического разбора о моральной точке зрения. А если бы подумал, то на него посмотрели бы как на глупца — не только люди, причастные к литературе, но и большинство читающей публики.

Вы сами часто высказывались против пуританизма. По-моему, сэр, пуританизм никогда так не разрушителен и не опасен, как в вопросах искусства. Тут он радикально ошибочен. Этот-то пуританизм, проявленный, между прочим, и вашим критиком, всегда подавлял английский художественный инстинкт. Раз вы не склонны его поощрять — вы должны были бы выступить против него и попытаться научить вашего критика различию между искусством и жизнью. Господин, разбирающий мою книгу, совершенно безнадёжен в этом отношении, а ваша попытка помочь ему, заявляя, что предмет искусства должен быть ограничен — дела не поправляет. Не приличествует ограничению добираться до области искусства. Искусству принадлежит все, что существует, и все, что не существует, и никакой редактор лондонской газеты не имеет права стеснить свободу искусства в выборе его предмета. Я полагаю, сэр, что теперь нападки на меня и на мою книгу прекратятся. Это были такие формы оповещений, на которые я не давал и не дал бы полномочий.

Ваш покорный слуга, сэр,

Оскар Уайльд.

IV

(St.-James Gazette, 30 июня 1890 г.)

Издателю St.-James Gazette.

Сэр, в вашем сегодняшнем вечернем выпуске вы напечатали письмо «от лондонского издателя», которое, в последнем параграфе, ясно намекает на то, что я неким образом санкционировал распространение мнения издателей Lippincott

Magazine о художественной ценности моего произведения «Портрет Дориана Грея». Позвольте заметить, сэр, что для подобных намеков нет оснований. Я даже не знал, что такой документ существует. И я написал уже агентам — м-рам Чарду и Доку, которые, я уверен, неповинны в его появлении, — изъять его из обращения. Конечно, не издателю следует выражать мнение о том, что он издает. Это всецело должна решить литературная критика. Должен признать, как человек, на глазах которого современная литература настойчиво возвеличивается критикой, что единственная вещь, способная предубедить меня против книги, — ее литературный стиль. Но я совершенно не в состоянии понять — почему бы всякий заурядный критик мог быть предубежден против книги, которая появляется одновременно с неуместным и ненужным панегириком ее издателя. Издатель — просто полезный посредник. Не ему противопоставлять свое мнение критике. Могу, однако, пока выразить свою благодарность «лондонскому издателю» за то, что он обратил на это мое внимание. Я верю в непокоримость чисто американских методов действия, когда люди на деле вступают в противоречие со своими собственными словами. Он заявляет, что смотрит на выражение «совершенный», в применении к произведению, как на «избыток усердия, чтобы побить цену». В этом, мне кажется, он плачевно заблуждается. Моя вещь не «новеллетта», это название приложимо к ней менее всякого другого. Да и слова «новеллетта» нет в английском языке. Его не следует употреблять. Оно, пожалуй, подходит разве к жаргону Флит Стрит. В другой части вашего письма, сэр, вы заявляете, что я принимаю ваше уверение в отсутствии злобы у вашего критика «несколько недоверчиво». Это не так. Я искренно принимаю это уверение и считаю совершенно достаточными ваши слова и слова вашего критика. Великодушнее этого я ничего не мог сказать. Но вы лично, спасая вашего критика от обвинения в злобе, достигли этого, только уличив его в непростительном преступлении, недостатке критического чутья. Называть же мою книгу неудачным покушением создать аллегорию, которая мистером Апелеем могла бы быть выполнена изумительно, — явный абсурд.

Сферы в литературе — моя и м-ра Апелея различны.

Итак, вы серьезно спрашиваете меня, какими правами по-моему обладает литература. Вот, в самом деле, необыкновенный вопрос со стороны издателя такой газеты, как ваша. Права литературы, сэр, — это права интеллекта. Я припоминаю выражение Ренана, который говорит, что скорее желал бы жить под игом военного деспотизма, чем под игом церковного, так как первый ограничивает только свободу действия, второй же — свободу мысли. Вы говорите, что произведение искусства есть один из видов действия. Нет, это высочайшая форма мысли. В заключение, позвольте просить вас, сэр, не вынуждать меня к продолжению этой корреспонденции ежедневными нападками. Это неприятный труд. Так как вы напали на меня первым, то за мною остается право последнего слова.

Пусть этим словом будет данное письмо, и да будет моя книга предоставлена бессмертию, если она этого заслуживает.

Ваш покорный слуга, сэр,

Оскар Уайльд.



Фотограф Наполеон Сарони. Оскар Уайльд, Нью-Йорк, 1882 г.

V

ДОРИАН ГРЕЙ

(Daily Chronicle, 2 июля 1890 г.)

Издателю Daily Chronicle.

Позвольте мне, сэр, исправить несколько ошибок, в которые впал ваш критик, делая разбор моего произведения «Портрет Дориана Грея», напечатанный в сегодняшнем номере.

Он начинает с утверждения, что я делаю безнадежные попытки «заштопать» мораль в моей вещи. Я должен искренно сознаться, что не знаю, что там «заштопано». Время от времени я, действительно, вижу в газетах таинственные объявления о том «как штопать», но что это может в самом деле значить — остается для меня тайною, которую я и другие надеемся когда-нибудь раскрыть. Однако, я не собираюсь спорить о нелепом термине, употребляемом современным журнализмом. Все, что я желаю сказать, сводится к следующему: как далек я был от желания выразить в нем какую бы то ни было мораль — свидетельствует моя забота, чтобы заключающиеся в нем очевидные крайности морали подчинить художественному и драматическому эффекту. Я ведь не первый создал образ молодого человека, который продает свою душу в обмен за вечную юность — мысль не новая в истории литературы, я только облек ее в новую форму; я чувствовал при этом, насколько трудно, во имя эстетической точки зрения, отодвинуть мораль на подобающее ей второе место. Я не чувствовал себя уверенным, что сумею это сделать, и боюсь, они слишком уж очевидны. Когда книга выйдет отдельным томом — я надеюсь исправить этот недостаток.

Критик ваш полагает, что моя мораль предписывает человеку — если он чувствует себя «слишком ангелоподобным» — стремиться стать «звереподобным». Не могу сказать, чтобы я это считал моралью. Настоящая мораль моей вещи — та, что всякое излишество, даже в добре — каково, например, сыноотречение, — несет в себе наказание. И эта мораль, по художественным соображениям, так далеко отодвинута на задний план, что ее вовсе не следует рассматривать как какое-то общее правило; да и вообще, реализуя ее в жизни отдельных личностей, надо делать ее только драматическим элементом искусства, а не объектом его.

Ваш критик тоже ошибается, когда говорит, что Дориан Грей обладает холодным, расчетливым, бессовестным характером, что он был непоследователен, желая уничтожить изображение своей души лишь потому, что оно было так отвратительно, и что он даже должен был рассматривать это как свой хороший поступок. Дориан Грей вовсе не обладает холодной, расчетливой, бессовестной душой. Наоборот, он крайне импульсивен, нелепо романтичен и мучается всю жизнь от преувеличенной совестливости, которая отравляет его удовольствия и предостерегает его, что юность и наслаждение — еще



Фотограф Наполеон Сарони. Оскар Уайльд, Нью-Йорк, 1882 г.

не все в жизни. Именно для того, чтобы отвязаться от совести, много лет сторожившей каждый его шаг, он и захотел уничтожить картину. Но, пытаясь убить свою совесть, Дориан Грей убил самого себя.

Затем ваш критик говорит о «навязчивом, дешевом мудрствовании». Однако то, что он величает «мудрствованием» отличается несомненным благородством стиля и утонченностью языка. Моя книга не содержит ни научных, ни псевдонаучных бесед, и единственные сочинения, о которых там упоминается, таковы, что мало-мальски образованный человек знает их, как, например, Сатирикон Петрония Арбитра и Готье — «Эмали и Камеи».

Такая же книга, как *Le Conso* — «*Clericalis Disciplina*», — относится не к литературе, а к курьезам. И всякого не знающего ее легко извинить.

Наконец, скажу следующее: эстетическое движение создало некоторые характеры утонченной привлекательности и почти мистического очарования. Это была и есть наша реакция против грубой первобытности устоев более почтенных, быть может, но менее культурных времен. Моя вещь — опыт декоративного искусства. Она реагирует против суровой грубости плоского реализма. Она, если хотите, опасна, тем не менее вы не можете отрицать, что она совершенна, и совершенство это и есть то, к чему мы, художники, стремимся.

Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой,

Оскар Уайльд.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ (<i>роман</i>)	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ГЛАВА I	9
ГЛАВА II	20
ГЛАВА III	33
ГЛАВА IV	44
ГЛАВА V	57
ГЛАВА VI	67
ГЛАВА VII	74
ГЛАВА VIII	83
ГЛАВА IX	95
ГЛАВА X	104
ГЛАВА XI	111
ГЛАВА XII	129
ГЛАВА XIII	135
ГЛАВА XIV	141
ГЛАВА XV	151
ГЛАВА XVI	159
ГЛАВА XVII	166
ГЛАВА XVIII	172
ГЛАВА XIX	180
ГЛАВА XX	188
 СТАТЬИ И ПИСЬМА ОСКАРА УАЙЛЬДА	 193
I	195
II	196
III	202
IV	203
V	204

Оскар
УАЙЛЬД

ПОРТРЕТ
ДОРИАНА ГРЕЯ
СТАТЬИ и ПИСЬМА

Компьютерная верстка,
обработка иллюстраций
М. Судакова

Обложка,
подготовка к печати
А. Яскевич

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010
не требуется знак информационной продукции, так как данное издание
классического произведения имеет значительную историческую, художественную
и культурную ценность для общества

Сдано в печать 22.07.2021

Объем 13 печ. листов

Тираж 3100 экз.

Заказ №

Бумага кремовая книжная дизайнерская
Stora Enso Lux Cream



ООО СЗКЭО

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44

E-mail: knigi@szko.ru

Интернет-магазин: www.szko.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А,
www.pareto-print.ru



«Портрет Дориана Грея» — самое известное произведение знаменитого драматурга, эссеиста и поэта Оскара Уайльда, ставшего яркой фигурой европейского модернизма. С детства будущий писатель был погружен в художественную атмосферу. Он появился на свет в 1854 году в семье преуспевающего ирландского врача, в доме которого было множество картин и скульптур. Благодаря гувернерам к десяти годам Оскар говорил и по-французски, и по-немецки. Он окончил школу с золотой медалью и получил стипендию для дальнейшего обучения в дублинском Тринити-колледже. От своего ирландского произношения юноша избавился в Оксфорде, где начал окружать свою жизнь легендами, в которых вымысел порой трудно было отличить от правды. В

Лондоне Уайльд быстро стал звездой аристократических салонов. Все в этом человеке было необычно — наряд художника, безупречная дикция, остроумие, парадоксальность суждений и тонкий художественный вкус.

«Дориан Грей» был написан им в 1890 году. Уайльду к этому времени было тридцать шесть лет. Герой романа, талантливый молодой человек, во многом походил на самого писателя. Соблазны гедонизма превращают Дориана в порочного человека. Сам же Уайльд, как известно, попал под суд за свое поведение, бросавшее вызов традиционной морали, и был приговорен к двум годам каторжных работ, которые трагически повлияли на писателя. Уайльд вышел на свободу в 1897 году, переехал во Францию, сменил имя и через три года скончался от менингита.

«Дориан Грей» — произведение декадентское и мистическое. Этот единственный роман писателя стал своеобразным манифестом эстетизма; он многократно печатался в десятках стран мира. В данном издании он проиллюстрирован изысканными рисунками французского художника Жана Эмиля Лабурёра, которые хорошо передают дух модернизма.

Будущий дизайнер, гравёр и акварелист появился на свет в 1877 году в состоятельной семье. По желанию отца юноша должен был получить юридическое образование, однако веления души заставили его искать свое призвание в искусстве. Лабурёр стал учеником известного французского гравёра Огюста Лепера. Потом он много путешествовал — не раз бывал в США и Канаде, посещал Англию, Италию, Грецию и Турцию. Осев в Париже, Лабурёр стал специализироваться на иллюстрировании книг и журналов, а также написал несколько книг, посвященных искусству гравюры. В наши дни его работы можно увидеть в Лувре и музее Орсе.

ISBN 978-5-9603-0656-0



9 785960 306560 >

